# НЁМАН

9/2016
СЕНТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**Издается с 1945 года**
**Минск**

## СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА



Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
*e-mail: info@zvyazda.minsk.by*

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
*e-mail: neman-lim@mail.ru*

*Подписные индексы:*

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

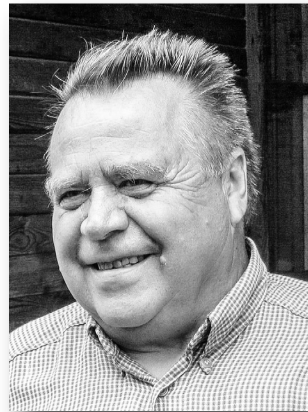
Подписано в печать 13.09.2016. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,51 . Тираж 1585. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

*К сведению авторов*

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

Виктор КОЗЬКО



# На крючке*

*Рыбацкая повесть в рассказах*

## СИБИРСКИЕ ЛОВЫ

### *Томь*

Томь — река накатистая и норовистая. Та еще реченька, как и все в Сибири. По-ребячьи игривая, по-девичьи кокетливая. Каменисто-таежная. Неподатливо-кержачье скитовая и хмурая, чалдонски себе на уме. Затаенная в каждой капле и на каждом своем струйном метре. Изменчивая и непредсказуемая. Коварно покорная и обманчиво послушная и тихая, когда ее бегу никто и ничто не перечит, не посягает на жестоко завоеванную в вечности волю. Солнечно и звездно пересмешничает с небом, полудоверяя ему тайны своих глубин. Перешептывается, секретничает с тайгой — кедрами, лиственницами и пихтами с шапками набекрень, зелено насупившими брови, скально нависшими над ней. Серебром брызг оглаживает и молодит те же скалы.

Но все может измениться мгновенно. Река в полной мере покажет себя, свой сибирский норов, если ей хоть что-то не по зубам. Стремительно, с храпом вскидывается гребнево-пенными змеиными гривами, берущими начало в преддонье обмелевших перекатов, смиренно пьющих волну у лобастых валунников, неподвластных ей порогов. Веретенно, разбуженно с шипом идет лоб в лоб на танковые надолбы камня, которые какое уже столетие безуспешно пытаются взнуздать ее. Река надвигается и бросается на них с горловым боевым кличем, разлетными струями течения, достигающими скально голых горных высей.

Таких засад на бегу Томи в последнее время стало намного меньше. Река хотя и не судоходная, но сплавная. Деревом Западная Сибирь отметна и богата, как и его потребителями: шахты, рудники, прииски, заводы, созданные человеком и прислуживающие ему, — прожорливы и ненасытны всем природным и тем более почти дармовым, халявным. Потому река до ледостава и весеннего освобождения забита лесом, бревнами. Сплав молевой, вязать плоты накладно и требует времени: на наш век тайги хватит. А для ускорения прогона леса речку, ее течение раскрепощают динамитом, аммоналом и толом.

В мягком имени реки Томь чудится, видится мне что-то доброе, девичье: Тома, истома, томление. Нечто в этом подсознательно близкое мне и тем не менее чужеродное. Равнинный простор чего-то азиатски-скуластого, татарского. И это волнует меня, как всякая приближенность к непознанному. В этой

---

* *Журнальный вариант.*

непознанности отзвук школьной памяти о покорении Ермаком Сибири, ее первопроходцах, их открытиях, буйстве и тихом сошествии в Лету. А еще то, что в живой Сибири рядом со мной очень много татар. Они притягивают меня инородно сокрытым в себе, замкнутым во времени, в которое мне хотелось бы вступить и побрататься с ним. Может, именно поэтому я часто вижу в снах молодую безбашенную Сибирь, реку с девичьим именем, с кошачьими глазами неприрученной рыси. Во снах, ночных моих видениях все совсем иначе, чем это есть и было в официальной далекой действительности, чем это есть сегодня. Потому, наверное, мои сны и явь несоединимы. Мне трудно размежевать их. Не приспал ли я себя, не приснился ли сам себе. Но тогда вся наша жизнь — лишь желание и бред по ней. Мы слепо болтаемся где-то посредине, без доверия к себе и своему прошлому, а потому и без будущего. Ловим себя в сумраке нашей памяти, то милостивой, то беспощадной. Возродиться бы, создать себя по точности лекал и пожить бы в себе. Но, как говорится: дом построен — хозяин умер.

А в моих снах я нисколько не похож на самого себя, хотя какой я, кто, не знаю. Снится мне и сибирская река Томь. Совсем неведомая и совсем не там, где я с ней встречался. Речка в снах, в темени ночи ласковая, аккуратная. Вот — омыла, расплела и причесала до седоватого золота нитьевую при береге траву. Вьется тропой не посреди тайги и скал, а скворцово напевая — в безлесье, равнинно. И такая кринично прозрачная, что невольно просится на зуб. Пасть перед ней на колени — и по глотку, глотку, запрокидывая голову, как пьют птицы. Пока не зайдутся зубы. Названия рыб местные, сибирские, но где-то очень далеко отсюда, раньше я их ловил под другими именами.

Во сне захлебывался от радости, удивлялся. Возможно ли это. Неужели мои знакомые рыбы возвратились во взрослые мои лета. Может, потому, что ни одну из этих рыбешек я не способен вернуть на их и мою родину, дать им прежние тубыльские имена, они и сторонятся, избегают моих удочек. Белью бока, красным оком, веретенно проплывают мимо моей насадки. Разбередив свою снулую память, я обиженно просыпаюсь.

Обида в непроглядности ночи тут же оборачивается щемящей радостью: благодарностью за дарованные сны, хоть на миг да возвращением к тому, что бесконечно дорого, что неведомо, было или не было. А по-всему, где-то есть, где-то все ж течет приснившаяся мне река, тоже подобная моему сну. Река привиденная и река настоящая. Обе эти реки, похоже, сходятся, сливаются во мне, речки моего солнечного и голубого детства, моих вчера, сегодня и завтра. Их зов, голос, давнее и далекое эхо живут во мне. Приказывают мне и моей заспанной памяти проснуться, избавиться от морока лет и их окостеневшей дали.

Когда-то я уже проговаривался: в Сибирь, в Кузбасс — Кузнецкий угольный бассейн — меня подвигла книга Горбатова «Донбасс». Это правда, но не совсем. В ту пору я был в плену книжной романтики. Жизни, никак не совместимой с однообразием и удушьем в родных мне палестинах. А где-то, и не так уж далеко, была жизнь настоящая, ни в чем, нисколько не схожая с моей детдомовской, расписанной почти по военному уставу.

Советская молодая душа жаждала подвигов и борьбы, подобно Оводу из одноименной книги Э. Войнич, горения сердца горьковского Данко, жертвенной смерти Олега Кошевого. И что уже совсем необъяснимо, мы, детдомовцы, чудом выжившие в немецких концлагерях, выхваченные из огня родительских изб и сараев, отвергали собственную жизнь и спасение, словно война

и смерть и краем не коснулись наших судеб. Мечтали, бредили Кореей, где сражались корейские воздушные асы Ли-Си-Цина. Торжественно врученные комсомольские билеты требовали жертвенности, революции — освобождения американских негров, негров угнетенной Африки. Только б добраться до тех Америк и Африк, хотя б в собачьих ящиках вагонов. Чернокожие ребята, по всему, уже глаза проглядели в ожидании голопузых советских комсомольцев-освободителей из детского дома на Полесье — в большинстве бывших узников Азаричского концлагеря.

Было что-то до забвения самих себя героическое в подземельности шахтерского труда: штреки, штольни, квершлаги — слова-то какие, — столетия сокрытых тайн, совсем не то, что пустое и синее небо над стриженной наголо головой. Небо, пустое, бесполетное, иногда кисло занавешенное тучами, зависший навсегда здесь сыродойный с утра и до вечера, после выгона и пригона стада коров поселковый воздух, мощенная красным камнем дорога, ведущая в пески за околицей, но обрывающаяся — сразу за концевой хатой. По песку можно добрести до соседнего колхоза или совхоза, где для тебя уже припасена почетная должность. Скотника.

И потому грезилось звездное мерцание подземной шахтной темени, черни антрацита, окаменелая затаенность. Сверкание горных пород: гранита, базальта, песчаника и колчедана с обманным, под золото, проблеском вкраплений игольчато-колкого халькопирита, адова тяжесть, запах сероводорода, неожиданная взрывчатость метана, обвалы со смертельными исходами. Но геройская смерть красна и не на миру.

Именно за этим виделась неподдельная, настоящая жизнь, хотя и насквозь подростковая, книжная. Не отсюда ли, из такой алхимии, из нашей средневековой химеры шли в жизнь почти все мы, особенно — казенные дети, детдомовцы того времени. Их проще простого можно было коллективно обвести вокруг пальца, обмануть, судьбоносно изувечить. Особенно девчат, по-птичьи доверчивых.

Таким был изуродованно обделенный, обманный: дети — наше будущее — и одновременно бесконечно праведный и правдивый, чистый в вере, отрицающий прозябание в поселковой замкнутости наш сиротский быт, поставляющий не только строителей светлого будущего, созидателей, но и зэков. В своей вере мы были не первым ли пробирочным поколением, клонами, и последними, наверное, мистиками-алхимиками. Лично я верил, что проклятый, ненавидимый шахтерами медный колчедан, выводящий из строя машины, когда я возьмусь за дело, стану управлять комбайном, превратится в золото, золотые самородки. Я подарю их детдому, каждому из безотцовщины — по новой паре шерстяных штанов и белой булке хлеба. Сразу же объявится коммунизм.

В ГеПе — городском поселке, в котором помещался наш детдом, до коммунизма была еще тысяча верст босиком, и все лесом. Ожидаемое будущее — полностью предсказуемое — ничего райского нам не обещало, несмотря на первую часть в названии самого крупного здесь предприятия — райпромкомбинат.

Начало рабочего дня и завершение его — по тускло сипатому гудку. На полный голос в районном рае силы явно не хватало. Такими же неполноголосыми были и те, кто крутился из одной смены в другую по тому же приглушенному гудку. Единственное, благодаря ему мы три раза в день точно знали приближение завтрака, обеда и ужина. Как стадо по своим внутренним биологическим часам готовится к доению, кормлению и водопою.

Кроме райпромкомбината в нашем ГеПе, как и в каждом из них, имелось еще несколько более мелких раев: раймелькомбинат, райфабрика гнутой и плетеной из лозы мебели, кустовая плодоовощная база, межрайонная мастерская художественных изделий. Но последняя — это уже рай девичий, своеобразный, по современным меркам, хоспис. Пристань и убежище калек-инвалидов, умственно неполноценных — кому уже совсем некуда было податься.

Лучший же исход для каждого из нас — ФЗО или РУ — школы заводского обучения, ремеслухи. Ремесленные училища так называемых трудовых резервов. Специальности каменщика, штукатура, токаря, слесаря, столяра. В конечном результате — тот же райпромкомбинат. Рай, каким был замкнут мир победителей только что закончившейся войны и ее сирот.

Понятно, что тогда я был далек от того, чтобы думать о своем будущем, придерживаясь обычного: жить, как набежит. Но набегала вторая половина двадцатого столетия с разоблачениями разных культов, волюнтаризма, с оттепелями, ослаблением гаек и последующим их закручиванием снова. Нас, казенных детей, как будто не касалось, хотя и от самого малого ветра, сквозняков времени ни старому, ни малому не укрыться.

Некое новое варево исподволь выспевало и в наших обнуленных, стриженных под Котовского макацовбинах. Назревали беспокойство и дух протеста, жажда вырваться из предсказуемости и неизбежности, как устремлена к этому, наверное, даже белка, обреченная на бег в колесе. Потому, как у нас говорят, я ударил в хомут и убежал от райской жизни в белорусском ГеПе, в детдоме, на всем уготованном и казенном, в самостоятельность, в шахтеры, околдованный писательским обманом о романтике их труда. К тому же хотелось пройти по следу Ермаков, Пржевальских, Семеновых-Тян-Шанских, познать вновь открытую и открываемую комсомольско-молодежную, вольную и героическую страну — Сибирь.

Побежал я, кроме шуток, сломя голову, упрямо и неудержимо, с такой курьерской скоростью и безоглядностью, что сегодня, не будь полешуком, а это значит: один пишем — три в уме, — не поверил бы в то, что способен на такое, что так быстр и легок на ногу. Хотя, трезво судя сегодня, все было совсем не так, как мне теперь видится — вечный самообман свидетеля, очевидца истории.

Мы все творим преимущественно наперекор самим себе, встречаем и расстаемся со своей собственной судьбой, своим будущим. Правда, есть и исключения, труднообъяснимые и до сего времени неразгаданные. Это, опять же, мы с вами, не единственный ли народ, который боится жить, ходить и делать что-либо любому встречному-поперечному наперекор и поперек.

Поклонимся же самим себе. Потому что еще в девятнадцатом веке один из нас, Федор Михайлович Достоевский, сказал: «Кротость — страшная сила». Страшная сила, потому что она корнево и не по крови ли бунтарская. Рассудительна — *памяркоўна* — и бунтарски неискоренима. Опять же: один пишем — три в уме.

Во мне же мысленно и тайно от самого себя была не только зачарованность Сибирью, героической и опасной работой. И мои побеги в новую жизнь были не только от глупости и подростковой наивности.

У меня была мечта. Я мечтал ухватить удачу за хвост, а Бога за бороду. На рыбалке в сибирских реках поймать свою царь-рыбу. Этакий полесский Эрнест Хемингуэйчик. Позже узнал и признал — таких Хемингуэйчиков моего поколения родилось и проживало в Беларуси, как, впрочем, и повсеместно, тьма-тьмущая. Видимо, дыхание его вольное с Острова свободы

достигло и передалось и кротким белорусам: своего не имеем, так хоть чужим попользуемся. Но чтобы пользоваться чужим, надо все же сохранить хотя бы память о своем.

Мечта о царь-рыбе взорвала и выстрелила меня в Сибирь, подобно Жюль Верну, из пушки на Луну. Основания этого были продуманы и захватывающи. Дома все реки были обловлены, к сожалению, не мной, рыбно опустошены и изгажены. Все изведено, кроме болотных вьюнов и мелкого красного карася, а в проточной воде — пескарей да сухоребриц-ляскалок с верховодками да плотвой. Уважающей себя рыбе среди них, конечно, не сохраниться. Иное дело — полноводные и могучие реки Сибири, нетронутые живоглотной страстью преобразователей природы и добытчиков — народу, ног маловато. Ничто так не убеждает нас и не подвигает к глупости, как глупость, оплодотворенная мыслью, головная, разумная.

Впервые собственными глазами я увидел сибирскую реку Томь осенью. И то мельком, с высоты большого каменного моста над рекой — проездом на трамвае от вокзала города Кемерова до Рудничного поселка шахты «Северная» в родное мне на два года гнездо — горно-промышленное училище № 4. Училище, в котором меня должны были образовать до шахтного электрослесаря. Узрел Томь из окна трамвая, что цветным покати-горошком завис на бетоне нового, недавно построенного моста через реку. Трамвай также был новенький, недавно совсем пущенный в городе. Все было ново мне и моему глазу. А вот и река — древняя и хмурая, гневная во всей своей необъятной мощи. Куда там матери Припяти, батьке Неману и моей речушке-скромнице Случи.

«Ничего, ништоватая река, пригодится полешуку, — без особой скромности примерил я ее к себе, — захомутаем, объездим».

Только до нашей встречи было еще как до морковкиного заговенья. Сразу же, месяц с гаком — уборка урожая где-то на целине на Алтае, где я впервые от пуза поел белого хлеба. Тот хлеб вышел мне боком. Обессилев от целинной сытости, я простудился на буртах уже заснеженной пшеницы и несколько недель провалялся в больнице — все венгерские события, первые метели и первый сибирский лед. Впрочем, подледный лов в те годы еще не стал, как сегодня, обычным делом.

До весны я осваивал премудрости своей специальности, а больше, подобно медведю, глухо спал в комнате своего училища, на кровати и под кроватью. На кровати до отбоя спать запрещалось. Лежа на бушлате под кроватью, ждал весны и думал: как бы мне здесь поскорее выбиться в люди и на зиму хотя бы немного стать богаче. Мыслей было много, богатства — ноль без палочки. Я тешился ими до тепла, когда можно было заняться тем, ради чего я стремился сюда через всю страну — Европу и Азию. О том, что поезд миновал Уральский хребет, а значит, свершился переход из одного самого большого в мире материка в другой, свидетельствовал каменный пограничный знак — невзрачный, полуразрушенный, в осыпи, недостойный даже моего детдомовского уважения. А я так надеялся увидеть что-то необычное, привязавшись ремнем к стенке третьей, багажной, вагонной полки, видел его во сне. Но испытал только разочарование и недоумение, лучше бы заслепиться. Наверное, потому зазевался и прищемил в тамбуре вагона, задержал меж дверей указательный палец, снес ноготь. Не сломал ли и саму фалангу, потому что палец и сегодня ноет на погоду. Поделом. С прошлым надо прощаться не только смеясь, но и с болью. Или, как предупреждали наши классики, за правду мало постоять, за нее надо и посидеть.

Следующая встреча с рекой Томь произошла по весне, когда уже сошел лед. Был солнечный, согревающий душу день — выходной для нас, былых воспитанников Хойникского специального детского дома, «наждаков», как звали всех обученцев-первогодков Кемеровского горно-промышленного училища. Было нас около десятка — стольких я сбил с панталыку. А в целом в тот год вывезли из Беларуси и разбросали по Кузбассу эшелон сирот-детдомовцев. Своих рабочих рук в крае уже не хватало, а кузнецкая индустрия требовала пополнения, молодого мяса, свежака.

И таким свежаком, лесом, срезанным в одну зиму, раскряжеванным и вытрелеванным из недр Кузнецкой Шор- и Мар-тайги, где на то время было еще с избытком безымянных бесплатных рабочих рук, на километры и километры, от моста над рекой и до ближней деревни Журавли, в пять-десять накатов был выстлан весь берег. Такое я видел только с хлебом на целине — километровые, словно железнодорожная насыпь, бурты пшеницы под ветром, дождем и снегом.

Мы черношинельно и омазученно-серобушлатно, как воронье, елозили и скакали по верху непостижимой умом братской могилы. Я с чувством вины: сбил ребят, вытащил из-под кроватей, искусил рыбалкой. Почти у каждого из нас было все для ловли. Сбились за зиму, складывая копейку к копейке, экономили на куреве, собирая на улицах чинарики. С вершины прибрежной надтомской скалы, гранитно зависшей над трамвайными рельсами, за нами угрюмо и неприкаянно наблюдал Михайло Волков, открывший богатую углем Кузнецкую землю. Смотрел равнодушно, но обеими руками прижимал к груди тяжелую черную каменюку, по всему, дорогую, ценную для него. По задумке скульптора, наверно, уголь, антрацит, коксующийся уголь.

Подивились снизу вверх мы на него и разошлись. Пропала охота рыбачить. Одно — к реке из-за бревен не подступиться, другое — половодье ведь. Ну, а третье — гори оно все синим пламенем: рыба в такую пору умнее нас.

Так завершилась моя первая рыбалка на сибирской реке Томь. Я оправдывал и утешал себя тем, что не в пору вздумал рыбачить: действительно, ведь самое половодье. Рыбе не до жору, она в расходе, в разгоне — родильных и возрождающих гонах жизни. Пасется на молодых выпасах весенних трав. Трется исхудалыми за зиму мордами, будто в любовном экстазе, елозит набряклым брюхом в камышах и лозовых кустах. Нерестится. Так загадано ей столетиями. В это время еще при царском прижиме колоколам в церквях было запрещено звонить. А нас выперло рыбачить.

О рыбалке и реке после нашего коллективного оглупления я, похоже, на долгое время забыл. Учился. Учился, как на Полесье говорят, на пень брехать, потому что та наука в жизни почти не понадобилась, как и множество иного, чему и на кого я учился. В городе Кемерово имелось знаменитое и престижное учебное заведение: КИТ — Кемеровский индустриальный техникум. На кого там учили «китовцев-индусов», я узнал только получив диплом. Шахтный электромеханик, мастер производственного обучения. Около сотни горных электромехаников и мастеров производственного обучения в одном выпуске. На шахтах каждый новый год после утряски штатов начинался с их сокращения. И неудивительно, что большинство из нас шли мимо почетного шахтерского труда и трудовых резервов.

Наиболее ловкие пристраивались в облсовпрофе, совнархозе, самые же ловкие — в райкомах и обкоме комсомола. Везунчиками были спортсмены, коих в техникуме пруд пруди. Во время приемных экзаменов в КИТ на крыльце его стояла двухпудовая гиря: три жима — первое испытание. Так, навер-

ное, было тогда, да и сейчас не только в КИТе. Спортсмены нашего выпуска без пересадки успешно перешли в институты, тренеры, стали гордостью советского спорта, призерами даже Олимпийских игр. А некоторые неведомыми путями подались ни больше ни меньше, как в дипломаты. Скорые тренированные ноги спасли одного нашего индуса в индонезийском посольстве, когда президент страны принялся вырезать коммунистов. Китовский индус преодолевал стометровку за десять с половиной секунд (в то время европейский результат), за это же время он кадрил и девчат. Благодаря ногам он и спасся в Индонезии, убежал.

Самые последние китовские бездари шли в журналистику или в тюрьму. Именно в тюрьму, потому что это было одно из промышленных предприятий Кузнецкой земли. Тюрьме были нужны мастера производственного обучения трудовых резервов страны. Такой работе, кожей чувствовал, я был не нужен. Зэки бы из меня веревки вили. Оставалась только журналистика. Тем более что повсеместно в районных, городских и даже областных газетах уже были свои люди, такой-сякой блат и протекция. Среди них был и мой друг, однокурсник Витька Моисеев, по прозвищу Шорец. Он действительно походил на шорца, может, еще потому, что родился и жил вблизи Горной Шории, в городе Осинники. Как ни крути, а родство с шорцами было.

Говорю и вспоминаю это как свидетельство изобретательности, игры судеб, их в какой-то степени заданности и предопределенности. Казавшаяся мне бесполезной и ненужной учеба в техникуме в итоге определила встречу и с Витькой Шорцем, и с самой Горной Шорией. Шел по жизни, на первый взгляд, сбоку и криво, а как выяснилось, очень даже пряменько, посередке. Хотя сейчас это, может, сомнительно и спорно. Ну, не состоялась бы одна судьба, сложилась бы иная. Но мне везло и в невезении, словно кто-то всегда вел меня сквозь все беды и несчастья, когда казалось, что уже все, приплыл. В самое последнее мгновение из бытия или уже небытия объявлялась невидимая милостивая рука и толкала в плечи, поднимала с колен, избавляла иной раз от последнего, неминуемого.

Так скрутилось, сплелось у меня и с Витькой Шорцем и Горной Шорией. Да и с тем же КИТом, хотя я не был ни спортсменом, ни ловкачом и везунчиком. Кто-то все же, не с того ли света, направлял и молился за меня, может, даже до моего рождения.

Я все же какое-то время поработал на шахте. Правда, не по выпускной специальности — монтажником, проходчиком. Считал, что начальник из меня, как из одного вещества пуля. Но, как говорят, не хочешь, да должен. Будучи проходчиком ствола на шахте «Бирюлинская» в молодом городе Березовске получил письмо от Моисеева. Он перед переходом в областную комсомольскую газету стажировался в городской газете «Красная Шория». Писал: если есть желание заменить его, немедленно выезжай. Я, пренебрегши приказом приступить к должности горного мастера, немедленно выехал в районную столицу Шорского края город Таштагол — камень на ладони — подобно Кемерову, стоящий или лежащий на горной реке, притоке Томи, Кондоме. Но все это было позже, это я немного забежал вперед — обычное рыболовов-любителей дело. А Витька Шорец был заядлым рыболовом, что и породнило нас еще в Кемерове на реке Томь. Рыболов он был не в пример мне, пребывающему еще в дреме, обстоятельный, почти профессиональный, в недалеком будущем действительно профессиональный охотник-промысловик, еще в техникуме — мастер спорта по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, несмотря на потерю глаза и потерю слуха на правое ухо.

Сегодня уже ушедший от нас Виктор Максимович Моисеев — почетный гражданин города Кемерово, заслуженный работник культуры Кузбасса. А в то время это был просто Витька Шорец, любимым занятием которого было запускать три пальца в волосы и прореживать их, словно в поисках некой важной, но забытой мысли. И что удивительно, он находил ее и излагал на бумаге мелким и настолько неразборчивым почерком, что понять эти каракули мог только сам. Витька Шорец, по-азиатски затаенно задумчивый и неторопливый, с которым мы не раз в ночи гнали на его кухне самогон из сахара. Утром бежали поправлять головы в ближайший гастроном на Притомской набережной.

Он пробудил и повернул меня к рыбалке на Томи, протекающей буквально мимо окон наших квартир на той же Притомской набережной. Наши ловы начались с дебаркадера, пристани небольших юрких катерков. Места довольно суетного и тем, видимо, и привлекательного для рыбы. Мы с Витькой по мелководью истоптали чуть ли не всю реку от нашей улицы до моста и дальше до ГРЭС и коксохимзавода. Выискивали и добывали специальную и чрезвычайно обожаемую сибирской рыбой наживку — так называемых бикарасов. И сами уподоблялись тем зелененьким, приросшим к осклизлым речных камням тварям в окаменелых песчаных домиках. Не горная ли разновидность наших белорусских шитиков-ручейников? Сколько мы перевернули и подняли со дна реки камней, угля за нашу шахтерскую биографию столько не добыли — за деньги бы черта с два так упирались. А тут гнулись и поднимали со дна реки, до рези в глазах вглядывались в каждый камень. Работа аховая, золотодобытчики так не стараются. Бикарасы роскошествовали в жеваных из каменной осыпи и песка домках, как в саклях, прилепленных к скальным склонам гор. Наружу из тех саклей — лишь подвижная черная головка, только не кучерявая, челюсти — жвала да коричневые выпукло неподвижные глазки. Шитики безобманно татарской породы. Чужие, не покоренные ни Ермаками, ни промышленно-индустриальными ядами и отравами. Может, потому и рыба бросалась на них, как подсвинки на сечку из бобовника и молодой крапивы. Бикарасы вертко и непорывно держались на крючке, кобенясь на нем не хуже стиляги того времени на танцплощадке.

Почему мы и гонялись за стойкими и жизнерадостными бикарасами, закаленными кузбасскими химкомбинатами, анилино-красочными заводами, сливами шахт и горно-обогатительных фабрик — живучими и подвижными наперекор всему. Инопланетного Кузнецкого амбре — французской шанели отечественного розлива — мы иногда сами не выдерживали. Когда роза окрестных ветров сходилась и замыкалась на техникумовском общежитии, у нас отменялись занятия физкультурой на воздухе. Мы, подобно мышам, разбегались по комнатам, плотно закрывая двери, окна и форточки, слыша только дрожание стен какого-то расположенного под нами подземного завода. Только так мы дышали и выживали. Но ни один бикарас не может противостоять другому бикарасу, если он двуногий и прямоходящий. А это значит — нам, любителям-рыболовам. И вскоре на реке Томь, вблизи нашего обитания, они исчезли. Именно тогда мой приятель и надумал заиметь лодку. Местные обстоятельства благоприятствовали этому. На химкомбинате ввели в строй капролактамовый стан, начали производить эпоксидную смолу, чем мы, как и многие прочие в Кемерово, изобретательно и немедля воспользовались. Самолетной фанеры, неизвестно зачем и почему, в городе было вдосталь, как и стекловолокна. А это, считай, уже готовая рыбацкая лодка.

Мы с Шорцем сладились за один сезон. За лето. Поставили на воду — качается, не тонет. Попробовали грести, плыть — плывет. Ночь провели на кухне, эксплуатировали старое Витькино изобретение, аппарат. Утром поправили головки. А далее уже и за дело. Шорец все делал обстоятельно, как и полешук. Сошлась парочка: баран да ярочка.

Хлопоты с лодкой и материалом для нее были цветочки, ягодки пошли потом. Для рыбалки, скажем, нужна глина. А где ее взять, если кругом горы. Камень и чернозем. Говоря военным языком, необходима была и шрапнель — вареная перловая крупа на прикорм. Благо, с этой крупой в стране напряга не было, как и с черным хлебом, муравьями и их яйцами. Кто не знает, муравьи с их спиртовым запахом не только санитары леса (да простят меня экологи и зеленые, в то время мы природу больше потребляли, чем берегли), они еще и отличная приманка для ловли рыбы. Муравейников в тайге было несчитано, экологического сознания, как уже говорилось, — ноль, чем мы с Шорцем без зазрения совести невинно воспользовались.

Но все это было только хлопотным и трудовым приближением к рыбалке. Все праведно и неправедно добытое предстояло привести к одному знаменателю. Рассыпать на брезенте или просто ткани, смешать, размять. И снова до потери пульса смешивать уже с водой. Кто сказал, что рыбалка — забава? Плюньте ему в глаза. Работа без дураков. Одно — управиться с муравьями, не позволить им удрать, разбежаться. Потом более-менее равномерно расположить по влажной мешанине, после чего из этой мешанины, сдобренной подсолнечным маслом, зеленым укропом, панировочными сухарями и политой растворенной в кипятке мятной карамелью вылепить полновесные ядра, пригодные для спортивного толкания и для пушки времен покорения Сибири, две из которых стоят у порога областного краеведческого музея. И говорят — пушка стреляет, когда мимо нее проходит девушка. Но в последнее время такого не случается. Ядра мы бережно переносили в лодку. Сплавлялись вниз по реке. Якорились. Обычно возле плотов.

Работа. Продолжение трудового утра. Подступы к главному. Бомбаж. Бомбаж реки ядрами, как свежеснесенными яйцами исполинских черных петухов или доисторических ящеров, динозавров, птеродактилей. На это действо нужна была особая сноровка: одни ядра нужно было сажать, как на лопате хлебы в горячую печь: раз — и на поде, на дне. И целехонькие. Другие, поймав струю, течение, пускать по нему, чтобы их немного сносило вниз по реке, третьи — под корму или нос лодки.

Короткий перекур, такие же короткие посиделки, будто перед дальней дорогой. И за дело. Ловля. Рыбалка. Само собой исключительно на бикарасов с елозящим муравьем на острие крючка исключительно для разжигания аппетита рыбы. Но чаще всего, несмотря на все наши профессиональные усилия и уловки, монументальную неподвижность на плоту среди простора вод, искушалась, клевала мелочь. Одна в одну плотвицы-чебачки, сорожки, их же маломерного розлива или недолива, ельчики да байстрючки-окушата. А то и совсем для издевки — волоокие лупатые сопливые ерши с побратимами, хвостато верткими пескарями. Ничтожность, но после утренних трудов и недельной подготовки на безрыбье и ерш рыба.

А где же жирные, знаменитые сибирские таймени с хариусами, леньками, гольцами, нельмой? От них в Томи ни знака, ни следа. Тогда стоило ли мне ехать в такую даль, сквозь материки, равнины, горы и плоскогорья за тысячи и тысячи верст киселя хлебать, чтобы посмотреть в зрячие глаза мусорной рыбы, мелюзги.

Нечто подобное я ловил в Томи и позже. Кемеровский областной Союз журналистов приобрел на берегу реки в деревне Журавли дачу. Чтобы добираться до нее, пустили пароходик. Журналисты обычно брали его с боем. Выправлялись семейно со своими самоварами и спиногрызами — женами, детьми, тещами. Сотрудники партийной газеты «Кузбасс» отдыхали культурно. Загорали, гоняли чаи, кайфовали на солнце по берегу реки на пледах, одеялах и резиновых матрацах. Мы же, комса, комсомольские газетчики, выстраивались в одну шеренгу в воде, взмучивали ее, будто лошади, беспрерывно перебирая ногами. Вода была обжигающе холодная. Только мы были такими брыкливыми не из-за холода. Плевали мы на холод. Так, вороша дно, мы будоражили и притягивали рыбу. Она шла на идиотов, как будущие диссиденты в психушку — шиза к шизе. Колотятся до ледяного пота зубы, подбираются к хребту животы, сливово синеют губы и носы. Яйца ужимаются до муравьиных. Но мы молодые.

Ради справедливости отмечу — возглавляет молодых идиотов старший брат, журналист партийной газеты по фамилии Калачинский. Имя не помню, а фамилия отложилась по созвучности из-за его роста: каланча. У него нет одной руки, и когда делает заброс, мы невольно пригибаемся — может зацепить крючком за ухо или того хлеще — выдрать глаз. Крючок с бикарасами и грузилом свищет над нами, будто вражеские пули, а леска взвизгивает божьим бичом.

Михаил Михаевич, заместитель редактора нашей газеты, кобринский хлопец, совсем недавно морской пограничник, выпускник Свердловского университета, неподалеку от нас нарезает по берегу круги. Походку, привычки моремана еще не потерял. Ногу ставит мягко, словно кот, но одновременно и неколебимо, уверенно и твердо. Идет прямо, не колеблясь, и сам выпрямленный, тонкий, гонкий, звонкий, как калиброванный гвоздь только-только из-под пресса, горячий еще, из полярного Мурманска. По-всему, ему хочется с удочкой к нам в речку. Но, во-первых, начальство. А во-вторых, что сложнее и существеннее, — белорус. И как все мы стережемся своей белорусскости: что люди, тем более подначаленные, подумают и скажут. Хотя все мы в Сибири — просто сибиряки, но все же как быть со своим, врожденным, что впитано с молоком матери. Жиловатость, тяговитость, упрямство до сумасшествия, преданность и верность своему корневому, природному — времени, месту, в котором прописан, делу, которому служит, хотя все это ему, может, и поперек горла. Это Миша Михаевич доказал позднее не только работой, но и образом жизни, верностью традициям полешука-белоруса.

Заместитель редактора молодежной газеты в Сибири, заместитель редактора в партийной брестской газете «Заря», а позже в «Звяздзе», — всегда это человек, который тянет, по сути, целиком и полностью на себе очень нелегкий воз повседневной редакционной бредятины. Без оглядки и скидок, навсегда взнузданный и поставленный в оглобли, под самую горловину захомутанный. И это почти естественно, наше, такими вывелись, оперились и выпорхнули из своих болот, корчей, кустарников и лоз. За что нас так приязненно похлопывают по плечу, любят и уважают, особенно подчас поминок и тризн, каковые у нас всегда впереди.

О других говорили и говорят, в печали склоняя головы: про геноцид и холокост, катастрофу и несчастный случай. А здесь продвинутая и европейски образованная вольтерианка-царица обезъязычила, живьем выдрала язык, низвела народ немаленькой страны до состояния стада, и всему миру будто враз глаза заслепило и отняло речь — хоть бы кто-нибудь где-нибудь ради

приличия вякнул. Ополовинили народ, на две трети уничтожили еще при Алешке Тишайшем. На столько же обрезали и землю, погосты — клады. И чтобы только единожды — из века в век одно и то же, будто снопами на току жизни выстилали землю, творили Немиги кровавые берега. Выкатили и обезглавили нацию — и опять никто и нигде ни гугу. Мы же свой позор, те же кровавые берега Немиги закатали в камень и бетон. Мы снова готовы снопами лечь на току чужой жизни. Мы снова готовы голову на плаху. Так только волк дерет овечку с ее молчаливого согласия.

А мы ловим ершиков да пескариков в сибирской реке Томь. К нам присоединяется и Миша Михаевич, наш Михмих. Натура полешука, ятвяга, добытчика и охотника, берет верх. И наше комсомольское начальство, редактор, тоже хватает удочку и бредет к нам. Рудольф Ефимович Теплицкий. Просто Рудик на природе. Но когда я так запанибратски обратился к нему при секретаре обкома, оставшись наедине, получил: «Соблюдай дистанцию». Номенклатура Рудольф именная. Наверное, он изначально был задуман и вылеплен под руководителя, начальника, где-то на берегах Балхаша, в Казахстане, по всему — из породистой семьи номенклатурных зэков-интеллигентов. Ничего, абсолютно по-колхозному или пролетарскому мутит сибирскую воду, обтаптывает донную гальку. Старательно, но недолго. То ли не выдерживает холода, то ли бережет для потомства свои руководящие яйца. А вообще он человек страсти и риска, особенно когда есть возможность, как говорят газетчики, вставить фитиль старшему товарищу — партийной газете «Кузбасс».

На берегу, неподалеку от нас, на горячей, раскаленной полуденным солнцем Западной Сибири окатышевой гальке, поджаривают бока и бедра наши женщины, ползают наши спиногрызы и короеды. Воздух еле слышно позванивает звоночками подвешенных в нем медовых и меднокрылых оводов и быстрокрылых, оголенно просвеченных стрекоз. Взбалмошно блажит сорока. Гонит прочь раздетого донага одного из наших карапузов, жаждущего поговорить с ней. Идиллия. Пейзаж и пейзане.

Только рыба… вот рыба уже совсем не ловится. Даже пескарь с изошедшими на сопли ершами. А такая великая река. Столько в ней воды, и такой разноголосой. И голоса кристальные, криничные. Есть в сибирских реках голоса. Многоголосие и в Томи, только того, от кого оно исходит, не видать, не слыхать. Немота и пустота, словно все в ней преждевременно отошли, сплыли, отлетели. А вокруг такие просторы и облоги, ширь, высь, синева и выспеленная зелень травы и леса. Неудивительно во всем этом раствориться, замолкнуть и пропасть. Лишь с нависшей над дорогой скалы доносится то ли эхо, то ли чей-то печальный вздох.

Кто-то ищет и призывает вернуться, похоже, свою душу, но та не откликается. И некому помочь вздоху и душе. Некому подсказать, где и как им сойтись, назначить срок, указать дорогу. Безнадежно, в каменной глубине скал былых и будущих столетий, блуждает голос. Клонится к живому, чужому и своему, но нигде его не принимают, отовсюду гонят: сегодня нигде никому не подают и слезам не верят не только в Москве, но и в Сибири.

Вздох и крик, вздох и крик. Немой и раздирающий душу над всей необъятностью одной шестой части земной суши.

Выроненным из гнезда потерянным птенцом неслышимо и невидимо плачут на бескрайних просторах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, по всему белому свету неприкаянные и беспризорные, горько плачут все те, которые еще в средневековье потеряли себя и свое имя — память. Отказано, не дано им состояться, добыть свою долю ни дома, ни на чужбине. Ни

под своим, ни под чужим небом. Ни в своих, ни в чужих водах не поймать им царь-рыбу или хотя бы самую малую золотую рыбку.

Не поймать, потому что пойманы, спутаны и взнузданы сами и по собственному желанию. Потому что очень уж рассудительные, памяркоўные. Потому и сложилось, сплелось, состоялось, как состоялось. Выскочило само из табакерки такое, что зачастую случается не только с чертом.

Выскочила Горная Шория. Я был пойман ею еще в детдоме, а потом в водах Томи. Во всех моих ловах всегда были и остались только два дурака: на одном конце червячок, а на другом — дурачок. Я же был един в двух лицах, что стало ясно мне на другой сибирской реке, сестре Томи — Кондоме.

## *Шорские беги*

*Послеполуденная новелла*

Сегодня я все чаще думаю, что она приснилась мне. И не только она, но и сам я, вся моя жизнь, развешанная клочьями обманной памяти по лещинам, рощам, борам и дубравам, где ходил я по следу заповедных грибниц и гриба, обмирая сердцем в предчувствии и надежде, завещая себя грибному богу, истекая счастьем обретения. Жизнь в непроглядности вечернего и утреннего тумана по долинам и в прибережьи рек с путаницей стариц, когда меня и вообще человека нет, только предвосхищенье себя, моего неожиданного появления и встречи, не исключено, что и с самим собой — собственное рождение на исходе дня или подъеме солнца. На утренней или вечерней зорьке, под птичье уже дневное оживление или сумеречную песню соловья. Это все неведомо кем осиянные творения нашей памяти не до конца досмотренных в уюте постели детских снов, которые прочно забываются поутру, но светло и трепетно навсегда сохраняются в зрелости и старости. Все у нас начинается со снов, в том числе и судьба.

С детства преследует меня удивительная история — сказка, быль, побасенка — вычитал, рассказали, сам придумал? Не знаю. Мальчишка увидел во сне кашу — бедно, голодно рос. День сожалел, что не было с собой ложки. Еле дождался новой ночи и прихватил ее под одеяло. А каша не приснилась. Не так ли предусмотрительно обманываем себя пустыми надеждами, снами и грезами все мы. А с другой стороны, может, в этом и заключается единственное оправдание нашего земного существования.

Паровозик, окутанный белыми космами дыма и пара от вскинутого в небо закопченного носа, до пещерной глубины угольного тендера, словно нечистик, только-только непромыто явленный из бани, катился по хвойноколкой тайге. Напрягался, надрывал жилы, набивался ей в свояки. Но тайга не принимала его, непроваренно извергала из своего чрева. Паровозик злился, чадно куродымил, одышливо поглощая немереные и нелегкие таежные километры.

В вагонном окне загорелась и потухла лучисто расплавленная саламандра — огневая лента реки. Паровозик предусмотрительно укрылся паром, замаскировался, обезопасился и начал сбавлять бег. Я не думал тут выходить, но притягательно игривая на солнце вода охватила и завлекла меня. Уже на ходу я выпрыгнул из вагона на пустынный перрон. Ветер прощально ударил в хвост последнего вагона опережающим эхом паровозного гудка. За поездком сомкнулась тайга. Я остался один на перроне.

Как вспоминается уже сегодня, я не шел к реке, а вверх-вниз, подобно купанию стрекозы в полуденном зное лугового многоцветья, тихо парил в воздухе. Скользил над сонно склоненными долу головастыми и тугими в бутонном объятии мужскими и женскими двухцветными лепестками ивана-да-марьи. Высью, небом миновал горделиво белые ромашки и разомлевшие от припару осоки. Тело казалось совсем невесомым, а воздух был так недвижен и упруг, что я легко пронзал его. Удивленно кружила рядом пестрая бабочка, так жемчужно густо осыпанная пыльцой, что невольно хотелось ее отряхнуть.

Вечность ли, мгновение длился мой путь, трудно сказать. Но вот передо мной снова встала трепещущая в глуби и на поверхности, исходящая жаром вода. Игривая и при дне переборами ярко просверкивающей гальки. Помнится, я засмеялся. Не усмехнулся — захохотал. Я открыл реку. Река признала, открыла и приняла меня. Мы встретились, сошлись, сосватались и заручились. Вода, тайга, земля под моими ногами — в венных прожилках подземных криниц и ручьев, то, как ими насыщались богатыри-кедры, слилось воедино в беззвучном дыхании неба, солнца, прошлого и будущего, с моим дыханием.

Тут, в загадочности тишины и одиночества, все были счастливы и рады друг другу, разнообразию, непохожести и чуждости, чувствуя за ними родство и будущее. И я покорно отдался мгновению и вечности. Подошел к кедру и прилег на его распростертые, подобные звериным, лапы. На них мне было удобно, мягко и уютно, потому я сразу же заснул. Сон мой был спокойный и глубокий, только полон, похоже, неземных, колыбельно-баюкающих звуков. Проснулся будто ранним солнечным утром в детстве, легко и подъемно. Перекинулся словом с непуганой и очень любопытной, мшисто-зеленой таежной лягушкой, до этого то ли охранявшей мой сон, то ли жаждущей моего пробуждения, желающей поговорить с неведомой тварью.

— Ты откуда и кто? — с детской бесцеремонностью и непосредственностью спросила меня лягушка.

— От верблюда, дед Пихто, — совсем невежливо, спросонья еще, ответил я. — Такая пучеглазая, а слепая. Не все свои дома, мозгов не хватает?

Лягушка, конечно, обиделась, в тайге принято говорить на другом языке. Пружинисто подобралась, намереваясь поскакать прочь от невежи.

— Он терпимый, иногда даже свой, — многоголосо защитила меня шепотливостью зреющих в ней орешков кедровая шишка, соскользнувшая с кедровых игл. — В общем и целом наш — посолив, можно даже есть.

— Наши все дома и сегодня несъедобны, — подобрела лягушка.

— Как видишь, не все, — упрямился я, уже немного раздражаясь.

Таежная лягушка оказалась рассудительнее и умнее меня. Качнулась на задних лапках, раздула горло, сразу ставшее из бело-зеленого густо рассветным, голубым.

— Не обращай внимания, — вроде как извинился я. — Я из прохожих, искателей. Я только ищу себя и свой дом.

— Случается, бывает, — лягушка теперь уже успокаивала меня. — Бездомному и среди жаб неприютно.

Я согласился с ней и для полного уже примирения сказал:

— Я помогу тебе быстрее очутиться в твоем доме. Постараюсь быть хорошим, отнесу тебя к воде.

Поднял и посадил лягушку на ладонь. Она, будто котенок после дождя, поджала лапки, не привыкла к теплу человеческих рук. Но сидела смирно,

доверчиво. Только влажная спинка лаковым листком зелено бликовала на солнце и слегка подрагивала, подобно раскрытому цветку кувшинки на тихом речном течении. Разбавленные белью, сверкнули в воде быстрые, смычково напряженные ноги, словно она пыталась их движением извлечь из реки неведомую ни мне, ни ей музыкальную ноту.

Речка молочным теленком, шевровой гладью его ноздрей и губ лизала мои босые ноги. Не находя ничего съедобного, обиженно взбиралась выше щиколоток. Только и там ей ничего не выпадало. Она струйно множилась, обегая меня. Не очень широкая и полноводная, игриво поскубывала сплетенную в бороды траву в воде при береге, прыжком бросалась на ладный валун посредине реки, перескакивала его через голову отточенным веками сальто.

В кармане у меня были на всякий случай заранее припасенные и снаряженные рыболовные снасти: леска с поплавком, крючком и грузилом. Но я забыл о них, как забыл себя, рыбака и добытчика, а сейчас вспомнил. Простился с приветливостью кедра и пошел против течения к истокам реки. Она словно заманивала меня, дразня, круто поворачивала и бросалась в непролазные заросли, вековую тайгу, с рокотом шилась меж скал, с шипом вылузывалась из них. Обнажалась коридорами и полянами и снова пряталась от меня, замыкаясь черемуховой порослью. Но я не обижался на нее, не ощущая ни усталости, ни досады. Мы забавлялись и играли с ней во что-то вечное и детское, молодое и взрослое, не совсем даже осмысленное, но радостное. Игра во все времена и в любом возрасте, до седых волос — игра. Стремительное течение реки вело меня, как на поводке пес ведет хозяина. Я брал ее след и жаждал добраться, как охотничья собака, до ее сокрытого логова, истоков. Нисколько не сомневался, что это произойдет просто и буднично.

Река, вода, казалось мне, всегда таит, несет нам послание. По всему, оно было сокрыто и в этой безымянной таежной речушке. Послание, адресованное именно и только мне. Она же сама позвала меня, вышла навстречу мне. Она сама была посланием, как и я был послан ей. Вот только кем, откуда — из прошлого, настоящего, будущего? Время сбилось и перепуталось во мне. То я был в тайге поисковиком неизвестно чего, пещерных времен загонщиком и добытчиком еще доисторического зверя, и на самом деле, а не призрачно. Преследовал зверя вместе со множеством подобных мне и тоже звероватых. Кричал, голосил, замолкал, куда-то проваливаясь и исчезая, затонув, жаждал крови и добычи. А в следующее мгновение уже попрекал и проклинал собственную кровожадность, спасательно цеплялся за вагонные поручни поездка, который выплюнул меня в морок таежной глухомани, оборотясь в неведомо кого. Ни былого, ни настоящего, ни ужасного, ни хорошего — такого, каким ни за какие калачи не хотел быть.

Река временами покидала меня, исчезала, как в прорве. Когда же я в отчаянии примирялся с ее пропажей, оказывала себя снова. И снова начинались наши игры. Я продолжал свой бег за ней, за своим посланием и таинством ее рождения, уверенный, что за этим кроется нечто знаковое для меня. Ведь реки рождаются, как дети, из боли земли и на удивление ей. Из ничего. Ничего, ничего, да вдруг пустячок. И вот уже некто кривоногого и сопливо топает по двору. Так же и с реками. Ничего, ничего. Да вдруг такой же пустячок, дождинка, снежинка — изморось с насморком. И вот уже вода — детская, божья слезинка. Это сколько же ребенку и Богу надо плакать, чтобы сотворить реку. Ни глаз, ни слез не напасешься. А ведь копится, получается из ничего. Время и жизнь берутся тихо, завязываются молча.

Хотя как будто бы все должно быть иначе — с шумом, грохотом, громом и салютным сверканием убийственных молний. Чем и кем нас пугали в детстве, с чем смирились еще в язычестве — Ильей-пророком. Когда тот пророк, оповещая конец летней страды, жатвы, смахнув трудовой пот со лба, разрешает себе облегчение, мочится в воды, августовские реки и озера и лихачит в небесах на железной колеснице, рождая громы и высекая молнии. В острастку детям после Ильина дня запрещается купаться. Его громы и молнии грозят им болезнями простудами и чириями. Яснее ясного — грешно перечить пророкам небесным и земным. Я в детстве, веря в это, все же стремился подсмотреть во время бурь и гроз, где же облегчается, мочится Илья-пророк, и сделать ему небольшой чикильдык. Чтобы и дальше купаться, продолжить лето.

Сейчас языческое, детское представление о сотворении воды опять проснулось во мне, но без позыва к членовредительству. Явственно потянуло пока еще далекой, но быстро приближающейся грозой, дождем. И мне уже грезился грохот колесницы пророка.

Неожиданно речушка совсем обузилась. На ее пути с двух сторон восстали две огромные и очень крутые скалы. Обдирая колени, ломая ногти, я попытался взобраться на одну из них. Получилось. Но уже на вершине увидел: скалы идут грядой, цепью одна за другой. Где ползком на брюхе, где рачком на четвереньках обошел их. Лучше бы я этого не делал. Речка, похоже, сыграла со мной свою последнюю игру. И выиграла. Сначала вроде исчезла, пропала окончательно и совсем, будто ее никогда и не было. А потом опомнилась и сжалилась, но предстала передо мной озерцом. Такое чистенькое и ясное зеркальце дураку, даже с посеребренной ручкой: кое-кому ведь нравится все, что блестит. Я, как был в одежде, бросился в оскаленные зубы зеркальца, проглядывающую со дна каменную осыпь. Боковое, отбойное течение повернуло и отбросило меня, направило и отнесло к скалам. Я выбрался на сушу, отряхнулся, избавляясь от наваждения, и побрел дальше.

И теперь уже другой кедр, согретый солнечным днем, принял меня. Я опять придремал на его насыщенной живицей лапе. Забылся сном неглубоким и непрочным. Не годится спать в чужой хате и в шаткий час — то ли в прошлом, то ли в будущем, в зыбкой реальности. Нечистик вез меня, нечистик вел, а сейчас набивается в друзья, нагоняет сон, слепит глаза. Но меня голыми руками не возьмешь. И ослепну, плюнь на меня — шипеть буду.

И таки плюнули. Влепили в лоб таким горячим холодом, что сна ни в одном глазу. Пока я спал, Илья-пророк запряг коней и сейчас на небесных колдобинах, выбоинах и ямах катался на своей бренчащей колеснице. Мчал так, что из-под колес громы и молнии, и ветер слезно плакал, у самого Ильи из глаз вышибало слезу, как и у его коней. Небо набухало грозой, вот-вот должен был начаться дождь.

Цветы уже склонили разом отяжелевшие головы. Гром приближался. Почти надо мной татарской стрелой надломилась молния. Зло вскормленная стена дождя вприсядку плясала по остро заточенным верхушкам деревьев и надвигалась на меня. Первая огромная, с лошадиную слезу, капля с разгону бросилась в речную воду, подскочила от неожиданности, не разбившись, только вогнуто сплющилась. Река закипела и заплюхала, выходя из берегов. Вскоре я уже насквозь промок и пошел от своего лежбища в поисках более надежного пристанища — сторожки, охотничьей заимки, где можно обсохнуть и согреться.

Набрел на нечто, казалось, совсем несвойственное глухой тайге. Поляну не поляну, поле не поле. На вспаханную вдоль берега реки довольно широкую

полосу белого приречного песка, уже вроде и заборонованную для посева. Но что можно сеять на белом песке среди вековой тайги, вдали от жилья человека: не иначе черти постарались. Но тут я вспомнил, что в этом краю по рекам пускают драги, моют золото. Только как драга могла пробиться сквозь такие кедрачи и пихты и выбиться из них? Может, и мне пофартит найти тут один-другой самородок. Стоит только нагнуться и присмотреться.

Но я сразу же отбросил эти детские надежды. Другое невольно мелькнуло в голове: очень уж эта пахота напоминает контрольную пограничную полосу. Мелькнуло и пропало. А похоже, зря. Занялся тем, что более всего мне сейчас было необходимо. Разделся догола и выкрутил одежду. Вспомнил о рыболовных снастях. В дерне, в стороне от полосы, наколупал червей, среди которых попался и ладный выползок. Его я и насадил на крючок. Поплавок, не успел я настроиться на рыбалку, мгновенно исчез, ушел на дно. Я подсек, ощутил упругую донную силу сопротивления, словно сам уперся там в воде.

Окунь. Да не какой-то задрипанный матросик, а матерый горбыль с предостерегающе калиново-яркими, до радостной рези в рыбацком глазу плавниками, зло топырился в воздухе, ритуально приплясывая, недоуменно всматриваясь в меня. Я освободил его от крючка, положил на ладонь. Окунь немедля напрягся, прогнулся девичье-гибким телом. Завидно высоко подпрыгнул и пропал в густо черной водной глуби. Мне оставалось лишь поблагодарить его за то, что он был и кому-нибудь еще достанется. Хотя это не в нашем обычае — выпускать рыбу обратно в воду. Мы ходим на рыбалку, чтобы ловить ее.

Желание рыбачить пропало. Грешно сглазить фарт и жадностью плодить разочарование. Могу ведь впасть в азарт и, подобно свинье, перерыть весь берег в поисках золотых самородков. Мне и без этого хорошо вблизи фартово счастливого уже где-то и моего окуня, подарка обретенной и открытой мной реки, вечности таежных кедров, неповторимого одиночества золотородящего приречного песка, хотя уже и опустошенного драгами, устало парящего после грозы. Дождь кончился. Перещук, как говорят у нас. Побежал дальше. Травы и цветы распрямились, капельно сверкали на солнце и в озоне. Казалось, налети ветерок, и они зазвонят, телефонно запереговариваются. Но было тихо, торжественно и немного скорбно. Величественно, грудью вперед, подобно лебедям, плыли по реке и небу белые и розовые облака.

Уже в сумрачных бликах вечерних теней я затеплил костерок и утонул в тишине. Речка занималась собой, словно грудной еще ребенок в одиночестве. Нечто шепеляво бормотала, будто пускала слюну, через которую трудно было пробиться слову. Светло и радостно, хотя не беспечально, посверкивала в мою сторону направленным отсветом костерка. В траве при сопревших пнях огарково-звездно перемигивались светляки, останки роскошных в урочное время деревьев. Беззвучно, шелково в высокой и еще прозрачной темени надо мной скользяще ныряли в сумрак тайги, будто небесные змеи, летучие мыши — кажаны. Затаенно и невидимо сочились живицей кедры, кряхтели и постанывали от удовольствия.

Я все чего-то напряженно ждал и был на изготовке. Такие ночи не бывают пустыми. Вот-вот кто-то отслонится, отслоится от того же, познавшего вероятное и невероятное за свой век кедра, шагнет ко мне. Дикий древний человек, кровный кедру, сохраненный и схоронившийся в тайге леший, властитель тайги и ее берегун Берендей. Подойдут к костерку, присядут, как бывалые люди, погреться, поговорить. Оттолкнется от выстуженной уже скалы водяной или русалка. Но только безмолвные тени, были и небыли, сполохи и всхлипы костерка пещерно живили мои глаза.

В действительности же вышли совсем не те, кого я ждал и хотел видеть. Двое в военной форме и при красных погонах, с автоматами наперевес. И руки уже на затворах. И пальцы на спусковых крючках. Я сразу же догадался, кто это и откуда, потому встретил их молча. Был знаком с архитектором города и частенько издевался над ним:

— Здесь же ничего не строится, что же и где ты созидаешь и проектируешь?

— Строится, — вынужденно отвечал он. — Только того никто не видит и никому не надо видеть — за колючей проволокой. Шортайга большая и укромная.

Двое были как раз из тех укромных, кого не надо видеть ни ночью, ни днем. Меня распирало любопытство. Это сколько же я сегодня прошел. Походил по горам, тайге и раньше, но нигде не увидел ни колючей проволоки, ни людей за ней, тем более вооруженной военной охраны. Интересоваться этим у моих ночных посетителей было не с руки. Они, как я предполагал, не из говорливых. Сами любят спрашивать, задавать вопросы.

И они задали: кто, почему, откуда и зачем здесь.

Таиться мне было нечего, бояться тоже. Молодой еще, непуганый и доверчивый, как та же таежная лягушка. К тому же свои люди, советские, почти мои ровесники. До «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына было еще далеко. А в его «Одном дне Ивана Денисовича» я не увидел ничего страшного. В лагере его все же кормили, к пайке давали кипяточек или миску баланды. А меня на воле в магазинных очередях за буханкой хлеба — два килограмма, и те надкусанные, со срезанной верхней коркой, — давили до потери сознания. Очередь была милостивой, меня выкидывали из нее на свежий воздух — на траву у крыльца магазина, где я приходил в себя. Проверял, на месте ли мятые, зажатые в ладони мазутные рублики моего отца, паровозного слесаря, и снова на потерю души и сознания ввинчивался в жаждущую хлеба магазинную толпу. Что без хлеба суп из лебеды или крапивы.

Солдаты выслушали меня. Переглянулись и, не опуская рук с автоматов, как пришли, так и пошли, растаяли в ночи. Встреча и разговор, как и с лягушкой, короткие, только не такие дружественные.

Следом за ними я тоже поднялся и ступил в остужающую прохладу тайги. Даже костра не погасил. Он и без того еле-еле тлел, а ветра совсем не было. Гулко трещали под ногами сухие ветки. Шел в сплошной темени, натыкался на стволы деревьев, слепошаро ощупывал и обходил их. Вскоре прибился к железной дороге. Проходящий уже рассветным утром поездок подобрал меня на безлюдном и глухом полустанке. Может, и на том, с которого начиналось мое путешествие. С ухваткой и управностью проказливого нечистика понес меня прочь от моего горбыля-окуня, моей, хотел бы верить, все еще богатой на золото речки. Она открыла и показала мне проход с одной стороны в никуда, а с другой — ведать бы, где мы идем, что ищем, теряем, находим — путь в манящую непознанность. Что это была за речка, пролом, тропинка в мое или чье-то прошлое или будущее? А может, она просто забавлялась со мной? Откуда она взялась, куда спешила — к другой реке, в море-океан? А может, только ко мне, погадать на капле своей провидческой воды. Ее имя и предназначение неведомы мне. И вообще — была она или нет, тем более — был ли я возле нее.

Я тоскую и ищу ту речку и сегодня, и не могу отыскать. Может, действительно она приснилась мне, как мальчишке каша. Так пусть же будет благословен мой взрослый сон, с которого начиналась навсегда мне милая и дорогая Горная Шория с ее тайгой, горами, реками и, само собой, шорцами.

## *Кондома*

Все началось, как и заведено у нас, — с горького и сладкого. В Горной Шории я оказался, как эмигрант-нелегал из зарубежья. Так торопился и бежал, что обуться и одеться не успел. Не заработал на шахте «Бирюлинская» в городе Березовском денег даже на проезд и прожитье хотя бы в первые дни. Приехал в столицу Шорского края, тогда ГэПэ, гол как сокол — без копейки в кармане. И у коренного шорца Витьки Моисеева в кармане тоже хоть шаром покати. Нечем даже отметить нашу встречу.

Мы тоскливо, словно лошади в холодном стойле и при пустых яслях, переминались с ноги на ногу под пронзительным, еще зимним ветром на навесном мосту через реку Кондома, располовинившей ГэПэ на две почти равные части. Банкроты полные, что страшнее, чем полный дурак. Но я говорил уже, на небе, на земле, а может, и из-под земли, кто-то угождал мне, помогал в трудное время. Не обошлось без этого и сейчас, среди белого дня, на пустом, без единой живой души мосту через горную речку Кондома.

Ветер принес и напрямую мне под ноги бросил некую зеленоватую бумажку, испещренную печатными буковками. Я подсознательно сразу же ее узнал, но не доверился глазам, хотя на всякий случай немедля прижал ту бумажку подошвой ботинка. И почему-то быстренько и воровато оглянулся. Нигде никого. И ветер притих, и речка успокоилась. А до этого так сварливо и зло выговаривала кому-то, резала и лепила в лоб валунам на ее пути правду-матку. С норовом девка, вся в мать — Томь.

Мы с Витькой переглянулись, как ночные тати, пожали плечами. Усмехнулись. Я-то уже знал чему, он — еще нет. Я нагнулся и высвободил из-под ботинка трешку. Три послереформенных, неразменных, что в десять раз больше сталинских, хрущевских рубля. Довольно грязные и мятые, побывавшие во множестве рук, но, как говорится, хорошая книга, как и хорошая женщина, всегда зачитанная. Дареному коню и цыган в зубы не смотрит. Я показал находку своему другу шорцу. Но шорец на то он и шорец: позднее, а может, и раннее, кто их разберет, зажигание, — глянул мне под ноги, спокойно осведомился:

— А больше там нет?

Ни радости, ни удивления. Только немного позднее, сосем трезво:

— Нет, больше не надо. Душа меру должна знать. Как раз в меру и на плавленый сырок. Копейка лишняя. На развод — соображают.

Я повернулся на четыре стороны и поблагодарил небо, солнце, тайгу и ГэПэ, поклонился реке. Это ведь она приняла и признала меня и выказала свою благосклонность материально.

В Кондоме, с моста кажущейся мелковатой, если судить по ее далеким и крутым берегам, были заложены начала большой реки (как, кстати, почти у каждой реки у нас в Беларуси). Величие, сокрытая сила и неукротимость таких рек познаются обычно в весеннее половодье, да, как это ни удивительно, подчас очень уж сухого лета, когда они разливаются без конца и края или обнажены до немощных ручьев по центру совсем недавно могучего русла. Речки тогда уже нет. А берега подобны гробу, в котором на бело-саванных сухих камнях невидимо, скелетно упокоилась некогда живая и живущая тут река. Человеку остается держать это в памяти, горько удивляться и попрекать себя за то, что произошло на его глазах и не без его убийственного участия, что мы так мерзко и глупо распорядились чужой жизнью. Выпили ее, свое время, *набгом*, изнасиловали, вырвали язык, лишили голоса и языка. Загнали в могильное укрытие крутых древних берегов.

Кондома в их каменном заключении, в склепных объятиях источенных вечностью и водами скал, с наблюдающе зависшей на них тайгой, оставалась еще при силе. Серая и черная задумчивость замшелого камня, разливанно зеленое море хвойного леса и подлеска. В разрыве облаков — голубое небо, а внизу — такая же голубизна воды. Чистейшей воды — алмаз, обручальное кольцо земли на руке вечности.

Алмаз жил, лазерно струился космосом, излучением звезд, дышал таежной живицей. Игриво перешептывался со скалами, кедрачом и водой. Вскрикивал и распевал соловьиными земными голосами и трелями глубинно, донно и воздушно, горлово, грудью и всем телом, рождающим небесные и земные ноты. Заманивал, затягивал, будто в кувшин, в свирельно поющую горловину скал, которые с двух сторон зажали, пленили реку с неосторожно любовно залетевшим туда ветром. Ветер, попав в каменные руки, сходил с ума, обложно и широко, бесновато дышал, требуя воли. А добившись ее, со всех ног бежал в тайгу, оглашая берег радостью избавления от коварства своей неудачной любви.

Так было летом, так было зимой. Столетия и тысячелетия. С человеком здесь и без него. Но, к сожалению, он появился. Земле не повезло.

В зимней шорской сибирской закованности извечно было сокрыто свое щемящее, порой милое и наивное, а порой безжалостно жестокое волшебство. Жизнь и смерть, красота и убийство, какими отмечены были заиндевелые кристаллики хвойных игл присмиревших от вековых раздумий деревьев. Словно там, в их игольчатой заостренности, кто-то прятался и жил. Построил себе вот такой дом. Смотрел сверху на все и всех неисчислимостью маленьких блестящих и смешливых глазенок, пронзая око и слух тех, кто их видел вблизи и снизу. Но не слепя, не докучая мудростью, собственным знанием дали, пространства и времени — собственной причастностью к ним и ко всему сущему на белом свете.

Такая особенность вообще присуща лесам, особенно боровым, хвойным. Может, отсюда и происхождение новогодних елок в наших домах. Но в Шортайге домашняя сказочная елка была всегда, в любую пору года, праздничной. Произведением неведомого творца, памятником, коему не надо удивляться, только уважать и беречь, и одновременно деревом, сакрально связанным не только с жизнью, рождением, но и с умиранием — поминальным, похоронным. И не только человеку, всему сущему, с его цепной бесконечностью, смертностью и бессмертием, обличающей нашу неспособность создавать в себе и вокруг себя хотя бы приближенность к тому, что уже есть, создано вопреки, скорее всего, нашему недомыслию. И это раздражает нас. Мы стремимся переплюнуть творца честолюбивым подражанием. Хороним в ремесленных поделках неподдельность величия творца и творчества, теряя доверие к себе и к тому, что имеем, к своей земле.

Неспроста мы всюду более-менее примечательные места называем Швейцариями. Беларусь в этом не исключение: неспособные оценить и признать свое — возвышаем и восславляем чужое. Та же Швейцария в сравнении с Горной Шорией, почти неведомой миру, может затаиться и молчать в кулачок. Все тут неповторимо сказочное. И горы, и реки, и тайга, и даже местные экзоты — бывшие зэки, оставшиеся после гулагов здесь навсегда, и тутошние, так называемые тубыльцы-шорцы, судьбой схожие с американскими индейцами, проживающими в резервациях. Советский грузинский писатель Нодар Думбадзе после вояжа в Америку сказал, что теперь он понял разницу между их и нашими неграми: наши негры — белые. Так вот сегодня наши индейцы —

шорцы. Они почти не говорят на своем языке и изредка перекидываются под своим шорским, надо сказать, очень щедрым и теплым солнцем.

В то время, когда я жил и работал в Горной Шории, больше всего там было зэков — бывших заключенных, осевших тут после отсидки в лагерях, и зэков сегодняшних, в упрятанных по тайге лагпунктах. Для представления о Горной Шории и шорцах достаточно вспомнить семью Лыковых, открытую в Шор-тайге писателем и журналистом «Комсомольской правды» Василием Песковым. Представить без преувеличения пещерное существование этой кержацкой староверской семьи. Как трогательно во всех советских, а потом и российских СМИ спасали и спасают сегодня последнюю из могикан этой семьи, больную и немощную старицу Агафью. Но всю Шорию, а вместе с ней и Россию, одним Песковым, несмотря на его святость и честный талант, не спасти. Лыковых на российских просторах несть числа. И несравнимых с теми Лыковыми, которые ни читать, ни писать не могли. Грамотных, с высшим образованием, ученых, кандидатов и докторов наук, знающих зарубежные языки, которые из зарешеченных окон столыпинских вагонов разбрасывали по всей России письма с обращением и просьбой к самой жене Ленина о помощи. Стон и плач многонациональной страны: русских, немцев, украинцев, белорусов, казахов. Хотя тюрьма в то время, как и вся Сибирь, не знала национальности: осибиренные и окамеренные, одной судьбой и одним крестным отцом крещенные голые и нищие зэки.

А край неисчерпаемо богат, на счастье и процветание созданный и обреченный. Как любили повторять шорские геологи: каждого жита по лопате. Только то жито, словно заговоренный местными шаманами клад, нелегко было взять. Труднодоступность, бездорожье, горы, реки, тайга. И самого жита будто только для своих, для местных — всюду понемногу, горсть или ложка. Хотя железной рудой Горной Шории кормился с тридцатых годов прошлого века КМК — Кузнецкий металлургический комбинат, а позднее — Запсиб. И руда — под семьдесят процентов железа, а так называемые хвосты — отходы — до двадцати и двадцати семи процентов руды, что в иных местах считалось приемлемым для добычи и добывалось.

Кроме железной руды — золото, промышленное месторождение фосфоритов, уголь. А еще медь, да не простая, а самородная. Удостовериться в этом можно у входа в краеведческие музеи Кемерова и Новокузнецка, где стоят плиты самородной меди — семь и восемь тонн, добытые в Шории на горе Кайбын. Плиты эти на месте распилили, спустили вниз с вершины более двух с лишним километров. Спускали шорцы летом на санях, вдребезги разнесли около десятка их, пока отерли от пота лбы. Позднее читал, что подобную операцию произвели, не помню сейчас, с чем, индейцы Америки. И Америка гордилась ими, оповестила об этом весь белый свет, расписала в газетах. О наших же индейцах нигде ни слова, ни полслова. Только предания и устный фольклор, молва. Вот такая братская перекличка между двумя народами и материками, нашими и их одного цвета кожи индейцами.

Первые сведения о Шории и шорцах в китайских еще доисторических рукописях, около шести с лишним тысячелетий тому назад — до египетских пирамид еще как до морковкина заговенья, две тысячи лет. А когда, как и откуда возникли у города золотодобытчиков так называемые каменные дворцы, которым бы и олигархи поклонились, — загадка. Не разгадано и до сего дня происхождение каменных сооружений неподалеку от шахтерского города Междуреченск, более величественных и монументальных, как английский Стоунхендж. Куда ни ступи, куда ни кинь глазом — загадка, тайна. И позор,

стыд науке, истории, власти, цивилизации, подло закрывающим глаза на тех, кого приручили.

Промышленной добыче самородной меди мешают малые залежи ее на горе Кайбын. Где-то около трехсот тысяч тонн. Знаю, потому что довелось работать самому на доразведке месторождения неподалеку от той горы. Поднимался на ее вершину, искал санный след. Не нашел. Тайга, как и вода, быстро прячет следы. Железная руда, золото, фосфориты, медь — не единственное богатство Горной Шории и шорцев. Хватает и других месторождений полезных ископаемых, о которых знают, но до поры до времени помалкивают. А еще же пушнина, лес, тайга, кедрачи и, наконец, кедровые орешки. Геологических отрядов, партий, в том числе и номерных, закрытых, в Шор-тайге неисчислимо — целое геологическое Западно-Сибирское управление работает. Не всем и каждому дозволено ведать, что они ищут, а тем более находят. Вот и Верхкондомская геологическая партия, в которой я обретался, сначала шла по меди, а вышла на золото. Шория, как и вся страна, земля неожиданностей: триста миллионов искателей, и каждому фартило что-нибудь да найти или потерять, в том числе и самого себя. Тайга принимает и прибирает живых и мертвых. Горная Шория очень и очень схожа с Клондайком Джека Лондона во времена золотой лихорадки.

Шорец, проходчик нашего горного отряда, охотился на медведя, а вышел на золото. Такое случалось здесь не впервые. Шорцы по характеру очень схожи с обитающим здесь бурундуком. Такие же все время ищущие, неугомонные, любопытные и доверчивые. По образу жизни — прирожденные охотники. С обостренным знанием и слухом на все подземное и земное, водное и небесное. Деятельные, чующие, слышащие и видящие. Хотя надо признать, что многие из них сегодня не утруждают себя долгими бегами по тайге за зверем, в том числе и за медведем. Последних времен нашествие на тайгу с медведем управилось и без них. К тому же шорцам сегодня заниматься промысловой охотой мешает исконно русская болезнь, к которой у них почти нет иммунитета, — вековой практики старшего брата. Поздно начали — рано заканчивают.

Последнего времени охотники-шорцы, чернорабочие геологии, присматривают бездомного пса, прикармливают его. Зовут и ведут за собой в тайгу к медвежьей тропе. Валят дерево. Вырубают двух-трехметровый, едва подъемный чурбак. Из металлического троса ладят петлю, укрепляют на чурбаке. Убивают собаку и запетляют ее — подарок косолапому. Тут уже необходимо время, чтобы мясо собаки дошло до вонючих, лакомых зверю кондиций.

Медведь идет на запах, рад и не рад халяве. Пожирает падаль, еще не понимая в прямом смысле этого: бесплатный сыр только в западне. Вот и он — в петле и при бревне. И остается ему только неизбежное: бревно на плечо и, как каторжник, в тайгу, к медведице. Но до медведицы ли с таким пихтовым или лиственничным подарком на горбу. Вот так и добыл Егор Тадыгешев своего очередного медведя. По шорской заведенке отхлестал его прутом, молодой березкой: мол, я тебя не трогал. Сам, сам виноват. Сам убился. Жадный, однако. Полез на кедр за шишками, но неловкий, старый, сорвался. Такой большой, тяжелый, грохнулся на землю и сразу помер. А мне тебя, старший брат мой азыг (медведь по-шорски), жалко, жалко.

Посожалел, погоревал над своим счастьем Егор Тадыгешев. И был готов уже выправиться за конем, чтобы доставить своего неосторожного и неловкого брата в лагерь. Но приметил неподалеку ручей. Не сказать, чтобы броский и привлекательный. Обычный, но как говорят, удача к удаче. Что-то все же

подсознательно сработало в голове у Егора: однако ничего ручеина — дно крупнопесчаное. Промыта водой до кварцевого проблеска в глазах, и вода приглашает к разговору. А у Егора всегда на всякий случай при себе, мало ли что, золотопромывочный лоток — шорцы народ предусмотрительный, как древние латиняне: все свое носят с собой. Просто так за чем-то только одним из дому не выходят, совсем, словно полешуки, имеющие всегда при себе что-то про запас, — мало ли что может случиться и понадобиться вдали от жонки и родного дома.

Весь еще в лихорадке удачной охоты, Егор принялся промывать песок. И впечатлился. Сразу же пошло золото. Таким образом, наш немногочисленный горнопроходческий отряд перебросили с меди на золото. И это не разовый случай неожиданного фарта коренным шорцам. Железорудное месторождение Шерегеш, сегодня всей стране известный горнолыжный комплекс для толстосумов, было открыто местным жителем, шорцем, у которого в подполе мерзла картошка: нехороший камень, посетовал он геологам, очень холодный, однако. Холодный камень оказался железной рудой, железом почти без примесей.

Вообще Горная Шория и шорцы по своему добросердечию, чистоте и наивности напоминают мне нечто уже давно потерянное в мире, сказочное, еще благословленное улыбкой творца. Младенчески непосредственная и не такая уже маленькая страна. Страна добрых лесных и горных гномов и эльфов. Если прибавить то, что у нее отняли, обрезали и укоротили, а попросту — ограбили, будет, наверно, не меньше Беларуси. А ту же Швейцарию перекроет в разы. А сейчас — маленькая, населенная малорослым народцем, незлобивым, рассудительным и послушным, и потому почти невидимая, как невидимы, опять же, в Швейцарии и ее Альпах гномы и эльфы, или книжные хоббиты, которыми так увлекается сегодня детвора. Я долго не мог понять этого увлечения. А все очень обычно и просто, буднично даже. Только в том, видимо, и тайна, что буднично, обычно и просто, в детском восприятии: все необъяснимое и сказочное — действительно, хотя и недоступно взрослым, их искушенному, практично хозяйственному уму. А дети прозорливы небесно, земно и природно. Они не совсем еще здесь. Всей своей сутью — в вековой тишине и покое планетарного неторопливого кружения нашей матери-Земли, чуя, что или кто прятался и прячется в зимние холода в зеленых иглах хвойных боров, чуя, что это игра и в игре может сохраниться вечно.

Вот они сохранились, не совсем дети и почти небожители, сошедшие для игры с ними с крон деревьев. Вышелушились из еловых и кедровых шишек, вынырнули из воды, из-подо льда скованных сивером сибирских рек, и разошлись по всему Божьему белому свету, чтобы украсить его. Сердечно и приветливо, но не без хитринки, улыбаясь каждому, кто доверчиво заглянет им в очи, — чаще детям, поскольку и сами дети. Так же грустят, удивленные равнодушием и непонятливостью слабовидящих и временных в этом мире существ. Сами же хорошо видущие и вечные в кратком миге своей односезонной жизни.

Всего им вдосталь, хотя и понемножку. Но сколько святой птахе надо, как и святой душе. Только день сегодняшний такого не принимает и не понимает. Шорцы не единожды пробовали поменять свою судьбу, особенно в начале советской власти. Где-то в средине двадцатых годов намерились создать свою независимую страну. Выбрали уже и правительство, кабинет министров. Загвоздка была лишь в том, что некого ставить на пост министра культуры: не нашлось ни одного грамотного шорца. Думали-гадали и пригадали: есть,

есть. Какое-то время жил в городе и чему-то там учился один человек. По слухам, даже стишки пописывал. Живой поэт. И кому, как не живому поэту, быть министром культуры.

Среди ночи, не прерывая заседания кабинета министров, бросились его искать. Не нашли. Неделя, как выправился в тайгу на охоту за белкой. Заседание кабинета продолжалось без министра культуры. Он, собственно, на тот момент был и не нужен, и даже лишний — гуманитарий-стихоплет. А министры разрабатывали план военных действий: в первый же день взять штурмом Мундыбаш — тогда улус, перспективный и быстрорастущий — позднее поселок и рудник. В нем всего два милиционера, пару раз выстрелить даже холостыми, и они разбегутся в разные стороны. Москва же после этого сдастся сама. На этом первое и последнее заседание шорского кабинета министров закончилось.

Поэт вернулся с охоты только на следующую ночь. Его сразу же, не успел снять лыжи, взяли. А о том, что он одну ночь был министром культуры Горной Шории, он узнал только по прошествии семнадцати лет.

Когда я оказался в Горной Шории, она в людском плане была подобна острову с неопределенными берегами. Водораздел между коренным населением и теми, кто бросился осваивать и покорять Сибирь, осмыслить невозможно. Состояние и поведение тех и других лихорадочно авантюристическое. Хотя хрущевская оттепель дышала уже морозами, волны ее, как позже и горбачевской перестройки, только-только достигали глухих таежных заимок и скитов. Велика Россия, глуха, темна и нововведениям не внемлет, не торопится менять кожу. В то же время Сибирь сотрясалась от интеллигентности и интеллигентов, вольнодумцев и политкорректных политических, экономических и всех прочих окрасов и мастей гениев — будущих диссидентов. А проще, опять же немного вперед, — тех, с кем выгодно только что-то быстро есть, незваных, но самоизбранных записных краснобаев и романтиков непременно мировых революций. И в Шор-тайге царила такая возвышенная атмосфера, что сама тайга готова была заговорить стихами. И говорила. Геологический отчет о железорудном месторождении Каз (в переводе гусь, знаково, но точнее было бы — утка) в скором времени — Всесоюзной ударной комсомольской стройке — был написан ямбами и хореями — стихами. Хотя, как мне позднее рассказывали сами геологи, липа это была. Очень умелая, профессиональная зэковская обычная туфта: рудник был привязан и посажен не на рудное тело, а по существу на пустую породу. Но по властвующему тогда энтузиазму это уже мелочи.

Но это все еще только присказка: потехе час, а делу время. Так что пора бы и делом заняться да рыбку половить. Рыбы, однако, не было. Напрасно я раскатал свою полешуцкую падкую на лакомства губу на сибирскую халявную рыбу. Кондома на нее была не просто бедной — пустой. И я со своими удочками смотрелся на ней едва ли не придурком. Хотя таких придурков по ее берегу бродило четверо. Завершилось ударное комсомольское строительство Казского рудника. Таштагол пополнился тремя космольцами-добровольцами, строителями из Москвы, Подмосковья и Рязани. Музыкантами: баянистом, трубачом и альтистом. Двое из них приписались к Таштогольскому дому культуры. Третий, за неимением в том доме инструмента, был направлен в литсотрудники редакции газеты «Красная Шория», в подчинение мне, заведующему отделом промышленности, транспорта и чего-то еще.

Наш квартет обычно прожигал свободное время на речке. Правда, без музыки, хотя она, по нашему поведению, и не повредила бы. Трата време-

ни была узконаправленной и традиционной для молодежи того времени и романтизированной Сибири. Удовлетворялись интеллигентным — по карману именно истинным интеллигентам — сухим и дешевым столовым рислингом. Почему-то на рубль, не больше, девяносто восемь копеек поллитровая бутылка. Других горячительных напитков в город Таштагол неизвестно по чьей прихоти или вкусу не завозили. Это сухое вино было невероятно кислым, легко перешибающим вкус недельных холостяцких щей. В дополнение к этому — пенилось. И потому на довольно активном летом шорском солнце мы ходяще уподоблялись если не самодельной атомной бомбе, то носителям невыстоянной местной браги из карбида, куриного помета и отходов общественного питания.

Лишь изредка городу перепадала водка, анисовая или кориандровая, которых мой традиционно сориентированный организм на дух не принимал из-за аромата: я их туда, а они, как головастик, скользом назад. Страдал, но крепился. В большом почете был чистый питьевой спирт. Но разница в цене и объеме — 98 копеек полновесная поллитра и 5,87 рубля в том же наливе склоняли в пользу рислинга.

Изнемогающе страдая изжогой, отходили и отмокали в Кондоме. В перерывах рыбачили. Вернее, делали вид, что рыбачим, потому что клевала только мелюзга, настырные доставалы троглодиты-пескари. Иной рыбы в сибирской реке Кондома под Таштаголом не припомню. Пескарей же было тьма-тьмущая. Это было как наказание или месть, только кому и за что? Сегодня думаю, именно мне. За измену своим водам: позарилась синица на чужое море, хотела его поджечь. Да невзначай сгорела сама.

Таштагол в переводе с шорского — камень на ладони. И наша четверка отяжеленных рислингом камней, среди иных, раскиданно вросших в берег, укоризненно трезвых. Это надо видеть. И только позже и издали, иначе не прошибет. Как-то уже вдали от самого себя той поры мне попали на глаза четыре блоковские строчки:

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод,
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Это про нас. Про меня в том времени. А может, не только в том…

Самым колоритным и достойным внимания в редакции газеты «Красная Шория», одноэтажном деревянном и очень уютном домике, был, безусловно, ее редактор, также очень уютный и с первого взгляда располагающий к себе Александр Яковлевич Бабенко. Хотя и всех других сотрудников еще искать да искать — днем с огнем. Но в первую очередь, несомненно, надо признать особенность самой газеты, районки, как их принято называть, любовно и безобидно, местной городской сплетницы в отличие от полновесных того же направления «правд», «трудов» и «известий». В ней же все вершилось сердечно, полюбовно и незлобиво. Даже статья Уголовного Кодекса за ложные сведения на выпускных данных газеты означала не более как ответственность за мужеложество. Это не мешало «Красной Шории» быть стартовой площадкой многих и многих журналюг областных и даже центральных газет. Сам Бабенко, кажется мне сегодня издали, был невероятно к лицу Шорскому краю и его тутошним, коренным жителям. Чего стоит одно его явление здесь — почти библейское, по Иванову: явление Христа народу.

Происходил, двигался он из областной партийной газеты «Кузбасс». А до этого обретался едва ли не в «Правде». К сожалению, такие неожиданные крученые повороты и ходы в нашей жизни происходят сплошь и рядом. И со многими. Я лично был знаком с лейтенантом, отмеченным генералом за образцовую работу в роте.

— Вы, наверно, из старшин, старослужащих прапорщиков? — спросил его генерал.

— Никак нет, товарищ генерал, — печально ответил лейтенант. — Я из бывших капитанов.

Нечто похожее случилось и с Александром Яковлевичем Бабенко, после чего отправился он из газеты «Кузбасс» через Новокузнецк в стольный ГэПэ Таштагол на грузотакси. В прошлом был такой транспорт: обыкновенный газон, крытый брезентом и оборудованный скамейками для сидения. Набилось в то грузотакси народу — плюнуть некуда. Но в той селедочной толпе Бабенко почувствовал, что никто на нем не сидит, не лежит, даже на ногах его не стоит. Он вольготно и один занимает едва ли не целую лавку.

— Уважают, подумал, — рассказывал он нам после. — Достоин, не хухры-мухры — редактор районной газеты. В велюровой, специально по должности приобретенной шляпе, при галстуке и в модных импортных, по великому блату купленных солнцезащитных черных очках со стеклами в половину лица.

Но тут грузотакси остановилось, в кузов молча залезли суровые люди в военной форме и с автоматами. Пассажиры-шорцы, что до этого прижимались к бортам, отпрянули от них, распрямились и все как один ткнули в сторону Бабенко пальцами и завопили:

— Берите, берите его! Это он, он, не наш. Чужой человек. Шпион.

Подобных происшествий с нашим редактором, иногда забавных, а иногда и совсем наоборот, было не счесть — это действительно, как кому на роду написано. Одному всюду куда-то и во что-то влипать, слыть ходячим анекдотом, другому и не знать, что анекдоты среди нас есть. Бабенко был из той редкой породы людей, которые до старости дивят народ, каждый день — с ними что-то немыслимое и новое.

Возвращался на мотоцикле с секретарем райкома партии с охоты. Все, наверно, знают, в каком состоянии после нее возвращается начальство. В центре города возле райкома партии на площади у памятника В. И. Ленину сделали три круга почета. Бабенко наотрез отказался покидать площадь, не поздоровавшись с Ильичом. Стоя в мотоцикле, жестом каменного Ильича, зажав кепки в ладонях, поприветствовали вождя. На следующий день утром позвонили из обкома партии: еще одно такое приветствие, и оба пойдете подметать улицы в поселок Мундыбаш.

Туда же, в Мундыбаш, почему-то пугали сверху именно этим поселком, угрожали отправить на трудовое перевоспитание еще одного человека, который надолго и, как говорится, из-за толстых обстоятельств прочно укоренился в Горной Шории. Сначала принудительно, а потом и добровольно. Непростой был человек, хотя и законченный чудак, в Бабенко: два сапога пара. Даже внешне, неординарностью поведения, ухватками и при всем этом интеллигентностью очень и очень схожий с редактором районной газеты. Интеллигент-ботаник по жизни, из бывшей, совсем не советского розлива и не красной профессуры. Ученый, может, равный самому гениальному Чижевскому — знатоку солнца и его влияния на здоровье человека и общества.

Гелиометеоролог Анатолий Витальевич Дьяков, в недалеком прошлом главный метеоролог Горшорлага, переписывался с президентами и премьерами многих иностранных держав. Предупреждал и предсказывал землетрясения и тайфуны и всевозможные иные игры стихии. Пытался предупредить о грядущем неурожае и Н. С. Хрущева. Но тот оказался непоколебим, буркнул лишь что-то невразумительное. На такие случаи у Никиты Сергеевича в кармане была своя Кассандра, академик Т. Лысенко. Но уже после Хрущева, в 1972 году, Дьяков все же был награжден орденом Трудового Красного Знамени с формулировкой: «За успехи в увеличении производства зерна». Издевательство, оскорбление, а может, и кремлевская шутка. Так что Анатолий Витальевич тоже был перспективным кадром на должность дворника в шорский поселок с неблагозвучным названием Мундыбаш.

И одевался Дьяков как человек не из этого мира. Стоило ему выйти из дома, как образовывалась толпа. За ним стаями ходили и дети, и даже взрослые шорцы. Было на что посмотреть и чему подивиться. Черно-желтые тяжелые горные ботинки, словно копыта мустанга из прерий, на толстом белом каучуке. Пестрые гетры от лодыжек и за колени, до невообразимо неприличных в тайге в то время, не помню уж, какого цвета, шортов. На шее что-то ползущее, пестрое — шарфик, косынка? В дополнение к этому — в разные цвета окрашенная куртка, по всему, холодная, на рыбьем меху, а Шория отнюдь не Европа и зимой отдает предпочтение тулупам. Тирольская шапочка с шишечкой, но совсем не кедровой, скорее звоночком эльфа или гнома. Убей меня, не наш человек. Чужак.

Свое длительное пребывание в Шории после отсидки в лагере и реабилитации Анатолий Витальевич объяснял особенной здесь розой ветров, определяющей формирование и состояние погоды едва ли не всей нашей планеты. Не исключено, что так и было. Но, как я думаю сегодня, было и другое. Простое и человеческое. Шория и шорцы легли и запали ему в душу. Дьяковы довольно известный в России клан ученых, писателей с разнящимися судьбами и уклонами полных противоречий добра и зла эпохи. И ему, принявшему и познавшему Сибирь, хотя и горько, подневольно, не хотелось опять в тот клан и круг, из которого он был насильственно извлечен. Такова притягательная сила Сибири, а тем более Горной Шории.

Наиболее ощутимой и показательной, по свидетельству Анатолия Витальевича, роза ветров была на руднике и в поселке Темиртау, где он обосновался. С этой розой ветров он обратился в редакцию районки, к Александру Яковлевичу Бабенко. Они заперлись и, не показывая носа, сидели в кабинете редактора часа два с добрым гаком. Дьяков покинул редакцию, непроницаемо скрытый седоватой бородкой интеллигента и писателя-разночинца прошлого столетия. Чисто выбритый, раскрасневшийся Бабенко долго носился, звучно хлопал дверями редакционных кабинетов. Жаловался нам:

— Роза ветров. Роза ветров. А мы орган райкома партии.

Но статью — о шорской розе ветров и необходимости создания лаборатории по ее изучению именно в Темиртау, неизвестно до какой степени объевреенную, все же поместил в газете. За что немедленно схлопотал выговор с последним предупреждением:

— Еще одна такая роза в партийном органе, и ты будешь главным подметальщиком улиц в шорских улусах.

Обошлось. Более того, наш главный редактор не поступился достоинством и журналистской дерзостью. Только, бросая нам подписанные им в печать наши опусы с намеком на ересь, сетовал:

— Знаю, вы не будете носить мне передачи.

На что мы обычно отвечали:

— А почему бы и нет, Александр Яковлевич? Будем, будем носить.

Вот так мы и жили, набирались ума-разума при газете «Красная Шория» и ее редакторе. Мне нравилось. Из конца в конец я объездил и изведал Шорию. А это были расстояния и расстояния. И разнообразие. Рудники, леспромхозы, золотые прииски, геологоразведочные партии и отряды, промысловики-охотники. Я был легок на подъем, жаден на все новое. Ко всему, не избыл, не потерял детской мечты найти достойную для рыбалки реку без докучливых троглодитов-пескарей.

Не нашел, не успел. Остановил и помешал, схватил буквально за ногу Никита Сергеевич Хрущев: волюнтаристски одним махом прикрыл все районные газеты, в том числе и нашу «Красную Шорию». Что делать? Думал, выбирал и колебался недолго: в тайгу, в геологоразведку. Это была тоже моя давняя детская мечта. Но я не осмелился пойти учиться на геолога. В той учебе, как я предусмотрительно заранее разузнал, было много математики. А я в ней ни тпру, ни ну. Да и денег на учебу, проживание где я возьму. Потому выбрал государственное содержание и шахту — трудовые резервы.

Теперь же позарился на геологию, из-за волюшки вольной, свободы, тайги и всего прочего, чем мы бредим до последнего. И конечно, воды, рек. Выпала опять речка Кондома. Судьба-злодейка. Но думалось, что в тайге Кондома будет иной, чем под городом, уловистая и добычливая на пристойную рыбу. Развесил губу и опять наступил на прежние грабли. Недомерки-пескари правили бал и вдали от Таштагола. Встретили меня как своего.

Эта мелкая пакость досаждала мне и в глухой тайге. Норовила снять насадку и не облизнуться. А насадка в нашем бивуачном лагере добывалась нелегко и непросто. Иной раз стоила и крови. До червей было не дорыться. Удил на таежного гнуса — слепней и оводов. Ловил их на голое тело, желательно потное, с душком. Выручали и лошади при партии, но не всегда и не все добровольно. Одни понимали — надо человеку, и шли навстречу по-человечески. Другие, скорее всего, принимали меня за тот же гнус, мерзкую заедь, отбивались копытом, хвостом, а некоторые и кусались. Скалили желтые большие зубы, пытаясь мгновенно и зло снять с меня скальп или откусить ухо.

Гнус и заедь использовались для насадки еще и потому, что очень уж по вкусу приходились местному хариусу, который вот-вот должен был скатиться с верховьев реки и приступить к осеннему нересту. Хариуса ловить мне еще не приходилось. Я ждал его как второго пришествия. Но не с моим счастьем овдоветь. Начальник партии кореец Пак положил на меня глаз и решил повысить: из проходчиков перевести в буровики. Кстати, это была не первая попытка сделать из меня человека, вывести в люди. Тот же Бабенко, как признался позже, намеревался направить меня в ВПШ — высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Слава Богу, не получилось. Во-первых, беспартийный. Во-вторых, при всем своем юношеском нигилизме я был из самых-самых правоверных и преданных социализмам и коммунизмам. Хотя по молодости еще не задубевших, но уже крепко упертых рогом в эти измы, что более всего опасно. Именно из таких межеумков и рождаются самые гнусные пройды, неукорененные нигде и ни в чем — куда ветер, туда и они, гнущиеся по линии партии, рубля и собственного благополучия. Верные охранители властного державного духа, который они же и ненавидят. Потому что сами с душком, смердно номенклатурным, амбициозно несостоявшимся — российская имперская порода,

сотворенная и выращенная пробирочным советским строем. Порода, ярко изобличающая себя сегодня в период распада мифического славянского братства, готовая к любому, какой прикажут, обману. А в первую очередь — самообману.

И хорошо, что ничего не вышло ни у меня, ни у украинца Бабенко, ни у корейца Пака. Благодарю. И в первую очередь Никиту Сергеевича Хрущева, а потом Егора Тадыгешева, искусившего меня открытием золота. Кстати, там впоследствии появился прииск, названный не по имени открывателя Тадыгешева, как того требовала справедливость, а очень по-советски — Первомайский.

Наш отряд из пяти фартовых таежных проходимцев, подрывника и проходчиков шурфов, в числе которых был и я, прибыл на поиски золота где-то уже в другой половине июньского дня. На берегу той же, неотступно следующей за мной Кондомы, как не без гордости отметил я, стояла умело, художественно вписанная в окружающую тайгу изба. Стояла давно, срослась уже тут со всем и ко всему привыкла. Прижилась и пожила. Стенные бревна уже оморщинились, а морщины заглубились трещинами, бороздами и чернью. Подрывник, самый верткий и бывалый среди нас, сразу же бросился к окну дома. Постучал по стеклу. Окно открылось. Из него показалось чернобородо иконописное лицо — на всю оконную раму.

— Дайте пить, — скороговоркой высказался подрывник. — А то так ести хочется, что и переночевать негде.

— Отвали, козлина, — осадил его явленный из бороды красный и довольно губастый рот.

Приветственные слова были произнесены. Знакомство состоялось. Позднее этот человек сказал нам, что он из староверов. Явно врал. По всему, он был из лагерных балагуров. Часто поминал мать, но совсем не Божью. Когда позже мы его спросили, а не тоскливо ли ему тут живется, а жил он с моложавой еще женой, двумя сыновьями и двумя невестками.

— Летом, может, еще и ничего. А вот зимой, в морозы, среди снега и снега, тайги, как в бочке или в пустыне. Тоска зеленая.

— Ничего тоскливого, — ответил старовер. — Ночью как улындим своим бабам, только дом трясется.

Таким был наш новый сосед из сибирских «староверов». Подгребался вечерами к нашему костерку. Побалакать не чурался. Но в свой дом, к себе никого не звал и не допускал. Даже кружки, попить воды, брать не дозволял — испоганите. Однажды только я как-то нечаянно проскочил в его избу. Икон было много, на очень старых, источенных шашелем досках. Суровые святые лики тускло туманились, словно в сине-белесом дыме нашего вечернего костра. Неподступные, подобно хозяину, в желто отсверкивающих под золото, а может, и золотых окладах. И неожиданно впечатляющее наличие книг. Вполне пристойная библиотека. Только все книги на латинке, похоже, на немецком языке. Меня от них скоренько отлучили и выперли за порог.

Ранним утром еще по злой буродымчатой росе мы шли на маршрут — ближнюю к нам гору. Травы в тайге высокие. Но мы вскоре протоптали довольно широкую тропу и уже не вымокали до пояса и выше. По дороге витаминились очень сочной здесь и потому, казалось, сладкой черемшой-колбой, картофельной завязью корешков саранок, в самом деле — наподобие нашей сырой, но слегка подслащенной картошки с едва ощутимым привкусом лесной черемухи, разомлелой на солнце земли, брусники и черники.

Закапывались в гору до скальных, коренных пород — били шурфы. При так называемом сбеге — нахлысте пород, различном их смешении, появлении скарна — соединяли шурфы канавами, траншеями. Были похожи больше на стройбатовцев-солдат, нежели на горняков-проходчиков. Пехота. На гумус, глубинно мягкую землю гора пожадничала. Два-три метра — и скала. Хотя нет-нет да и приходилось зарываться на восемь-десять метров вглубь.

На них наш горный мастер обычно ставил Захара Зарипова, человека и проходчика, даже по татарским меркам очень трудолюбивого — живое воплощение сегодня настоящего трудоголика. На глубокой проходке Зарипов мостил на свой рост с учетом поднятых рук перекидной мосток. Выбрасывал грунт двойным, а то и тройным перекидом. Как раз на одном из таких шурфов и случилось такое, что надолго заняло и украсило наш таежный быт. Позднее сам Захар рассказывал:

— Лопата сдельно прогрессивная. Шурую и шурую, гружу мосток. Не кожей, корнями волос чувствую: лежит на мне чужой глаз. Кто-то кешкается и сопит, ворочается вверху, паскудит на бруствере. Я без внимания: мастер подошел проверить, что у меня на выходе моей сдельно прогрессивной. Только шумок вверху затягивается и становится сильнее. Уже мелкие камешки с песком сыплются и на голову прыгают. Крикнул — тишина. Продолжаю шуровать лопатой. Наверху не успокаиваются. Вскочил на мосток, очистить его, а заодно и разобраться с тем, что там наверху происходит. Выкинул несколько лопат влажного песка на бруствер. Нет, все же наверху кто-то есть, и живой. Уже не просто ворочается, бурчит. Интересно стало. Захотел проверить. Мне к тому времени уже и в кустики край невтерпеж.

Обошелся татарин без кустиков. На бровке шурфа перед Захаром в полный рост на задних лапах стоял сердитый медведь. Передними протирал запорошенные песком глаза. И уже не бурчал — ревел, зло облизывая узеньким, но длинным языком клыкастую пасть. Захар зажмурился и скользом — опять в спасительную прохладу шурфа. А медведь — слепо в малинник поблизости, из которого, наверно, и вышел в поисках чего-нибудь более существенного, чем ягоды. А может, и из-за своего природного любопытства, в котором он лишь самую малость уступает бурундуку. Но тот хотя обликом и под медведя, но обыкновенный полосатый травоед-вегетарианец. Оповещает он о своем появлении, как и прощается, тоненьким и мелодичным свистом, словно извиняется.

После случая с медведем и несчастья с Захаром мой товарищ по работе шорец Петька, подпольное прозвище Петька Райпотребсоюз, нареченный так отнюдь не за богатство, а потому что все в таежной жизни умел, неожиданно предложил мне:

— А хочешь, я тебе живого медведя поймаю?

Был Петька небольшого росточка и в плечах неширок. Пожалел меня, наблюдая, как я извожу себя на реке, пытаясь поймать пристойную рыбину.

Медведь, ни живой, ни мертвый, был мне не нужен. Но я посмотрел на Петьку и поверил: этот может. Мне пришлось как-то говорить с шорцем Петькиного сложения, промысловиком-охотником на медведей. Говорили мы, правда, через стекло окна больницы после того, как он живьем взял в тайге медведя. Был тот медведь на его счету сороковым. А у медвежатников считается: сороковой — роковой. Промысловик, как он исповедовался мне, решил проверить, вранье это или так оно и вправду, как то проделал в конце своей жизни английский драматург Бернард Шоу, испытывая поговорку: не пили сук, на котором сидишь, — есть, есть что-то общее между шорцами и

английскими джентльменами. Шоу взялся пилить сук, сидя на нем, грохнулся оземь и сломал руку.

Охотник-шорец пошел на своего сорокового медведя с голыми руками и поборол его. Но чтобы окончательно утвердиться во мнении: враки все это про сорокового рокового медведя, повел его из тайги в город Таштагол на веревке. Некоторое время уязвленный и оскорбленный хозяин тайги покорно и косолапо топал за невзрачным шорцем. Но вскоре пришел в себя и возмутился: в самом деле, негоже медведям уподобляться коровам. Медведь снял с охотника скальп. Тем же скальпом, не для сокрытия ли своего позора, прикрыл обидчику глаза. А заодно и ненавистное ему лицо.

Так что я наотрез отказался от предложения Петьки Райпотребсоюза получить в свою собственность живого медведя. Обойдусь, как-нибудь перебьюсь. Пусть мы с ним оба будем вольными и живыми. Тогда Петька взялся меня обучать тому, как в шорских реках надо ловить рыбу. Учил едва ли не на пальцах, не на живом примере, потому что рыбы для этого в Кондоме не наблюдалось. Привычных нам удилищ и удочек шорцы не признавали и не признают. Берут рыбу в реке руками или специальными приспособлениями. Одно из них звучало, хотя и метко, но не для повторения вслух и письменно. Круглая лозовая плетенка с одним только отверстием в дне — для захода рыбы. Кстати, есть такое же приспособление и у рыбаков на Полесье, и название похожее — не для печати. Но неблагозвучная та плетенка, хотя и привлекала, нам не годилась. Ею пользуются зимой, по позднему уже льду, в предвестии так называемых придух — зимних заморов.

Теперь же более пригодной могла быть ловля петлей из мягкой и нетолстой медной проволоки или отпущенной на огне стальной гитарной струны. Петька придерживался мнения, что лучше струной, хотя за нее надо и деньги платить, но она в ту самую меру, что необходима, послушно гибкая. Но прежде всего нужно было найти рыбу. Для этого мог сойти хариус. И лучше всего хариус. Брать его в реке петлей, по утверждению Петьки, наиболее просто и сподручно — это самая безголовая и безмозглая речная рыба, хотя и верткая и вкусная — на соление и жарение. Но настоящий шорец-рыбак, вроде Петьки, не опускается до ее ловли. Глупая. А на рыбалке и на охоте обе стороны должны быть достойны друг друга. Главное при ловле хариуса — тихо и осторожно к нему приблизиться. Пуглив. Но приблизился — он твой. Накидывай и подводи петлю к голове. И дергай.

— Вот и струна у меня есть. Что надо — гитарная, — сказал Петька. И в самом деле достал из кармана свернутую в клубок струну, по виду и вправду гитарную.

— Может, нам лучше гитару сделать? — не очень воодушевленно отозвался я.

— Можно и гитару, — согласился Петька. — Только камыз лучше.

— Пусть будет камыз. — Я не перечил, но подумал, что камыз — это, наверно, что-то хотя и татарское, а все же больше казахское.

— Какая разница, — успокоил меня Петька, — как называется. Лишь бы играло. Музыка — она всем музыка. А лучше все же петлю. И поставить на зайца или бурундука.

— Пусть оба живут. Бурундук еще кедрового орешка на зуб не попробовал. И заяц избегался, порастрясся, худой. Пусть живут и пасутся.

Пока Петька, хотя и не напрямую, был против, отрицал задуманное мной, в голове он держал что-то совсем противоположное. Я догадывался, что, наверно, где-то в тайге догадывались и заяц с бурундуком.

— Тогда займемся рыбой, — уклонился от скользкой темы Петька, хитрил. — Хариуса будем ловить, большого, жирного и глупого. Это очень просто — завел петлю и дергай.

Дергать было некого. Больше пользы — кота за хвост. Но и кота нигде вблизи не наблюдалось. А хариусы никак не оказывали себя в шорской реке Кондома ни мне приезжему, ни коренному шорцу. Мы с Петькой, проницая глазом до самой малой гальки на дне, надолго замолкали. До сумерек, а порой и до рассвета. Возле реки в вековой тайге хотелось тишины, темени и покоя, такого же векового слияния с ними.

И в лагерь возвращались, объятые тьмой. Петька, подобно зверю, рыси или сове, видел тропу. Вел меня и удивлялся:

— Однако ты слепой. Совсем, однако, крот. Слепой…

Да, слепой, но не глухой, что-то передалось все же мне от Петьки. Я слышал и слушал ночь. Она доносила до меня свою, сотворенную столетиями, колыбельную — таежную, шорскую. Овевающую прохладой уже росных трав, томительно сладкую от сокрытых и закрытых в ночных бутонах таежных цветов, может, щемяще жалобную и зовущую. Неведомо куда, в шорское прошлое или будущее. И я уже насквозь, напролет свой здесь. Свой и чужой. По крови, воде, травам, земле и дереву. А Петька свой до мозолей и кончиков ногтей, до праха и тлена прошедших здесь поколений, как древняя и всегда молодая здесь вода. Я же растекся по чужим водам, их невнятному шепоту, всхлипу и крику, зову, струйному гомону чужих гортанных голосов. И соберусь ли вновь, дано ли мне собраться. Где моя живая и мертвая вода, думающая мной и обо мне? Глотну ли я ее хотя бы каплю, как птица в жаркий полдень? Омоложусь и состарюсь в ее целительно возрождающей мощи. И своя родная кукушка, подсадившая меня в чужое гнездо, пророчески прокукует надо мной и по мне, совсем или на долгие годы умершему.

Неизбытого, потерянного молила душа. Приращенности, заземленности и чистоты, грешной и наивной святости детства, которого у меня, может, и не было в вечной погоне за призрачными мирами, созданными мною же. Не без подсказки все же некого постороннего, понуждающего пошире развести руки и обнимать при каждом вдохе одну только пустоту. Обманчивую пустоту собственной тени, того, кем хотел быть и, кажется, был, но только во снах. Смертно изнемогал в самообмане.

И не с каждым ли так. Обнимаем обман и утешаемся пустотой. И потому до последнего вздоха в нас живет неутолимая и непроходящая жажда возвращения в уже утерянное, в день прошедший. Там мы все исправим и исправимся. Но наступивший новый день кажется вчерашним. Так он схож, как две капли воды, с прежним. В нем та же пустота. Самый жестокий обман, что время движется и что-то изменяет к лучшему. Проводили исследование нравов и человека христианских и послехристианских времен. Лучше нам не знать результатов. Они ужасающи — мы уже вплотную с апокалипсисом. И это свидетельство одной из последних гипотез ученых: в вечном движении совсем не время — Земля. Время же, времена неизменны, их, может, и вовсе нет, а есть все подлеющий и подлеющий человек.

Мы же все списываем именно на время. А надо бы на свою халдейскую упертость и неизменность в отнюдь не лучших наших качествах с пещерных времен, почему мы так склонны к предательству и забвению самих себя, лучшего в себе. Почему мы так увлечены самоубийством. Время же только наблюдатель за человеком-самоубийцей, потерявшимся в крови вечности, в желании и стремлении пойти вспять. Но в прошлое дорог нет, нет возврата

домой. И сколько можно бросаться из крайности в крайность. Сколько можно нарекать на черта, дьявола, большевиков, фашистов, перестроечников-демократов… Кто там еще не угодил человеку? Может, пора бы и перестать лить крокодиловы слезы, сказать себе одним из старых солдатских призывов: берегите природу — мать вашу. Природу человека.

Творцу, создателю претит игра в подкидного дурака со своим же созданием, имитируя согласие, жизнь и вечность, отдавая предпочтение не подделке, а истинности. Истинности в нас и вокруг нас. В том числе и воды — иконе, зеркалу и мировой памяти, родящей и уносящей, всегда молодой и бессмертной, в сравнении с которой мы только тени. Суетные дети пустоты, не всегда понимающие, что есть кара, казнь, а что помилование.

Утешаюсь тем, что имею, вижу, делаю. Грабарством, землекопством. Поражаюсь слитным с моим молчанием камня. Молчание — это его речь, язык. Это и мой язык. Когда-то на родине старики рассказывали мне о камне, что он не говорящий. А еще, что камни растут, подобно грибам или человеку. Не верил. Но очень хотел верить и потому сомневался. Фома, законченный Фома. Потребовалось полвека и очень дальняя дорога и, может, совсем даже не моя жизнь, когда заговорили ученые: камни действительно говорят и растут. Это почти народ, цивилизация. Где же вы, ученые, раньше были. Душили деревенское мракобесие?

Почему не сказали нам, белорусам, мне, что мы умеем говорить, имеем язык, язык камней. А потому нам надо очень долго жить, чтобы нас услышали, хотя бы перед смертью, мы народ, только окаменелый. Мы с камнем в каменном родстве. Одной крови и судьбы. Я слышу далекое эхо наших голосов сквозь толщу столетий. В сто тысяч лет по весям и далям нашей исконной земли — одно слово. И века, тысячелетия, пока сложится предложение. Верю, первые слова мне и вам уже прозвучали. В родном нам доме. Деревенская, крестьянская наша изба своим, подобно пирамиде, строем связана с космосом в отличие от плоского сознания и плоских крыш современных спальных строений, с творцом или творцами, не сводящими с нашей планеты глаз.

Вслушиваюсь, немею от молчания так называемой роговой обманки, которую мы нарекли роковой. Роковой для меня, мне, как для того шорца-охотника его сороковой медведь. С гладко сколотой, будто полированной ее поверхности, как зализанного сохатым солонца, за мной следит вечность. Глазом того же ископаемого сохатого, а может, не исключено, — и мамонта или ящера. Хотя их там сейчас нет. Но они смотрели на него, обнюхивали, видели и были ему собеседниками. И это утягивает меня в такую даль, что я не вижу в ней и человека.

Только осколок мгновения, следок на слегка зеленоватом камне неуловимой сегодня глазом прежней сущности. А это же было что-то живое. Соринка, пылинка еще только должного состояться мира, лепесток космического бытия. Трепещущая на ветру травинка, временность которой запечатлелась в камне и навсегда сохранена, отпечатана в нем, как на могильных памятниках имя и лицо того, кто уже не способен встать и выйти из-под него.

Роковая роговая обманка объединяет меня с вечностью и одновременно разъединяет. Я пытаюсь заглянуть вглубь камня, сбоку, из-под испода. Не могу. Это не под силу ни моему глазу, ни разрушенному будничным равнодушием бытовому сознанию. Мы разлучены с вечностью. Нам осталось только бредить о ней, чем я, наверно, сейчас и занят, к чему меня подвигают и обманы камня, и шорской тайги, и безрыбной речки Кондома.

Надеюсь, я понял, почему она так пуста. Сотворил пустоту человек. Грамотный, мастеровитый, вооруженный двадцатым столетием ВВ — взрывчатыми веществами, в данном случае динамитом и аммоналом. Такое происходит повсеместно и со всем, на что человек положит глаз. Это касается и самого человека. Достаточно только припомнить двух медведей в одной берлоге или уже с самого нашего начала — библейских братьев Авеля и Каина.

Человек влюблен только в самого себя и не терпит рядом даже брата своего. Венец природы, царь должен быть только один, потому и изводит всех, в первую очередь по скудоумию и недомыслию. Пока не уйдет в тот же камень и под камень, в ту же роковую обманку. Уцелеют, останутся одни пескари. Так уже было. Были люди-великаны, по легендам, ростом до четырнадцати метров. А сегодня великаны — максимум два аршина с небольшим. Тому свидетельство — уже сегодня великое множество пескарей в наших водах. Премудрых, и только. Не скарновым ли сплетением, метастазами своей пустодомочной породы объяли они меня и мою страсть? Только бы меня и мою — многих и многих, благодаря чему плодятся и множатся в дебрях своих пересыхающих водных саванн, джунглей и уже заполонили полноводные реки. Это предшественники и чистильщики. Я им донор, они мои вампиры. Таков наш мир, сегодня стал таким. А чужбина, какой бы милой и прекрасной она ни была, — обездоливает, убивает судьбу. Чужой кусок дерет рот. Чужой стала сегодня человеку когда-то кровная ему земля.

Обузились наши реки. Ополовинели их воды. Стали горькими. Худые коровы съели жирных, маленькие рыбы — больших.

На нашей многогрешной планете свершился и вершится на глазах большой исход, как некогда иудеев из Египта. Но не в параллельность — дай бы Бог, а, похоже, сразу в преисподнюю. Там, там уже наши рыбы, звери и многие из людей. Некоторые из них партизанскими тропами пробиваются к нам. Проведать, все ли по-прежнему неизменно на их прародине. Не вымерли ли уже и пескари. А может, чудо чудное, восстали в былой красе и силе земные боры, реки, звери и люди. И не посланец ли оттуда снежный человек, с которым, похоже, я в свое время встречался, будучи в геологоразведке, в Шор-тайге.

Не утверждаю категорически, потому что по натуре, как уже говорил, склонен сомневаться. Но все же нечто было или некто был. Решился заговорить об этом после того, как в российских газетах и ТВ начали писать, показывать и говорить о загадочном существе, живущим в шорской тайге, с которым кое-кому довелось столкнуться. Я же о своей встрече с ним нигде и словом не обмолвился, даже с друзьями. Прослыву сумасшедшим. Но после того, как пошли свидетельства иных уже людей, осмелел и решился. К тому же, в кое-каких изданиях, мемуарах вычитал, что в тридцатые годы прошлого столетия советские власти проводили эксперимент, популярный в европейской науке того времени: создание, выведение новой породы людей, суперчеловеков — спаривали человека с обезьяной. Эксперимент провалился, как провалился он в Европе, Африке и Прикавказье, и покрыто секретным мраком, где еще. В Шор-тайге, где была масса экспериментального материала (двуногие и двуполые зэки), нечто все же сохранилось. Может, с этим «нечто» и встречались люди и я уже во второй половине двадцатого и в начале двадцать первого столетия.

Шел я по тайге пешком из своей геологической партии в город Таштагол. Гонялся и негодовал на рябчиков, которые дробью вылетали из-под ног и с шелестом рассыпались по лещине. Когда выходил из лагеря с ружьем,

пугалкой и пукалкой на тесемке, хотя бы что-нибудь попалось пернатое. Одни только таежные клещи, имеющие меня телесно даже через противозачаточный для них энцефалитник. А тут… Смешил глухарей, меняющих в это время оперение, огарками, головешками восседающими или возлегающими на солнце в куромнике при болотах — согре. А я их, неокрыленных, пытался изловить. Путь неблизкий, под сотню километров с учетом отсутствия троп и дорог. Тайга, кустарник. И никого. Но вдруг длиннющая песчаная коса неподалеку от реки — человеческие следы на ней. Еще туманно курят после налетного, спелого и теплого летнего дождика. Бросился вперед по тем следам, да словно дубиной меня огрели. Такой ужас, такая тяжесть в голове и в ногах, что не пойму — спутали меня, заморозили или живьем бросили в огонь. Падаю, горю и инеем покрываюсь. И вижу кого-то или что-то живое впереди, в кедровом подросте, — скрывается и наблюдает за мной. А волосы на голове уже — каждый по отдельности и каждый дыбом.

Как я развернулся и бросился от этого, только мгновение тому желанного попутчика в противоположную сторону, не помню. С такой скоростью ни до, ни после я никогда не бегал. Думал, ночевать придется в тайге, но за одни сутки одолел около сотни шорских километров. А шорские километры — это нечто и нечто. В первый раз по дороге до своих геологов встретил старика шорца, спросил, далеко ли еще до стойбища.

— Недалеко, — общительно и радостно сообщил он.

— Недалеко — это сколько? Километр, десять?

— Однако километр, десять.

Добрался я в Таштагол уже в полночь. Выше головы набрался клещей. Ровно двадцать два извлекли и выжгли спичками общежитские ребята из моего тела. Постарался все же, Йети его мать, снежный человек.

А бега мои по Западной Сибири только начинались, а по Шор-тайге заканчивались. Брались на новые — долгие и далекие — к себе домой. В благодати юга Западной Сибири, в Шор-тайге, охотясь, гоняясь за Царь-рыбой, в поисках меди и золота я перво-наперво нашел самого себя, приоткрыл дверь сам не знаю куда, в неведомое мне и сегодня.

Открыл тайгу и воду, неизменно вечные, космогонно-сакральные инь и янь человека. Все минется, все пройдет, как для меня Сибирь, а они останутся. Даже в укрытии тьмы и пепла, праха, как это было, наверно, не однажды на земле. А вода течет, а лес растет, а тайга шумит. Я же и сейчас где-то среди них, хотя душа и приросла к тому, где начался — вымолила возвращение к своим борам, речкам и рыбам. Только пока я бегал, прыгал по чужбине, жаждал поймать чужую рыбу, дома меня обловили — свои, чужие, такие же приблуды, как и я в Сибири. Кто знает? Кто сегодня в силах ответить.

От чужих пескарей я вернулся к пескарям, породненным и помолвленным со мной еще в детстве. Недомерки, недотепы, они ждали меня вместе с сопливыми ершиками. Может, и ради того, чтобы мило и любовно плюнуть мне в глаза. А позже и утешить, чтобы правда так не колола глаза.

## *Печальная история о моем соме*

Сомы где-то были. В озере Сельском, у которого я тоже часто бывал. Мир этот очень вместительный, потому что в нем помещался и я. Но иногда, хотя и подсознательно, было тесновато. Так меня распирало от того, что я был и имел. Восемнадцать озер, две реки, дубняки, грабовники, хвойные, кленовые,

липовые да ясеневые дубравы, рощи реликтовые. Ничего уже не говоря про лозы, олешники, березняки, лещины с голубым покрывалом усмешливого вереска, стыдливого кукушкина льна с затаившимися в них длинноногими боровиками и красным половодьем краснюков-подосиновиков. А над всем этим, похоже, никогда не меркнущий бубен солнца и без единого облачка, как моя душа, — небо. А посреди всего этого, чистоты и свежести — портрет маслом. Понятно, мой. Я сам.

Рай. Хотя и сиротский, детдомовский. Но все равно рай. Только в том раю, было ощущение, мне чего-то все же не хватало. Того, без чего рай не полон, тем более наш, советский: куда тебя послали и кто послал — иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. Такой уж наш характер, если все есть и нечего больше желать, зачем тогда и жить. Дайте, дайте чего-нибудь еще немножко, самую малость еще чего-нибудь.

И я в своем состоявшемся раю бесконечно и жадно чего-то ждал. Хотя меня на каждом шагу ежеминутно щедро одаривали светом и лаской неожиданных и нежданных чудес. Я выпадал из своего тела, как это бывает только в снах. А здесь, наяву, я летал, летал, подобно игривому летнему ветерку, спрыгнувшему с неба, дерева, зацепившему тебя краем, хвостиком. Ты уцепился за тот хвостик и — вдаль, и ввысь ласточкой или даже коршуном, который в недвижности распростертых крыльев кружит, ходит кругами с раскрытым от удивления клювом в небе, радуясь ему, своей невесомости. И ты невидимо посеян в небе, слит, породнен с крылом и сердцем птицы.

С рыбой, тем же сомом, возле которого я обитал чаще, такой слитности, такого единения не получалось. Разве только мгновенное и едва ощутимое, когда мы встречались взглядом, и рыба уже бежала прочь от тяжести моего глаза и дерзости глаза своего. Стоило лишь мне украдкой с крутого берега попытаться лишь присоединиться к рыбьим играм, как они сразу же снимались с песчаного мелководья. Конечно, в большинстве еще безмозглая мелочь пузатая, не всегда различимая в отсверкивающем небом и звездами кварцевом песке, торчком шла вглубь, красноперо руля плавниками и радужно настороженными хвостиками. Исчезала с такой скоростью, что только эти светофорные хвостики мерцающе зависали перед глазами, не дозволяя сознанию уцепиться за них. Хотя я и не очень хотел цепляться. В преисподней бездонности вод мне мерещилось нечто запретное, могильное, сурово нахмуренное и холодное, где мне не было места. Занято оно уже было другими. Не видел, не находил я еще себя в омутовой бездне.

Как-то мы вырубили в лесу и сплавляли на челне жердь для флага, мачту для нашей ежевечерней детдомовской линейки. Четырнадцать метров в длину. На середине деревенского озера попытались измерить его глубину. Дна не достали. Тогда я впервые почувствовал страх воды, ее бесконечности и непостижимости. И это при том, что озеро с первого взгляда покоряло несказанной, может, и неземной красотой, приветливостью. Скорее даже не озеро, а русло прежней нашей могучей реки, сегодня же скромной и кроткой, с обоих берегов ограниченной белым песочком да незрячими трясинами речушки. Озера — знак судьбы. Озеро — русло жизни. На склоне его — старица.

Старица проточная. С верховьев и низовья реки — рвы. Неширокие, подобные горлышку бутылки, стремительные и бурные. А дальше, около километра, — тишь, покой и гладь в ангельских лилиях, кубышках и горлачиках — наших полесских лотосах. Шатровая ширь дубравы. Дубы в несколько обхватов. На пне которых, как клялись и божились старожилы, могла развернуться пароконная подвода. Так или не так, как говорят на Полесье, перетаки-

вать не будем. Пригрезилось, прибредилось, было, не было — было. Потому что могло быть. Легло, отлежалось и отпечаталось в памяти. Так, наш детдомовский сторож дед Гаврила, сокращенно дед Гав, до самой смерти вспоминал и жаловался, что его здесь не убила, но крепко покалечила огромная сумасшедшая рыба-белуга, которую неожиданно для себя подцепили местные рыбаки. Редкая, а может, и не такая в те времена редкая. Проходная. А может, и не проходная, местная, своя в наших реках рыба. И на наших столах своя.

Как бы там ни было, попалась она в сети, подцепили ее местные рыбаки, думали, что колода. Подтащили к берегу. Дед Гав, тогда подросток, стоял на веревочной тяге. Веревка неожиданно выскользнула из его рук, чулком сняв с ладоней кожу. А колода живо развернулась и хвостом так влындила ему в грудь, аж ребра затрещали и грудина загудела. Дед Гав потерял сознание. Колода в клочья разнесла невод, как шершень паутину, блеснула белью чешуи и сытым брюхом. На всю оставшуюся жизнь оставила Гавриле зарубину в памяти, как о войне.

Я тоже хочу такой памяти о наших реках, глядя с крутого берега Стороживки на обездоленную сегодня, забранную в бетон Свислочь в Минске, в Полоцке от Софийки — на измельчавшую и кроткую Западную Двину, от Туровского замчища — на укрощенную Припять. Были у нас реки. Были у нас воды, море Геродота. Была у нас рыба. А сегодня похваляемся копанками, сажалками и доморощенными карпами по неимоверной цене.

Мое обращение и доверие к прошлому не всегда, конечно, осознанные. Это тоже упование на химеры наследственной, очень цепкой памяти, как бы и не нашей уже, подобной осеннему умирающему чертополоху, жаждущему ухватиться хотя бы за собачий хвост. Рудимент памяти, натуры собирателя и добытчика. Того, что сегодня извелось и измельчало до так называемого хобби. Охотника, рыбака и всего, что сопутствует этим занятиям, вплоть до ремесла, привычки работать руками. Очень и очень мало сохранилось в нас от корней и духа предков. Одна только тоска, тревожность снов и, непонятно откуда и почему, — слеза после неурочного пробуждения.

Но избытое прошлое не только разрушает нас сегодня, оно еще и искушает, сладко обманывает, первобытно страшит и следит за нами. Особенно в детстве, когда мы еще недалеко от своего зачатия. В сумерках непризнанности и необглоданности бытием, без брезжущего еще света ни в начале, ни в конце тоннеля мы чувствуем уже не звериным, но еще и не человечьим сознанием кровное единство со всем сущим, живым и мертвым на этом свете.

Я чувствовал, неведомо как и каким образом, свою причастность ко всему, что теперь окружало меня. Ужасался, радовался, пугался, как бы не раствориться, не рассеяться и никогда уже больше никем и ничем не быть. Как не бояться, когда перед тобой такое огромное райское зеркало — озеро без дна, начала и конца, а в нем — белуга, едва не утянувшая на тот свет детдомовского сторожа деда Гаврилу?

По воспоминаниям стариков, на берегу озера некогда росли сибирские кедры. О том, что это не досужие басни, свидетельствуют попытки возродить их сегодня. Правда, насколько знаю, безуспешные. Маленькие деревца еще берутся, принимаются. А чуть выше — чахнут и пропадают. А еще, в свое время, здесь гнездовала совсем уже райская заморская птичка-невеличка, чуть больше пчелы, — колибри? Когда, куда, почему и как она пропала — большой вопрос, как и великое множество иных в нашей отечественной истории и географии. Все это одни и те же ветви нашего родоводного, преждевременно изведенного дерева, а в утеху лишь побасенки, мифы да сказки. И едва

тлеющий костерок, дымный и чадный, но не греющий, выедающий остатки родовой памяти. И не только у нас, но и у наших потомков.

Райская же действительность множила уверенность в присутствии и скором познании неведомого и невероятного, что происходило каждый день и на моих глазах. Этому способствовали и книжки, которые я читал, глотал. В частности, трилогия Якуба Коласа с описанием того, как неожиданно пропадали в полесских водах домашние утки. Начинали вдруг суетиться, испуганно вскидывали в небо крылья и беззвучно исчезали подобно поплавкам под водой. Словно их утягивал позже обнаруженный вдали от нас Лохнесский заморский монстр.

Между тем и своих доморощенных монстров было в избытке. Один из них всегда обретался у меня под боком. На моих глазах без знака и следа исчезали не только утки, но и молочные поросята, по глупости забредавшие в старицу. Старики говорили, что такое может случиться и с малыми детьми, если без надзора полезут купаться в озеро. Но на моей памяти такого не было. Поведанное породило во мне ужас и неодолимое любопытство хоть краешком глаза взглянуть на троглодита, творящего такие беды. Ужас представал в облике огромной хищной рыбы, может, и заблудившейся белуги, или огромного гада или быка, живущих здесь. Ближе был бык, как существо знакомое. Его называли еще болотным. Иногда по утрам он трубно ревел в болотной трясине — дрыгве, наводя страх на все живое в округе. Но рева того я тоже никогда не слышал, хотя заранее дрожал, подходя к болоту. Но все оказалось гораздо проще и прозаичнее. Монстром, гадом был местный озерный сом.

Я хорошо знал, что сомы здесь есть. Сравнительно небольшие сомики, сомята, изредка попадались в жаки и мережи деревенских рыбаков. Но местные люди их не ели ни в каком виде. Побаивались и брезговали. Как, кстати, относились и к ракам: питаются падалью, утопленниками — падальщики и людожоры. А полешуки блюли чистоту, даже духа грешного и нечистого чурались. Я же сам был нечист и грешен, млел увидеть каннибала, может, и подружиться с ним.

И увидел. В деревне появились пришлые люди. Корчевщики пней, земных останков памяти былого бора, может, и кедрового. Выбивали ее толом, динамитом и аммонитом. Пни были на удивление уцепистые, янтарно смолистые, сине-злобно пылающие, как невыкорчеванная память прошлого. Именно такие, что крайне нужны многочисленным смолокуркам каждого райцентра и местечка, на окраинах которых они тогда размещались, подобно египетским пирамидам, только маленьким и довольно мерзко дымящим. В тех пирамидах добывались горюче-смазочные материалы — энергоносители тележно-колесного времени — древесный уголь, деготь, скипидар. Прошлое, прибранное в стога и копы, как братские надмогильные обелиски, бугорно присыпанное землей, тлело и чадило, уже окончательно отходя, истекая черной горькой слезой уходящего дня.

Именно корчевщики, чистильщики памяти, выкурили и добыли монстра. Сома деревенского озера. Выкорчевали его из бездны динамитом, толовыми шашками. Как это случилось, я не успел уследить. Примчался уже на взрыв, громом с чистого неба потрясший село. Сома уже извлекли из озера и возложили на телегу. Конь испуганно всхрапывал, оглядывался, тужась тронуться с места. Полностью сом на телегу не поместился. Хвост свисал до земли и волочился по песку деревенской колеи. На нем оседала серая дорожная пыль, скрадывая живые краски рыбы. Это меня больше всего впечатлило и взволновало: одна лишь горсть летучего песка способна превратить живого в мертвого. Я готов был зажмуриться и заплакать.

Но не заплакал. Не заплакал в ту минуту. Глаза набрякли слезами только ночью. Произвольно, во сне. Когда сом пришел ко мне и начал на что-то печально жаловаться, пошевеливая гибким цвета старой алюминиевой проволоки усом, старчески, беззвучно разевая синеватые губы, словно пытался что-то мне передать. Но так и не смог добыть, родить слово. Бессловесность, немота были уже его уделом.

Когда я увидел его на телеге, он еще трепетал, был живой, оглушенный, контуженный, лишенный привычной опоры воды, омовения плавников. А вот глаза, хотя и очень маленькие, глубоко воткнутые в безмежье плоского лба, были вопрошающе живые и умные. Словно кто-то там, в необъятности его тела, не давал угаснуть его сознанию. Приказывал молча и без нареканий подчиниться происшедшему, тому, что неизбежно ему уже наречено: вечному упокоению и небытию. Словно в этом заключено его спасение. И он покорно затих, с достоинством принимая неизбежное, ниспосланную ему последнюю милость небес.

И это не было безразличием и равнодушием. Что-то значительно большее, может, и величественное. Высшее знание, недоступное живым и здоровым, свойственное в последние свои мгновения на этом белом свете лишь братьям нашим меньшим да редчайшим, избранным и званым на этот свет человекам. Глаза без испуга и боли, затянутые, как мне казалось, потусторонней блеклой пеленой, предостерегающим занавесом от земной суеты, похоже, уже ушли или уходили в непостижимость. Как у старых людей, чаще старух очень и очень преклонного века, познавших счастье и горе материнства, призрачность дарованной им и ими жизни, просящих Всевышнего не забыть их в земной юдоли, вовремя прибрать.

И вот жестокая безжалостность детства — мне было совсем не жалко отходящего сома. Я был рад, что его, наконец, поймали, добыли и показали мне. Сам мечтал о такой добыче: выследить, встретить и присесть на нем. Потому что к тому времени познал жуть и радость, азарт и страсть подчинения себе всего и вся вокруг себя — в лесу, в воде, над головой в небе и под ногами. Крещения кровью и смертью. Хотя это было только начало моей жизни, но оно уже требовало самовозвышения, самоутверждения. А это значит — жертв и жертв.

Старица же после поимки, а вернее, убийства сома, как-то незаметно стала усыхать, а вскоре и вовсе обмелела. Там, где была бездонная яма, дом сома, выперся белолобый бугор желтоватого песка, облюбованный для отдыха вороньем, постоянно что-то ищущим и гортанно галдящим. Мы голопузо гонялись за ними, уже не боясь купаться в почти сухом озере. Что было дивно — вместе с озером усыхали дубы на его берегу. К ним пристала некая непонятная хворь, напала какая-то нечисть — невидимый глазу жучок. Могучие деревья ужимались, теряли крону и кору, мусорили себе под ноги гнойно-бурой и сыпучей жеваной трухой. А потом падали долу, обнажая мозолистые древние корни, вспарывая ветвями землю, словно после подрыва толом или динамитом. И так, пока не извелись совсем.

Но это уже без меня. В ту пору я сам исчез. Поехал в белый свет, как в копеечку. В Сибирь. Именно в поисках своей заветной рыбы. Считал, что в наших водах, в деревенском озере, ее уже нет. Все выловлено, истоптано. Реки обужены, укорочены, взнузданы, кастрированы разгулом и сумасшествием мелиорации. А в Сибири руки еще коротки, реки не в пример нашим. Сплошь одно Беломорье с пятипудовыми тайменями — красная, по всем понятиям, рыба.

Таймени где-то были. Само собой — в моих ночных бдениях и снах. А также в несомненно могучих сибирских реках Лене, Иртыше, Енисее. Были, но не про меня: не с моим детдомовским счастьем овдоветь. Если уж извели своих белуг — на чужой каравай рот не разевай — ими еще надо переболеть. Манкуртно освободиться, избыть память и отдаться правде о родном крае и о себе. А я жил надеждой на чужое, на сибирские реки и свою удачу.

Как же горько я ошибался. Да, Сибирь была вместительная. И реки были полноводные. Но толу с динамитом тоже было вдосталь. Куда больше, чем на наши маленькие речки с измельчавшей рыбешкой. И своих корчевщиков немерено. Но я не отступился — проклятая наша упертость — побежал по белому свету за своей призрачной неуловимой рыбой. Хотя к тому времени, как мне казалось, уже поумнел. Остыл, повзрослел. Языческое и пионерское нетерпение унялись и отошли. Добрые люди просветили: нечего напрягаться и бегать туда, ума не приложу, куда, за дурной головой ногам не давать покоя. А бывалый рыбак объяснил мне, что ловить сомов и здесь очень просто, как вообще чем-нибудь заниматься в нашем житейском мире или море: наливай да пей. А если очень уж хочется поймать именно сома, надо постараться и не жадничать. Первую чарку отдать воде. Потом нарубить кольев и вбить их по берегу воды. Сомы нисколько не умнее людей. Тут же поплывут посмотреть, что за разумник объявился. Примутся, надрывая животы, смеяться до упаду. Самая пора не зевать, как можно быстрее хватать их за усы, завязывать узлом и набрасывать на колья.

Науку бывалого рыбака я усвоил. Особенно первую практичную часть, конкретно диктующую мое поведение. Дело оставалось за малым и несущественным. Найти сомов, и чтобы они были не прочь со мной причаститься, взять чарку и сохранить чувство юмора. Такие не встречались. Словно перевелись или кто-то с этим делом уже перебежал мне дорогу. Сибирские сомы брезговали мной, полешуком.

Я бросился вдогонку за ними, прихватив на плечо свой нехитрый рыбацкий скарб, помчался по всей одной шестой части суши. Мог бы и дальше. Но дальше не пускали. Мои руки были необходимы только тут, подобно Прометею, прикованному к всесоюзным комсомольским ударным стройкам — заводам, шахтам, комбинатам. А еще Дальний Восток, полукитайские Амур и Уссури, Забайкалье с милым именем реки или речушки Чара, которой я, к сожалению, не достиг. Как только услышал ее имя, она повела меня, словно лошадь в поводу. Очаровала меня речка Чара, но навсегда осталась неувиденной и неизведанной.

…Потом Украина, Крым, Казахстан с их озерами, реками и речушками. И, конечно, мать русских рек — Волга.

Хотя, признаюсь сразу, Волга не моя река. Очень уж неудержимая и непререкаемо уверенная в своей царственно-величественной русской красе и мощи. Я не выдерживал ее властного подчинения всего, что противостояло или пыталось противостоять ее водам. Едва ли не брезгливое верховенство не только надо мной, а вообще над человеком. И одновременно безразличие, равнодушие. Она утягивала и заговаривала меня еще с прибрежного песка шепотным и щекотливо ласкающим течением воды, на первый взгляд спокойной и кроткой. Но все это было нарочитым, обманчивым. Стоило только довериться ей, сразу же становилось понятно — она тебя уже не отпустит. Ты никто и ничто перед ней.

Грузина еще до оккупации заморскими автомобилями спросили, может ли он купить «Волгу». Тот ответил, что, конечно, может, но зачем бедному гру-

зину такая большая река. Так зачем же и белорусу, полешуку, на чуж-чужениие такая речка. Разве чтобы только утопиться. Потому я без сожаления распрощался с Волгой, посчитал более пригодным для своих рыбалок Тихий Дон. Поменял мать на отца. Обмен, измена великой русской реке обошлась мне дорого. Не только норовистой, но и злопамятной, ревнивой оказалась красавица Волга.

Из Краснослободска, небольшого уютного городка на противоположном берегу Волгограда с его железнодорожным вокзалом, я добрался легко. Без труда поездом доехал до тенистого, утонувшего в палисадниках и пыли поселка где-то в семидесяти километрах от Саратова. До турбазы на берегу Тихого Дона оставалось совсем ничего, километров десять-двенадцать. Туда бегал местный юркий автобусик. Но я уже был охвачен лихорадочной дрожью нетерпения, подбил жену идти немедленно, пешком.

Это была еще та дорога. Ад может закрываться на переучет, черти уходить в долгосрочный неоплачиваемый отпуск. А грешники сочувствовать и утешаться: в покинутом ими мире есть мученики больше их. Груза на нас с женой было пуда по три, а может, и больше. Полешуки народ предусмотрительный и запасливый. И время было такое, что все свое надо было носить с собой. И мы тащили это свое, как двугорбые степные верблюды, некогда обитавшие здесь. А горбов у нас было не два, четыре — по бокам еще — настоящие дромадеры, ко всему, еще и рогатые. Я был капитально оснащен удочками, спиннингами и подсачками.

Солнце радело над каликами перехожими, как на сдельно-прогрессивной оплате. Жара за тридцать. В дорожном песке можно печь яйца. И ни единого деревца по обе стороны дороги, чтобы хоть губы облизать в холодке. Только справа вдоль нашего пути, словно зеленое издевательство, — заросли лозы и раскидистые вербы. Но до них от дороги метров двести, может, и больше, свернуть нет сил. Удерживала, застила сознание и моя одержимость: вперед и только вперед. Иначе — остановимся, присядем и больше не поднимемся. Не стронемся.

По первости жена еще юморила, подтверждая, что жизнь мы учили все же по учебникам, в том числе и древней литературы:

— Доколе муки сии, протопоп, будут?

— До самой смерти, Марковна.

— Ну, ино еше побредем.

И мы брели. Жена все чаще и чаще поглядывала в мою сторону, и у меня прибавлялось и прибавлялось груза. Но мы все же как-то доползли до высокого обрывистого берега Тихого Дона, где располагалась наша турбаза. Как раз в ту минуту нас обогнал немощный, траченный ржавчиной автобусик. Просверком блеснула и вода. Батька Дон избавился от охранительных объятий кудрявых лоз и ветвистых крон могучих верб.

Идиоты, недотыкомки. Оказывается, мы все десять-двенадцать изнуряющих километров шли рядом с рекой — в двухстах вербных лозовых метрах. Подлянка из подлянок, думай не придумаешь. Мы упали, отягощенные собственными рюкзаками и авоськами, молча пялясь друг на друга. На упреки и смех не было духу. Хотя смех позднее появился, подлый, а потому искренний. Смех идиотов над безнадежными идиотами.

На турбазе нас опекал зрелого века казак из станицы на другом берегу реки. Название ее затерялось в череде лет. А казак назвался дядей Сашей. С хорошо пропеченным местным солнцем лицом, выразительными морщинами на нем, но все еще по-казацки фигуристый. В любую минуту — на коня, в седло, саблю наголо и за красных или белых.

В меру, по-мужски пьющий, доброжелательный и не суетливый. Как-то по нашему, по-полесски, рассудительный. Больше делал, чем говорил. И говор был очень мягкий, милозвучный. Русский, конечно, но с украинской напевностью и примесью, пересыпью наших белорусских словечек, что мне особенно в нем нравилось. Смешение языков было очень естественным, словно все люди именно так и должны говорить. Перед тем как сказать что-то значительное, обязательно вытирал о сорочку на груди руку. Привычка, как я позднее понял, истинно рыбацкая. То же самое он проделывал, поймав приличных размеров рыбу, сняв ее уже с крючка, предварительно сполоснув руки в воде и начисто вытерев их о сорочку. Потому на груди она разнилась цветом, была светлее, чем по бокам, словно подготовленная к медали или слегка бронированная. И это было к лицу ему, объединяло с тем, чем он занимался и что больше всего любил — с чистыми водами родного ему Дона и рыбой в нем.

А рыбак он был удачливый, вдохновенный, как говорится, от Бога. Дарованы ему были на это глаз, рука и душа. Мне же поначалу на батюшке Тихом Доне не очень везло. Ловилась больше мелочь. Плотва да сухоребрица-ляскалка — густера, а то и вовсе вездесущие пескари и головастые, навсегда испуганные и голодные бычки. Дядя Саша обучил меня ловле синьги. Что за рыба, какое у нее настоящее имя, не знаю и сегодня.

— Синьга есть синьга, — коротко и конкретно объяснил мне донской казак, замешенный на белорусе и хохле.

И на самом деле, синьга была синьгой. Подсиненная, начиная от подбрюшья. По бокам уже выразительно синяя, а хребтом — сталисто-черная, с антрацитовым отливом. Жирная, наваристая в ухе, с тонким ненавязчивым ароматом самого Дона, степного юга с притаенными в нем богарными арбузами, выращенными в строгости, без полива, и вечернего тягучего дымка костра. Дядя Саша, как оловянный солдатик на плацу, исправно и без особого усердия одну за другой таскал и таскал эту сабельную синьгу. Одним неуловимым взмахом далеко в реку посылал закидушку под крутой противоположный берег. И, кажется, сразу же дергал на себя, тянул назад. А на ней уже, словно по приказу, сине трепетала синьга. Иногда с полкилограмма, а то и больше.

У меня, как я ни старался, так ловко не получалось. И не только с синьгой, но и всей прочей рыбой. Нет, настоящим мастером все же надо родиться. Хотя в казан на уху и для жарки на сковороду нам с женой хватало и моих уловов. Но опять же — вечное недовольство и искушение человеческой натуры — хотелось большего, иного, благодаря чему я и повелся со здешними, донскими сомами. Хотя первые из них назвать сомами — большая натяжка. Но у настоящего рыбака рука не знает дрожи, а язык — смущения, даже когда он очень нагло врет и преувеличивает. Сомики, конечно, были, по реке — байстрючки, с килограмм или чуть более. С подсказки того же дяди Саши я завозил свою закидушку на три или четыре крючка под бакен. Вместе с сомиками там изредка попадались таких же размеров судачки.

Это, в конце концов, надоело мне и возбудило. Я посчитал, что достоин большего. Время идти на настоящую рыбу. О, Сабанеев, о, Хемингуэй, о, Виктор Петрович Астафьев и далекий мой пращур, без похвальбы, один на один справлявшийся с мамонтом. Сколько поколений любителей сбили вы с толку, свели с ума. Научили, как у нас на Полесье говорят, на пень ср...

Я давно втихомолку возил с собой перемет. Точно не знаю и сегодня, разрешенную или считающуюся браконьерской снасть, изготовленную по моей просьбе другом, охотником и рыбаком для ловли рыбы на больших сибир-

ских реках, которой я до этого не пользовался. Но хранил. В рыболовном же хозяйстве никогда ничего лишнего нет. Прочный капроновый шнур метров в сто длины. С десяток поводков немецкой лески ноль пять, ноль шесть миллиметров диаметром. И крючки не двенадцатого ли прежнего отечественного размера и такие же отечественно надежные.

Вот такую снасть я вытащил из своего рюкзака, растянул, разложил на берегу. Насадка была приготовлена заранее, на самый извращенный вкус любого зверя. Выползки — земляные черви местного происхождения, более привлекательные национальному самосознанию донской рыбы, добытые, когда они выходят из своих норок, чтобы загорать при полной луне в полночь под плодовыми, ранее хорошо унавоженными деревьями. Внешне противные, но внутренне искусительно толстые и жирные личинки майских жуков, предосенне ушедших глубоко в землю и извлеченных оттуда мною. И зеленые еще недоразвитые лягушки, маленькие, но прыгучие, верткие, до которых, по свидетельству бывалых рыбаков, чрезвычайно охочи самые переборчивые большие сомы.

А в том, что они здесь есть, можно было не сомневаться. Их даже по запаху можно было унюхать и догадаться. Так крепко несло падалью, когда ветер дул в сторону турбазы. Неподалеку от нее в лозняке, говорил дядя Саша, издох во время половодья и нереста огромный сом — центнера три чистым весом. Зашел и отнерестовал в корчах по большой и уже хорошо прогретой воде. Произвел наследников. Самка, мать, немедленно ушла. А он подзадержался на страже и упустил время, когда вода пошла на спад и еще можно было убраться. Мне хотелось посмотреть на того верного долгу сома, но я вспомнил уже виденного подобного зверя в детстве и не отважился. Что-то претило, заступало дорогу, может, и предостерегающая охранительная память детства. Все же более пристойно хранить в ней живое.

Место, определенное мной для завоза перемета, было приметным. Дон, словно споткнувшись, бросался там прочь, поворачивал почти под прямым углом, образуя излучину и заливной, затянутый тиной, ряской, остовами снесенных половодьем деревьев плес. Правда, таких непроточных плесов я избегал, предпочитая с детства более привычные мне песчаные взлобья островов, где течение реки не прерывается, а лишь замедленно приостанавливается. Но это я, а не сом. Мы с ним хотя в чем-то и близкие, но у каждого свои прихоти и своя придурь. Не исключено, кому-то из наших братьев хочется хотя бы немножко побыть человеком, а человеку — зверем или рыбой.

Я укрепил пустой конец перемета на берегу. К другому, с крючками и насадкой, навязал два кирпича. Вбросил их в лодку и погреб к трясинному плесу. Лодку немного снесло течением от того места, куда метил. Но я не стал ее выправлять. Батька Дон знает, что делает. А упрямство и неповиновение кажущейся случайности не всегда нам на пользу. Надо доверяться судьбе. И я торопливо плюхнул оба своих кирпича в тусклую бездну донской воды: ловись, рыбка, большая и маленькая. А лучше все же большая. И у кота должны быть праздники.

На следующий день, еще на рассвете, не обмолвившись ни жене, ни дяде Саше, я был уже у перемета. Кол, к которому он был привязан, стоял нестронуто. Я попытался подтянуть перемет к берегу. Он не поддался, будто прикипевший или вбетонированный в речку. Кирпичи, наверняка кирпичи вросли в ил. Я сел на корму в лодку и, держась одной рукой за капроновый шнур, подгребая другой, поплыл слегка против течения к противоположному берегу, вблизи которого утопил кирпичи.

То, что произошло дальше, мне и сегодня кажется невероятным. Я не успел еще преодолеть середины Дона, как почувствовал, что кто-то ведет меня, помогает. Правда, не совсем удачно, кривульками. Сбивает лодку с курса, бросает в стороны, но тут же спохватывается, тянет вперед. У меня и в мыслях не было, что это нечто живое, подсевшее на крючок. Дон, река, шутит, заигрывает со мной — подводные, невидимые глазу течения. К тому времени я уже почувствовал его норов, непредсказуемость, а иной раз капризность.

Конечно, не Волга, но показать зубы, померяться силами горазд. И неизвестно, кто окажется в победителях. Приглаженная, лоснящаяся ровность, задумчивость и покой Тихого Дона, млеющего в жару под солнцем в зените полдня, в темени припавшей к нему ночи и обнажившего его утра, обманчива. Как может быть обманчива и коварна одна только бегущая вода да еще женщина.

Тихий кроткий Дон не похвалялся без нужды ни богатырской силой, ни чрезмерным, разрушительным буйством. Все это было сокрыто в нем под нарочитой, кажется, покорностью и тихостью, которые оказывали себя в полную силу лишь тогда, когда это требовалось. Когда приспевало время не бесцельного бунта и лютости, а противостояния. И не кому-то или чему-то будничному, обычному, — а властному, высшему, чужому здесь, которое слепо и брезгливо в своей ничтожности пыталось обуздать его, самоутвердиться в его глубинах. Командирствовать над небом и землей, воздухом и водами. Это постороннее, налетное выбирало для своего пробуждения обычно воробьиные ночи, аспидную их темень с громами и перунами, ливнями, сумасшествием самого неба, с потерявшими там голову божками и боженятками. Именно тогда безудержно и неукротимо проявлял себя, свой крутой нрав и настоящий лик совсем не Тихий Дон. Гудом донных и поверхностных вод, лавинным валом волн, неустанной тягой течений. И горе тому, кто в такие минуты пытался противостоять ему.

Он вышел ко мне из размытой тусклости донской воды, как из продолжения моих детских снов. И я встретил его, как недосмотренный, скрытый в подсознании сон. Поприветствовал свое несбывшееся, прерванное прошлое. И сом, по-всему, ответил мне. Зевнул, широко разведя изнеженные на донских лакомствах губы. Покивал седым длинным усом и подтвердил приятность нашей встречи усиками малыми, желтоватыми, и плоским, извилисто-подвижным и очень гибким хвостом.

И тут между нами началось что-то непостижимое и невероятное. Переглядывание, перетягивание, борьба — не борьба. Скорее игра. И сом был зачинщиком этой игры. По всему, безусловно, уверенный в своем превосходстве и победе. Иногда он почти не сопротивлялся, двигался замедленно и лениво замирал, позволяя подтягивать себя к самому борту лодки, но соприкоснувшись с ним, сразу же брезгливо отслонялся. Без усилий вертикально уходил вглубь или пластом ложился на воду, также без усилий отдаляясь от лодки. Отплывал, вырывая из моих рук капроновый шнур, и внимательно смотрел на меня маленькими, казалось, похмельными глазами с желтоватой поволокой лет. Без испуга, отчаянья и даже укора.

Одно в нем было очевидно и читаемо, как когда-то у его сородича на телеге возле сельского озера: ниспосланное неведомо откуда и кем высшее знание неизбежности и непротивление ему. Подчинение с достоинством. Разница лишь в том, что сейчас глаз у сома оставался зрячим, не закрывающимся, хотя и очень равнодушным к моим усилиям совладать с ним.

Я понимал, что между нами пролегла вечность. И не только столетий — воздуха, воды, родившей нас и разделившей. Сегодня мы с ним очень и очень

разные, и не только средой обитания, но и жизненным измерением. Сейчас и до исхода, до скончания веков есть, будет и останется, не по нашим, конечно, меркам, вопрос: за кем все же правда.

Может, ее ни у кого нет — действительно, только вечные ловы. Недаром речь о них, ловцах душ, идет еще в Библии. А мы оба существа библейские. Беда только, что не единственны, и нам тесно даже среди подобных нам. И это не он, сом, а я меньший брат его, его потомок, хотя и противлюсь, боюсь признаться в этом. Потому из века в век охочусь на него, жажду поймать, унизить, победить. Убить, как Каин Авеля. И этот, восставший, возрожденный из небытия, одиночества и покоя вечности Авель и на том свете понимает и чувствует, и сочувствует, монстрово уходя опять на тот свет. Но я не приучен оглядываться. Бесконечный вековой гон выжег подаренные мне зачатьем милосердие и сопереживание. Возбужденный и оскорбленный непокорностью добычи, я отрешился от пробужденных на мгновение милосердия и жалости: я возьму тебя, сом, ты будешь моим. Ты годишься быть моим, такой большой и сильный, что мне во славу сломить тебя. Ко всему, ты красивый, пестро цветной, искристо-черный, донно, преисподне подзелененный земными зарослями лозы, солнечно, поживу кроваво подпеченный болью и упрямством, небесно-голубой в донской воде. Радуга на тебе может отдыхать. Ты дорог и люб мне, хотя про тебя говорят: одна из самых мерзких наших речных и озерных рыб. Но я тоже не подарок. Мы оба достойны друг друга. Но ты лучше. Именно потому, Авель ты мой, я одолею тебя.

Одновременно до отчаянья и щемящей боли понимал, предчувствовал: нет, не одолею. Не мой это сом. Длиной более двух метров и под три пуда весом. Подбирается, а может, и переступил уже за вторую половину своего века. Вон сколько набрал на голову всякой мерзости: и пиявки, и водяные черви, и черт знает что еще. Как мы в детдоме пели: «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ж… в орденах». Несчастный, как и нас, наверху, сосут тебя и сосут, точат и точат земные черви. Это же надо испоганить такую голову — всему Дону голова. Ее не грех и открутить. Жаль, конечно, но надо. Надо, прости, но всех не пожалеешь. Вот только не думал-не гадал, что так повезет. Не подготовился, нету при мне ни багорчика, ни веревки, на крайний случай шнура, чтобы петельку сделать и взнуздать тебя, протащить через жабры. Ухватиться за жабры багорчиком, тюкнуть по темечку топориком.

Разумный человек не стал бы настырничать. Опустил бы перемет и обратился за помощью к тому же дяде Саше. Но я был не из разумников. Не колеблясь, набряк силой и глупостью, потащил сома к бортам лодки, намереваясь заключить его в объятия обеих рук. Защемить, выхватить из воды, поднять и кульнуть через борт себе под ноги. Сом легко дался подвести себя к лодке. У меня даже получилось слегка приподнять над водой его голову. Но когда я хотел перехватиться, взять в тиски туловище ближе к средине, со всей трепетной силой мужской ласки прижать к себе, чтобы на противовесе сподручнее опрокинуть его в лодку, случилось то, что должно было случиться.

То ли мне попался сом, не терпящий мужских объятий, то ли он был очень уж охранно-скользкий, сопливый, а может, просто не хватило силы в руках. Но если бы и хватило, пользы никакой. Сому, наверно, наскучило играть со мной. Почувствовал, что с моей стороны это уже совсем не игра. Покушение на его свободу и жизнь. Он избавился от равнодушия, лени, юмора и так ударил в хомут, что я едва удержался на корме лодки. Что-то хряско и хлестко щелкнуло по воде. Шнур утратил натяжение. Поводок на нем обвис.

Я ошеломленно застыл в лодке. И сом застыл в воде неподалеку от меня. Два истукана в одной реке. Та еще картина, хотя и не маслом.

Минуту-другую мы, неуклюжие и недоуменные, были подобны поплавкам в мертвом штиле речного равнодушия. Первым опомнился сом. Стал разевать рот, синенько пошевеливая губами и одним сивоватым усом, — второй я оторвал. Думаю, что он был не в обиде на меня за это. Скорее благодарил за встречу, приятное знакомство и полюбовное расставание. Тем же был занят и я, держа в руке поводок с куце обломанным под самое цевье крючком двенадцатого советского номера. Сталь, хотя и отечественная, не удержала донского вольного казака.

И я был благодарен и рад этому. Как бы я повел себя, выдержи она? Что бы я делал с таким огромным сомом? Пусть гуляет и пасется в Тихом Батюшке-Доне, в славной реке былой казацкой вольницы трех народов. А я буду знать, что где-то еще есть сомы. Радоваться. Ведь благодаря одному из них и познал настоящее рыбацкое счастье, выпадающее на долю рыбака, может, только раз в жизни.

Я ни с кем не поделился, никому не заикнулся о встрече со своей детской мечтой в чужих донских водах. Все свое ношу в себе. Не годится оглашать и пускать по ветру утешительные и величественные мгновения того, что бесконечно дорого, мило и любо душе. В словах это теряется, тускнеет и блекнет, пропадает не только прошлое, но и будущее. К большому сожалению, именно со слова начинается сегодня беспамятство.

А следующей ночью мне еще даровано было изведать нрав и силу Тихого Дона, потому что была она как раз Воробьиной. В сумерках уже я подплыл к причалу, где неделями загружали баржи донской пшеницей. Само собой, где пьют — там и льют. Зерно сыпалось в воду рекой. Прослышала об этом и рыба. Дядя Саша утверждал — язи, матерые, падкие на халяву. Подобно им, я тоже выправился на дармовую обжираловку. Если уж не вышло поймать печального монстра сома, то, может, повезет на матерого лодыря-язя.

Только пристал к каравайно-запашистому причалу. Сделал первый пробный заброс, как небо сошлось с землей. И было непонятно, откуда берется и грохочет гром, где прячутся блесковицы-молнии. Грозе, громам и молниям, казалось, нет и щели пролезть между водой и тучами. Только ветер пронзал земную, воздушную и водную скрепь. Такой ветрище, что донские волны перекатывались через причал, достигали флага наблюдательной погрузочной будки. Язям явно было не до халявной пшеницы, меня и моих удочек. Но я не горевал. После утреннего возбуждения такая ночь была мне только на руку. Это была моя ночь, моя погода, как, наверно, и сома. Сквозь вихри и смерчи он прощально приветствовал меня. Потому что утром я покидал его и Дон. Мы хорошо запомнили и всласть потешили друг друга. И сейчас он без натяжки может засвидетельствовать: где-то все же есть человек, а я — где-то есть сом. Мой сом.

## *Пролетарский карп на панстве*

Все знают, что карась любит, чтобы его жарили в сметане. Карпу же более по нраву быть фаршированным. Общеизвестно это еще со времен царя Гороха, когда тот, еще не фаршированный, живой карп, в магазине и на базаре стоил девяносто копеек килограмм. Но мелкий. А вот за рубль двадцать — большой. Можно сказать даже — крупный. Карась также, исходя из размеров, оптом и

в розницу — на круг шел по шестьдесят копеек и чуть больше. Жил же царь Горох. Да и люди вокруг него. Уважали природу и рыбу.

На большого карпа был и большой спрос. Особенно на золотистого. Не такой, конечно, как на туалетную бумагу, в те же гороховы времена, но все же. Карпов хватало всем. Давать его — тогда так уж было заведено, все только давали, а не продавали. Обычно по осени, когда он аккурат подходил, поспевал под фарширование. И каждая его чешуйка, кстати, также крупная — как золотая звезда на груди вождя и генерального секретаря компартии.

Карась же, хоть и более доступный по цене, такой популярностью и спросом не пользовался. Пустозельная рыба. Присосалась, растет подле карпов, как пырей в огороде. Ни досматривать, ни кормить ее не надо. Одно — время от времени пропалывать, чтобы не замусоривал культурное пространство. Ко всему прочему, карась этот с душком еще, тиной пахнет, даже на сковороде и в сметане. Рылся и плескался, как дома в коммунальной ванне, в каждом пруду и в каждой луже — воробью по колено — при каждой животноводческой ферме среди ее стоков, где и коровы брезговали воду пить. Даже в водоемах, прудах вблизи современных энергоносителей — бензозаправочных станций. Живет, пасется и плодится. Кто знает, может, это предшественник будущего человека и человечества.

Да, ранее, при мракобесии царя Гороха, были времена, сегодня же одни только моменты: пескарь плотвицу сгреб — платит алименты. Нет, не одни лишь цари, но изредка и вассалы, смерды допускались к халявному корыту. Потребляли, что Бог послал — дары земли, воды и леса. Правда, в виде объедков — костей с царского стола. Выпадали они и фаршированные, и в сметане. Кто насколько ухватист и кому уж что на роду написано. Но карп и карась всегда были и оставались самой что ни на есть челядно-пролетарской рыбой, народу и для народа, как опиум. Потому последние крепко и без принуждения усвоили: лучшая рыба — мясо, лучшее же их мясо — колбаса за два двадцать. Но с этим лучшим было туго. Может, как раз потому и люди, и рыба той поры полюбили четверг, объявили его едва ли не праздничным днем. Не обозначив, правда, чей все же и кому в тот день праздник, окрестив его просто рыбным днем по всей шестой части суши.

Ничего, конечно, плохого, где-то есть даже день сурка. А советских праздников — так все триста шестьдесят пять дней в году: празднуйте и не просыхайте. Хотя в данном случае праздник был не конкретизирован. На одной шестой части суши совместно праздновали караси в сметане, — а больше без, фаршированные карпы и люди — на сухую. Рот драло, глаза на вылупку, но ели. Не кошмар и не ужас, как сегодня, когда только от одного взгляда на ценники карпа с карасем может случиться медвежья болезнь: тоньше соломинки, выше хороминки. Карп фаршированный в наших кулинариях и кафе взлетел в цене до космических высот — в сто, сто пятьдесят раз. Как-то даже неприлично озвучивать цифру — промолчу. Восток, конечно, дело тонкое. Но мы, похоже, все уже узбеки. Подобно Ходже Насреддину, наслаждаемся запахом еды, оплачивая ее даже не звоном монет — ужасом восстающих волос и пугачевским бунтом желудка.

Но достойно ли ублажать себя и свое чрево не совсем еще умершей памятью времен, когда про карпа в словарях и энциклопедиях не без брезгливости писали: пресноводная, костлявая рыба семейства лещей и сазанов. Неприхотливая. Водится во всех прогреваемых водоемах. В диком состоянии называется — сазан. На Украине — короб и короп. А у нас, не мудрствуя лукаво, — карп. Потому что ленивый и заторможенный. Копается и роется в придонном иле и тине, стирая нос. А потому корпатый или кирпатый — кур-

носый. Что-то вроде водного поросенка. Возможно, именно последнее пришлось по вкусу, легло на душу нашим пращурам.

В наших же местах, на babrипятском Полесье, несмотря на обилие издревле разнообразной рыбы, а когда-то осетра и белуги, карпа уважали. Не леща, не сазана, а именно карпа. Более полувека тому леща и за пристойную рыбу не считали. В Случи, когда он шел на нерест, можно было торчмя ставить в воду весло, и оно не падало. Брали его, леща, мешками. Везли возами. Запеченный и высушенный на соломе в печи, он был почти лакомством и очень годился весной и летом в борщи, кулеши, затирки, особенно в дни церковного поста.

Сазан же на гомельском Полесье прокидывался лишь изредка, местные рыбаки его почти не знали. На Житковщине, около Случи, водился преимущественно в Княжьей старице меж деревнями Вильча и Княжбор, в русле, видимо, когда-то большой реки, чуть ли не с первобытно-пещерных времен, уныло и хмуро занавешенном и задымленном то ли стариной, то ли печалью уже новых времен. Заколоженное и бездонно трясинное, зачарованное, словно в нем и сегодня скрытно проживал пещерно первобытный человек и никого не подпускал, оно порой почти полностью исчезало, подземельно поглощаясь, оставляя лишь знак о себе, заплатку, будто глаз с того света или утопленная здесь звезда. Неизвестно, откуда и из каких столетий зря на сегодняшний белый свет, некого охраняя и сторожа. Во влаге преисподних нор елозили большие и безобразные жуки-падальщики, черноспинные, с коричневым подбрюшьем.

Это обычно случалось посредине очень жаркого и суховейного лета, в спад, межень воды в водоемах. Но лето кончалось, приходили и проходили осень и зима. Брала свое у снегов весна. И старица, неохватная глазом, разливно и широко возрождалась вновь, и что удивительно — с рыбой, по-взрослому бесстыже оказывающей себя. Таким образом, сазан был жителем двух миров, того и этого. Его явно побаивались. Хотя старожилы и клялись, что ничего вкусней глаза сазана в жизни не пробовали. Ведро корчевки, полесского самогона, под него как нечего делать можно уговорить. И ни в одном глазу. А каким был тот сазан и его глаз и сколько под него можно выпить, пьющие могут представить себе сами.

В немалой степени карп стал знаменит еще и потому, что был дармовым, халявным. А на халяву, как говорится, и уксус сладкий. Сам по себе в диком состоянии он почти не встречался. Слыл дармоедом и неженкой белопольских панских прудов, а позднее — советских рыбхозов. Его искусственно разводили в специальных питомниках, химически обработанных от рыбьих хворей и микробов. Пересаживали в пруды, где они выгульно набирали вес, кормили их зерном и специально разработанным комбикормом. По осени из нагульных прудов спускали воду и отлавливали уже так называемого товарного карпа. И быстро, быстро, пока он не зашелся, не отбросил коньки, не сложил ласты и дал дуба, асфальтом и бетоном, минуя деревенские селения, хаты, дворы и подворья, их печи и столы, живого, соленого, копченого везли в услаждение больших городов, областных и столичных. Ведь в одной только Беларуси, как известно, три столицы: Минск, Бобруйск и Плещеницы. А еще же есть и Москва. Везли без остановок и пересадок, прямо на столы со скатертями-самобранками нужным и очень нужным рыбхозу, стране да и всему человечеству людям. Что влияло, не могло не влиять на пробуждение у имеющих глаза, но не имеющих рыбы местных жителей пролетарского сознания, вкупе с возмущением и гневом.

Это начало сказываться и на карпе. Он в половозрелом возрасте стал проявлять характер, уходил в беженство, эмигрировал к своим не изнеженным и не прирученным собратьям — диким лещам и сазанам. Похоже, сам взламывал свои камеры, запорные решетки шлюзов, курносо поднимал и сбрасывал завалы, задвижки запоров — в знак революционной солидарности и сострадания к своим свободным, но голодным родичам-тубыльцам. А уже собратья этих тубыльцев, сами тубыльцы — печати негде ставить — хорошо знали урочный час бешенства с жиру одержавленного карпа, его исхода из коммунистическо-распределительной Мекки. И не только знали, но способствовали его святым освободительным устремлениям. Потому что это было лучшее из свидетельств прихода в их дома сытной и наваристой осени, страдной поры на полях и второго укоса трав, припадающий как раз на короткий промежуток между яблочным и медовым Спасом, а также на первый отлов рыбы в рыбхозах. Время, когда крестьянин мог побаловать себя вареным и жареным карпом и ушицей. Когда над первыми отавами, надречными осоками и озерными смуглоголовыми камышами и рогозами, удовлетворенные летом, брюхато и лениво подрагивали коричневыми кольчатыми хвостиками осоловевшие от солнечной неги стрекозы и кузнечики. Они кучно вздымались из-под ног человека и сразу же возвращались в его след на скошенной траве.

Именно в такую благодатную пору, во время первого отлова в рыбных хозяйствах, карп и добывал себе волю и свободу. Неожиданно в охраняемых прудах появлялись прорехи, дыры в тюремных решетках, разрывы и проломы в запрудах. Карп беспрепятственно, застоялой сточной водой, уходил в настоящую жизнь по каналам, соединяющим их камеры с рекой. А люди уже предвидели его появление.

Вода в реке, в которую их в ту, уже перестроечную пору, еще допускали, из-за прудовых сливов прибывала, тускло и густо темнела от поднятого со дна ила и остатков корма барских пастбищ. В ней теперь правили бал, жирели местные, тутошние безродные пескари и пронырливая плотва, этого года маломерная мелюзга, которую в свою очередь употребляли прожорливые и всеядные щуки и окуни. От этого пиршества, кажется, дымчато, августовски густел и сам воздух над водой, уплотненный нашествием также склонных к халяве птиц и гнуса.

Деревенские удильщики такой порой предпочитали ловлю рыбы в приречных озерцах, стариках и старицах. Ловили вольных уже, былых государственных, рыбхозных карпов, больших, неповоротливых, жирных. Много и в самых непредсказуемых местах. Пришлый карп казался им слаще, намного вкуснее тутошнего, беспородного, не отдавал болотом. Ко всему, чаще золотистый или серебряный, почти бесчешуйный. Потому и охотились за ним. И я тоже. Хотя вываживать его особого удовольствия не было. Был он слабее дикой местной босоты. По первости делал, как водится, мощный рывок, описывал полукружие в воде, стремясь положить леску на спинной плавник, где имел довольно острую пилку. Пробовал перепилить капроновую жилку. Но быстро выдыхался, ложился плашмя и, уже хватив воздуха, слепо и покорно следовал на поводу рыбацкой лески. Я не уставал изучать его. Грезилось, что в его крупной, назубленной чешуе таится писаное золотом и серебром послание. Я разгадывал его в курносой ущербности рыбы, теряющей в тоске и недоумении при свете солнца краски. Безрезультатно, конечно, обращаться нам даже к рыбьему небытию, как, впрочем, и бытию. Чего нам не дано, того уже не дано.

Но кто знает, может, именно это подвигло меня, когда в жизни выпала большая радость — я получил квартиру в Минске, — отметить новоселье фаршированным золотистым карпом. Отправился за ним за тридевять земель в родное мне Полесье — коли есть, так своих. В рыбхоз, на берега, хорошо изученные мной, исхоженные рыбалками без воровства и браконьерства, тихой грибной охотой. Потому что лучших, более спелых и могучих боров с соснами, к которым с царских, белопольских и советских времен не прикасались ни топор, ни пила, я нигде, ни в Беларуси, ни в Сибири, не встречал. На диво щедры были они боровиками. Сам рыбхоз, созданный еще за польским часом, был едва ли не лучшим, самым зажиточным на Гомельщине. Это из него карп каждое лето убегал на волю. Директором рыбхоза был человек со знаковой фамилией Рыбалко.

На Полесье о нем слагали легенды. Во-первых, он был, кажется, неподвластен годам — этакий полесский Мафусаил в директорском кресле. Во-вторых, считался непотопляемым. И, похоже, никогда не спал и не дремал. Днем и ночью, сам за рулем, колесил на его же возраста газике по прудовым дамбам. Днем и ночью над тихими водами, обрамленными красной малиной, густо заселенными дикими, словно бойлерными утками, разносился его могучий фанатичный рык:

— Прекратите ловить рыбу! Прекратите ловить рыбу!

И неважно было, имелись ли тут ловцы-браконьеры — железная советская вера и убежденность знающего жизнь человека тех, да и преемственно сегодняшних дней: если есть что красть, то поблизости обязательно должен быть и вор. Истина социалистического строя жизни и неоспоримость местечковой власти. Типовой портрет номенклатурщика средней руки. Не в этом ли и объяснение успешности и зажиточности его хозяйства. А еще, как мне сегодня кажется: не здесь ли истоки будущей махровой коррупции и взяточничества, с предпосылками, как это явление обратить на пользу власти: есть преступление или нет, но на всякий случай на каждого надо иметь досье, чтоб не рыпался в обозримом будущем. И речь не только о человеке, но и о рыбе, о том бродяжном, вольнолюбивом карпе — обоюдная зеркальность нашего сосуществования. На одном крючке:

— Прекратите выеживаться и слишком много понимать о себе…

Рыбалко содержал и кормил не только карпа и прочих отечественных, украшающих столы рыб, но занимался и разведением бестера — скрещиванием белуги и стерляди, выращивал диковинную для Беларуси американскую рыбу буффало. Я как-то сам сподобился поймать ее. Нечто серебристое и прогонистое на полкилограмма весом. Не успел толком рассмотреть это заморское буффало, поместил в деревянное отечественное корыто, что валялось на берегу. Отсадил от нашей беспородной рыбы в моем пролетарском латаном садке. Хотел угодить, как это заведено у нас в обращении с иностранцами. Но, похоже, корытным содержанием только оскорбил знатного гостя.

Мое буффало незамедлительно возмутилось, струнно напряглось и стремительно выскочило из крестьянского корыта в обводной канал, где обитало до этого, ублажаемое Рыбалкой.

Такой был Рыбалко, тубыльски предприимчивый, американисто-действенный, свойского розлива полешук. На исходе своего хозяйствования, по словам местных жителей, решил он построить в полесской, слабо проезжей глубинке аэродром, чтобы быстрокрылые лайнеры с живым, соленым и копченым карпом напрямую устремлялись по маршруту Рыбхоз — Минск, Рыбхоз — Москва, и кто знает, Рыбхоз — Нью-Йорк.

Но это к слову. К тому, до чего именит и знаменит наш отечественный, непритязательный на вид — курносый, костистый и презренный, в самом деле пролетарский карп. Как многогранна и поучительна история и биография его, казалось бы, скромной и застойной жизни.

Рыбалко ввиду моего новоселья полной мерой обеспечил меня достойным и полновесным — каждый под три кило — карпом золотистым. Но почти сразу же возник и новый вопрос — готовка рыбы. Я уже говорил про любовь карпа к фаршированию. Но, как известно, лучше всего с этим справляются евреи. Трудность была в том, чтобы найти в то время у нас еврея. Они почти поголовно в те годы съехали на свою историческую родину. И все же, как выяснилось, один остался. И именно необходимый, клятвенно выдававший себя за великого кулинара, и именно по рыбе. Явление очень частое среди евреев: настоящие спецы и доки, мастера-профессионалы не рисковали уезжать от своей трудовой и общепризнанной славы и профессии.

Мой реликтовый мастер, ради неукоснительного следования рецептуре фаршировки карпа, потребовал для начала литр водки. На осторожный вопрос: не много ли карпу, отрезал: «Ну, тогда полтора литра». Сошлись на литре с четвертью. Четверть сразу же употребили — за начало и удачу. Кулинар вытурил нас с женой из кухни и волховал в одиночестве не менее полноценной трудовой смены, до прихода гостей. Жена сказала: не иначе, коня фарширует.

Ошиблась. Он оказался специалистом не только по фаршированию наших золотистых, зеркальных и почти бесчешуйных карпов, но и очень способным на все другое, касающееся состояния кухни. Талантливый человек — талантлив во всем. После произведенного нашим кулинаром процесса фарширования мы не менее месяца скребли, чистили и мыли кухню. А еще около полугода удивлялись, до чего же золотист бесчешуйный зеркальный карп, убирая его золотинки даже с потолка.

Но надо отдать должное, продукт у нашего кулинара вышел на все сто с хвостиком. Это отметили и редакция газеты «Советская Белоруссия», и редакция журнала «Неман», прибывшие на новоселье полным составом. Вдохновленные, наверно, тем блюдом, девчата из «Советской Белоруссии» бросились качать главного редактора «Немана» Андрея Егоровича Макаенка. Да так, что невзначай забросили его на шкаф, где сиделось ему из-за низкого потолка панельной квартиры, прямо скажем, не очень уютно. Хотя он и смеялся.

Факт этот сразу был зафиксирован для истории фотокором «Немана» Анатолием Колядой. Но снимок вместе с негативом подвергся жестокой цензуре заместителя Макаенка по журналу Георгия Попова и был конфискован, чтобы в будущем перед историей и потомками не дискредитировать Народного писателя Беларуси.

Шло время. В прошлом остались многие названные тут дорогие мне люди. Многие безвозвратно ушли навсегда. А ниточка, связавшая меня с моим зеркальным карпом-пролетарием, не только не оборвалась, но и упрочилась. Словно на самом деле на его чешуе написано послание мне или моему сыну. Тому, кто все же когда-то разберет и прочитает его. Придет к прочтению и пониманию всех живых языков на планете. Должен прийти. Потому что без этого нет продолжения никого из нас. Так едино и сплоченно, сами не осознавая этого, плечо в плечо, живут все поколения пролетариев. Так ежечасно и ежеминутно сходятся все наши стежки. В нашей жизни ведь без дай-причины даже комар не чихнет. Случайности в нашей жизни нет — только неосведомленность, расслабленность и лень.

Но и моя память о золотистом карпе постепенно стиралась, глохла в череде и безладье дней. Казалось, возврата к нему уже не будет. Я черствел душой и телом, подобно черепахе, не полностью ли уже вбирался в созданный мною же костяной панцирь. Одна только морда немного наружу, да нечто вроде слоновьих ног, черепашье укороченных, совсем не для бега — средство ползучего передвижения преимущественно по асфальтированным твердым дорогам.

Но неожиданно я заимел дачу. Потомственный сельский житель, от рождения слитый с идиотизмом, как зло сказал Горький, деревенской жизни, я постепенно начал возвращаться к завещанному идиотизму — к самому себе. Приобрел участок земли, построил дом в деревне.

В соседях у меня, или я у него, оказался генеральный директор строительной фирмы. Такое соседство невольно понуждало к соответствию. По-белорусски говоря, не хочаш, але мусіш. Невольно должен напрягаться и надуваться, подобно жабе. Этим и объясняется мое согласие с генеральным директором довести наше добрососедство до совершенства или до полного абсурда. Выкопать между нашими разновеликими домами пруд. Запустить в него рыбу — зеркального золотистого карпа и… Думаю, лишних слов здесь не надо.

Местоположение, равно как и флора с фауной, благоприятствовали нам, создав между нашими участками небольшое болотце с неброской и стыдливой на его краю среди лозы и черемухи воркующей криничкой. Потому не было и нужды жилиться и выбиваться из сил с корчевкой дна будущего водоема. Только уберечь, сохранить криничку, вырубить с большего лозу и прочистить, углубить до белого песка болотце.

Исходя из своих возможностей и сил, я судил: пять-десять лопат, столько же дураков с топорами. И субботник, ленинский, который уже длится в нашей стране не четверть ли века, — однодневный, в одну субботу. Размах же и планы генерального директора были полностью противоположными: действительно громадье и необъятность партийная, глобальная. Недаром через некоторое время ему довелось брать ноги в руки и бегом из Беларуси. Без оглядки до самой Белокаменной. Пуганули на самом верху, выше уже некуда. В ответ на его величественные планы строительства в Минске спросили: а кто сидеть будет? Генеральные директора сидеть не предполагают и не любят.

А в конкретном же случае с нашим болотцем все свелось к тому, что сосед доставил фирменный многотонный и многосильный экскаватор. Мое участие в прудовом проекте состояло только в том, чтобы обеспечить той махине зеленую улицу по проселку, ведущему к нам.

Казалось бы, чего проще. Но только я глянул на экскаватор, только он дохнул на меня своей железной утробой и мощью, как я едва устоял на нашей пыльной полевой дороге. Паровоз на гусеницах, мастодонт доисторического или марсианского происхождения. Пятьдесят, а может, и больше тонн живого веса без потрохов, топлива и грязи на МАЗовской платформе. Со стрелой, вскинутой до верхушек мачт линии высоковольтных передач, будто назло разлаписто и густо расставленных на подступах к нашему селищу, с низко обвисшими, как у беременной сучки брюхо, проводами. Как все уцелело, осталось не повалено и не порвано после прохода этого инопланетного чудища — вопрос не на трезвую голову.

Мы — это я с женой и жена генерального директора — эскортировали его и вели с такой же жесткой решительностью и смертным упрямством, как Иван Сусанин в свое время ляхов. Забегая немного вперед, скажу: судьба его

постигла такая же, как тех же ляхов около полутысячи лет назад. Все повторяется. Только мы были удачливее.

Сохранили мы того болвана. Обеспечили проход. Он, не мешкая, сразу же впрягся в работу. И сразу же, намного опережая былых поляков в лесных недрах, начал пропадать, исчезать на глазах, такой большой и могучий. Стал погружаться и тонуть в неокрепшей еще весенне-рыхлой почве. Зрелище было вполне мистическое, ошеломляющее. Земля хищно жаждала поглотить, утянуть на тот свет пятидесятитонного, воссевшего на ее груди идиота, наказать за бесстыдство и насилие, брезгливо пузырилась и плевалась грязевыми брызгами. Он же лихорадочно и торопливо налегал на нее, припадал к ее плоти трехзубым, сверкающим сталью щербатым ртом ковша. Распиная, скрежетал, калеча, скреб и драл. И пятился, пятился, отступая, как молящийся верующий, а скорее безбожник, антихрист, убегающий из церкви.

Выдирал с корнями по живому лозы, ломал, будто спички, трех-пятилетние осины и рябинник, крушил до костяной бели пего-рябые стволы многолетних черемух, которые генеральный директор особо наказывал нам беречь. Но попробуй убереги при неподдельном испуге самого экскаваторщика и его экскаватора. Они, подчиненные друг другу, нераздельному страху и ужасу беспощадно и бесповоротно, навсегда растоптали, задушили криничку, ее Богом вдохнутую душу. И сейчас душегуб-болван, судорожно всхлипывая ядовитыми дымами, дрожа мазутно-закопченным могучим задом, отступал и отступал, словно открещивался от им же сотворенного. Множил и творил новое паскудство.

Он нащупал и порвал довольно глубоко закопанные в земле кабели, обеспечивающие селище электричеством. Лишенная света, энергии, дача генерального директора мгновенно была отброшена в средневековье. Мастодонт изнасиловал, всласть поиздевался и над болотцем, всем, что велось и росло, жило в нем, после чего одышливо выбился из него, стал гусеницами на утрамбованную землю, дорожный грунт. Но и земная твердь прогнулась и неожиданно подломилась под ним. Экскаватор снова начал исчезать, опускаться уже неведомо куда. Пошел в преисподнюю, наскочил, видимо, на подземный плывун и остался в его шатких водно-песочных объятиях навсегда, выставив наружу лишь стеклянно тусклый глаз кабины. Памятник неизвестно кому и чему, коих в нашей отчизне неисчислимо.

Когда мы пришли в себя и поняли, что явление его нам в таком виде уже необратимо, а ров, сотворенный чудищем, стал набрякать влагой, заполняться водой, поняли: приспевает пора обзаводиться и рыбой. Конечно же, карпами. Пусть не зеркальными, но неотложно быстро, чтобы они в остаток лета набрали вес, были готовы, если уж не к фаршированию, то жарению в сметане, как карась. Поскольку мое участие в копке котлована было незначительным, я должен был компенсировать это зарыблением. За рыбой, мальками снова поехал на Полесье по знакомому уже адресу. Рыбалко давно уже был на пенсии. Но и новый директор рыбхоза проникся нашим желанием заполучить в личное пользование свой пруд — в каждом из нас всегда живет ребенок. И чем бы дитя ни забавлялось, только бы не плакало. И к дачам я вернулся с трехведерным бидоном мальков карпа, в большой части зеркального и очень подвижного.

Случилось это во второй половине хлопотной, но многообещающей весны. И я был рад не менее той бабы, купившей поросенка. Но про бабу с поросенком я вспомнил уже значительно позже, когда, как говорится, отошли цветочки и завязались ягодки. За пахотой и посевной приспело время иных

хлопот — прореживания, химической и ручной прополки, подкормки удобрениями и т. д. и т. п.: в крестьянской жизни стоит только начать, а заканчивается все в могиле.

Но с некоторых пор я стал примечать на поверхности пруда украшающую его многоцветную пленку, словно где-то поблизости обнаружилась нефть или сразу же пошел керосин и невидимыми подземными прожилками расцветил наш водоем. Я стал собирать эту пленку ежедневно, утром и вечером. Но на следующий день она появлялась вновь, и уже в увеличенном виде. Я, наверно, так бы и не прозрел до самой осени — времени созревания и отлова золотистого карпа, если бы однажды на рассвете не увидел из окна дома нашего коллективного пруда парад или выставку сельскохозяйственной механизированной техники, готовой к труду, как к бою.

Не менее десятка тракторов с различными прицепными причиндалами выстроились на краю картофельного поля наших с соседом участков. Некоторые из них вкрадчиво попыхивали синенькими струйками солярных дымков. Но у большинства двигатели были заглушены, а возле всех них — выморочно пусто. Словно это была некая инопланетная техника, управляемая без участия человека.

Но человеки были. И не зелененькие, как должно быть пришельцам, а белые. Грязно-белые, в солидоле, мазуте и солярке — местные механизаторы-трактористы. Медитировали, ловили кайф. И не только на берегу пруда. У каждого свой кустик лозы или черемухи. У каждого свой клочок земли. И ясное дело, у каждого по удочке — ладном дрыне с примотанной к его верхушкие леской. Трактористы были на отдыхе и рыбачили. Облавливали наш пруд. Ловили наших, моих зеркальных карпов. Бросали их в мазутные и покоробленные ведра, от которых расходилась по воде радужная фиолетовая пленка.

К осени наш водоем был пуст, как яловая корова. Без ограды он был вроде как общим, колхозным. Принадлежащим сразу всем и никому в частности. Соцсобственность — огромнейшее завоевание Октябрьской революции и эры развитого социализма, когда в силе — только по потребностям.

Тому, чтобы брать все, что плохо лежит, много предпосылок. Одна из них уже по недоумию проклятых капиталистов, наши демократы, которые у власти, никак не могут понять, почему им не все позволено, если власть в их руках, ссылки на закон, права человека до них не доходят. Как и само понятие демократия. Какая может быть демократия для председателя колхоза, если он самый главный в нем демократ, как державшие всех нас за своих крепостных чуть не целый век большевики. И сегодня держат их наследники, духовные ученики. Ни в одном из них еще не отпало рудиментарное большевистское представление права на владение нами. Что только разжигает их инстинкты, обиду сразу на вся и всех. Комплекс нищего духом, почти эротический. Такая уже целенаправленность священного пролетарского гнева, чувства справедливости и равенства, что еще раз доказано, бескровно, правда, в Беловежской пуще в Беларуси в 1991 году.

Во второй половине лета трактористов сменили деревенские мальчишки. Таким образом, к осени от наших зеркальных карпов остались рожки да ножки — ни хвостика, ни чешуйки. Но это обнаружилось только следующим летом. Пролетарские нищие — племя живучее, изобретательное и терпеливое. Зеркальный карп-пролетарий закален четырьмя судьбоносными революциями, выпавшими на его долю. Приспособился выживать и в немыслимых, несовместимых с жизнью условиях, чего не выдержали ни мамонты,

ни марсиане. Потому я не очень удивился следующей весной, когда растаял и сошел лед и по берегам пруда всплыло десятка полтора крупных, окончательно избавленных медального золота карпов. Им, мертвым, я был рад больше, чем живым. Обрадовался и обнадежился, что они еще не последние. Если они сумели уцелеть в пору такой жесткой местной прихватизации, то могли уберечься и от мягких зимних морозов демократии. На пороге обещанного глобального потепления.

И я каждое утро, как на работу, торопился на берег пруда. Может, где просверкнет, может, где взбурлит, вскинется — хвост или что другое покажет. Другие показывали, и довольно часто. То карасик, то птичка, стрекозы и козявки. Но я не терял надежды. Всматривался, ожидал. В точности, как в школьном сочинении: Татьяна любила природу и часто бегала на двор. Ничего, ничегусеньки.

Однажды, в преддверии уже осени, выдалось такое утро, когда я пришел к пруду, а его не оказалось. Вообще-то он был. Огромная копанка с грязным глеевым и безводным дном. И все. И больше ничего. Вместе с водой не под землю ли ушли и мои хилые карасики, и золотистые зеркальные карпы. Если они, конечно, были. Оставили меня в одиночестве с генеральным директором. Но я надеюсь. Надеюсь, жду и верю. Хожу и хожу на берег пруда, грустно заросший камышом и аиром. Аир, кажется мне, всплакивает втихомолку, выжимает не только по утренней росе, но и в полдень на сабельно остром кончике прозрачную слезу. И ни солнце, ни ветер не могут ее высушить и стряхнуть. А камыш, похоже, раздражен и злится. Качается, клонится во все стороны над растрескавшимся дном и неведомо с кем перешептывается.

Это напоминает мне сказку Пушкина о золотой рыбке, потрескавшееся осиновое корыто, у которого сидят старик со старухой. Я, уподобленный им, сижу, будто на пьедестале, на металлической кабине брошенного тут и, скорее всего, насквозь ржавого истукана-экскаватора, былого имущества рационального дома (зря волновались, что некому будет сидеть: у нас есть всегда кому сидеть), в обезвоженности печально шепотного камыша и дурнопьяного целебного духа аира. Смотрю во все глаза, стремясь увидеть свою золотую рыбку — зеркального медаленосного карпа-пролетария.

А вдруг да он где-то сохранился. Уцелел, выжил. А вдруг, а вдруг. Не такой уж он большой барин, сделает одолжение, вернется. Окажет себя. Он же, как птица феникс, вечный.

***Перевод с белорусского автора.***

***Окончание следует.***





Ирина ДОРОФЕЙЧУК

# *И сочувствие, и нежность…*

## Рогнеда

***Гісторыю спраў вялікіх твораць людзі…***
Л. ГЕНИЮШ

Вершат историю люди —
сплетают ее из поступков.
…Есть что-то более важное,
но я не могу вспомнить, —
глаза полочанки юной,
гордой и неприступной,
судьбу которой Владимир
держал на своей ладони.

Я вспомню лишь то, что небо
от множества звезд искрилось,
что звезд холодные гроздья
в пыль растоптали кони,
что пыль, копытами взбитая,
туманом горьким стелилась,
что горечь глаза слепила,
что не было вслед погони…

Что, не было вслед погони?
Совсем никакой погони?
И мальчик с глазами зверя
не проклял богов отчаянно?
Да только…
Никто не откликнулся.
На улочках узких и сонных
все было безжизненно-тихо
и даже боги молчали.

Плыла тишина уныло
над Ладой, Даждьбогом, Родом,
слепящей молнии жало
Перун не вздымал могуче…
Наверное, чуяли боги,

что этот — с ладонью твердой —
в Днепра дрожащие воды
их сбросит с высокой кручи…

* * *

Березка березке махнула рукой:
«Сестрица, взгляни!
Подивись хоть немножко:
Там месяц на крыше, такой молодой,
Сидит, золотистые выставив рожки!»
Березка березке в ответ говорит:
«Ну что ты, сестрица, —
и горько вздыхает, —
Вон юная звездочка в небе горит
И месяцу сверху призывно мигает…»

* * *

Под солнцем июльским я облачко взглядом ловила,
Как вдруг опустился на дужку очков мотылек.
Для маленьких крыльев был путь бесконечно далек,
Устали они…
Беззащитный, доверчивый, милый…
Я не шелохнусь, ну а ты посиди так пока…
Но вздрогнули веки — красивая сказка исчезла...
А что, если б я не вот так —
Не восторженно-нежно —
Что, если б взглянула я с ненавистью на мотылька?

* * *

Какое короткое лето,
Как счастье, что мимо прошло…
Осиновой звонкой монетой
За летнее платим тепло.

* * *

И сочувствие, и нежность,
И к успеху путь упрямый,
И ошибок неизбежность —
Начинаются от мамы.

Мы беда ее и радость,
И надежда, и тревога…
И печатью тени лягут
У знакомого порога.

Нам чужое солнце светит,
Небо разное над нами…
Но дороги — все на свете —
Нас ведут обратно, к маме.

## Сон

Это ночь попросит сад цвести
И тоску из кос вишневых выплести…
Здравствуй, милый!..
Можно мне зайти?..
За улыбкой я не прячу хитрости.

Ты не веришь в мудрость вещих снов?
Эта ночь… она совсем не скромница,
Ведь вино — и в Африке вино,
Как и я — везде — твоя любовница.

Прогони иль сам подайся прочь —
Мне не важно, что тебе привиделось.
Это ночь, мой милый, просто ночь,
Ей не нужно лгать, чтоб не обиделась.

Счастье мы поставили на кон —
Я и ночь, но лишь одно исполнится…
Это сон, мой милый, просто сон…
Это просто ночь обманом полнится…

## Рысь

Я не рысь, я худшее созданье —
Человек. Причем — не очень добрый,
С множеством различных недостатков:
Ложью, завистью и — иногда — изменой…
Я в своих обидах непонятных
Вся запуталась, как в паутине,
Все кому-то навредить пытаюсь
И себя пытаюсь победить…

Но в какой-то миг невероятный
Я — почти реально! — ощущаю,
Как на коже проступают пятна,
Как мой шаг становится неслышным,
Как упруги мягких лап движенья…
Голоса моих лесных угодий
Слышатся знакомо-приглушенно.
И, почуяв жертвы приближенье,
Вздрагивают кисточки ушей…

***Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.***





Юлиана ПЕТРЕНКО

# *Наследница*

*Рассказ*

Наконец-то у Юли оказалась вожделенная коралловая помада в серебристом флакончике, аккуратно позаимствованная из маминой сумки. Подумаешь, у мамы их вон сколько — в самом верхнем ящике стенки, среди тюбиков с кремами, ленинградской туши, в которую почему-то всегда полагается плевать, растрескавшихся теней и румян, накладных ресниц и огрызков разноцветных косметических карандашей. Жалко ей, что ли? Для единственной любимой дочери?

— Я в двенадцать лет и знать не знала про всякие там помады! — кричит раздраженная мать, многообещающе уткнув в бока тонкие ухоженные руки. — И думать забудь! — И на темной голове забавно подрагивают алюминиевые бигуди на резиночках.

Юля опускает глаза и молчит. Ждет, когда же матери надоест браниться. Покричит, накрасится, сбросит длинный шелковый халат, натянет белый с рюшами сарафан, сбрызнет лаком тугие блестящие локоны и уйдет на свою работу, в поликлинику, прием вести. А то ведь без блестящих локонов в лор-кабинете работа совсем остановится.

Устав от нравоучений, Юля закатывает рукава пижамы и направляется в кухню, мыть чашки. Сгружает все хрупкое имущество в умывальник, включает воду и подставляет под щекотную струю воды узкие ладошки. Юля в кухне, а голова в прихожей. Ждет, пока строгая мать закончит вертеться перед зеркалом, запрыгнет в босоножки на высокой платформе, прихватит канареечного цвета плащик и хлопнет дверью. Но перед этим не забудет дать указания, что на завтрак, что на обед, о необходимости начистить к ужину большую кастрюлю картошки, навести порядок в письменном столе и подмести коридор.

А пока Юля согласно кивает головой, пропуская слова матери мимо ушей, не убирая рук от теплой струи воды (чашки моются сами собой), и с завистью рассматривает мамину плетеную сумку, в недрах которой лежит самая прекрасная коралловая помада. Папа недавно привез ее из командировки, вместе со стеклянным флаконом, надпись на котором гласила «Dior». И где же, позвольте узнать, мама прячет эту прелесть? Точно уж не в верхнем ящике серванта с огрызками косметических карандашей — там скрывался когда-то «Ландыш серебристый», который Юля уже давным-давно вылила на себя.

Мать ушла. Чашки вымылись сами. Завтрак остался нетронутым. Картошка тоже подождет: до вечера время есть.

Верхний ящик так и тянет к себе, словно магнит. Бросив никак не желающие прилаживаться длинные ресницы, Юля берется за макияж — именно так, как делает это мама, строго соблюдая последовательность. Сначала наносится крем «Огуречный», обещающий сделать кожу мягкой и бархатистой, затем в

ход идет тональный «Балет», от которого лицо становится восково-желтым, как у Владимира Ильича в мавзолее (а больше в Москве ничего не запомнилось, ну разве только кафе «Лакомка»). За «Балетом» наступает очередь румян. Особенно изысканно это кистью получается. Брови можно рисовать под настроение — серые или коричневые. Но сегодня Юля будет красавицей Анжеликой — маркизой ангелов, и потому в ход идет насыщенный черный. Затем стрелки. Пусть и неровные, зато длинные — отчего глаза становятся невероятно «анжеликовскими», кошачьими даже. И мушка на щечку просится. Раскрыв тушь и хорошенько поплевав в нее, Юля старательно расчесывает пластиковой щеточкой ресницы, которые вдруг становятся слипшимися, как лапки паука. А с помадой беда. Единственная коралловая, в дорогом серебристом флакончике и по-настоящему французская, всегда лежит в маминой сумке, в маленьком кармашке вместе с круглым зеркальцем. А все остальные, имеющиеся в ящике, где-то на дне светятся, приходится потрудиться, чтобы извлечь краску спичкой и нанести на губы.

«Анжелика!» — любуется Юля собой в мутноватое, залепленное переводными картинками зеркало. Но чего-то явно недостает… Босоножки ушли вместе с мамой. Но наряды-то остались! А если стянуть с дивана покрывало и повязать на талию маминым поясом или папиным галстуком — то выходит настоящее бальное платье, ниспадающее мягкими складками до самого пола. Веер делается быстро — привычным движением складывается гармошкой лист бумаги.

Вот теперь можно и по квартире неспешно прогуляться — из комнаты в прихожую, а оттуда в кухню. Главное, не забывать кокетливо обмахиваться веером, стрелять криво размалеванными глазками и приговаривать: «Ах, что вы, сударь!» или «Жоффрей, любовь моя! Не покидай меня!»

А там очередь дойдет и до картошки, и до веника, и до письменного стола. Только сначала предстоит снять «бальное платье» и умыться — распрощаться с версальской красавицей, потому как негоже лилиям прясть.

А коралловая помада долго ждала свою счастливую обладательницу, и такой случай наконец представился.

Ехали всей семьей в деревню — родственников проведать и заодно Юлю на лето в заботливые бабушкины руки сдать — нечего девчонке летом в городе без присмотра болтаться.

Машина новая, «мерседес» называется. В салоне приятно пахнет кожей и мятным ароматизатором. Лежа на заднем сиденье и закинув босые ноги на окно, Юля рассматривает мелькающее в кучерявых березовых макушках летнее солнце и зевает. Все эти разговоры о продаже «Жигулей», одалживании денег и дальней поездке за машиной она слышала уже не единожды. Главное, что папа и про дочурку не забыл — привез клетчатую сумку конфет, жвачек, шоколадных батончиков и прекрасную Барби, которая за долгую дорогу успела загореть и даже почернеть под палящими лучами. «Загорела», — утверждал папа и обещал привезти ей в мужья такого же чернокожего Кена.

— Юль, ириски в сумке. Растают, — бросает мама на заднее сиденье плетеную сумку и снова оборачивается к папе, улыбаясь и поглаживая длинными ухоженными пальцами его темный кучерявый затылок.

Вместе с ирисками на кожаное сиденье падает и серебристый флакончик помады. Отправив уже мягкие конфеты в рот, а помаду в кармашек коротких шортиков, Юля кладет под голову мамину сумку и продолжает считать встреченные на пути березы, жмурясь от яркого солнца.

В деревне уже отбывает срок двоюродная сестра Наташа, почти ровесница. После обычных приветствий и объятий (все разговоры и секретики можно отложить на завтра) Юля выуживает из кармана флакончик помады и, небрежным жестом сбросив колпачок, обводит ею сухие губы.

— Ух ты! — завороженно наблюдает за процессом сестра. — Коралловая! — затем проделывает те же манипуляции. — Клубникой пахнет! Так что, в клуб на танцы?

Но поход в далекий и загадочный клуб как всегда срывается. Дед стращает беспросветной теменью, хулиганами, собаками, водяным, крапивой и даже ремнем. У бабушки разговор короткий: «Не пушчу!» — и все. А отчего, почему — неизвестно, сами думайте.

Можно и без клуба обойтись — мальчишки деревенские уже полдня рядом с двором ошиваются, на великах гоняют и головы сворачивают — подойти-то боязно. Девчонки городские вредные: вмиг засмеют и засмущают. А вот приезжие ребята, те, что постарше, камешки в окно бросать не стесняются. За смелость можно и наградить — выйти вечерком на лавочку, не забыв подкраситься и распустить волосы — Анжелики все-таки. Светским дамам так положено — кокетничать и пленять.

— Ах, ну что вы! — вздыхает Юля, забрасывая за ухо длинную прядь волос. — Эти вольво — такая ерунда!

— И правда, как чемоданы, — поддерживает светскую беседу и Наташа, покачивая туфелькой на загорелой ножке.

Парни молчат. Где-то далеко хрипло лает собака, рядом стрекочут сверчки. Медленно опускаются вечерние сумерки. Но эту гармонию вдруг нарушает доносящийся со двора недовольный голос бабушки:

— Дзеўкі! Дзе вас носіць?! Ідзіце манку есці!

Это провал. Стыд, позор и катастрофа. Но ребята все понимают. Леша и Даник тактично прощаются и расходятся по домам, где их тоже ждет остывшая манная каша. Может, даже с вареньем — с вареньем вкуснее.

Хуже всего, что потом придется греть воду, чтобы перемыть гору посуды, да еще под командованием строгой бабушки Оли, которая упорно и безрезультатно старается привить непутевым внучкам любовь к чистоте и порядку да научить готовить хоть что-нибудь самостоятельно (попытки обучить вышиванию крестиком она забросила давным-давно — внучки смогли убедить, что собирать приданое уже не в моде).

А завтра, в промежутках между прополкой картошки, сбором малины и мытьем полов (ведь трудотерапию никто не отменял) обязательно найдется время для велосипедных прогулок, купания в большом, поросшем камышом озере, сооружения настоящих индейских вигвамов и принятия солнечных ванн на плоской крыше старого сарая.

Дедушка никогда не разрешал забираться туда, беспокоясь о слабом шифере и тонких шеях. Но в его отсутствие к сараю сразу же прислонялась старая скрипучая лестница, и через пару секунд девчонки уже расстилали на горячей крыше яркие покрывала, подставляя летнему солнцу белые спины и успевшие обгореть носы. Туда же брались раскраски и альбомы, карандаши и высохшие фломастеры, кипа журналов «Здоровье» и «Техника — молодежи» (дед все еще причислял себя к молодым техникам), а также леденцы и разведенный в бутылке из-под «Буратино» ядовито-цветастый «Юппи».

В такие солнечные дни у соседского Виталика собиралась толпа местных мальчишек. Взобравшись на хлипкий балкончик второго этажа и вооружившись биноклями, они начинали переговоры. Иногда девчонки пребывали в

хорошем настроении — тогда легко соглашались отправиться на речку, на поиски клада в Марусином заброшенном доме или лошадиную ферму (местный племзавод славился далеко за пределами района). Но чаще всего они отмалчивались, игнорируя любые предложения. А если ребята были слишком настырными, то могли и зеленым яблоком в лоб получить или попасть под артобстрел каштанами — в зависимости от сезона.

Дождливыми серыми днями девчонки пропадали в своем «вигваме», а точнее — в скрытом от посторонних глаз в зарослях бузины шалаше. В нем имелись даже страшные шаманские маски, утыканные гусиными перьями и наводящие ужас на местных коз. Едва выглянувшее солнце успевало просушить траву, как начинались карты, шашки, домино и самая лучшая игра всех времен и народов — «Космос-2000». Все это богатство падало на расстеленное в тени старых верб покрывало, куда стекался весь местный бомонд. Эдакий «светский салон» на берегу старого озера.

Самые приближенные из мальчишек допускались «ко двору» — в дом, иными словами. При этом сестры всегда назначали время, когда «пажам» и «вассалам» следовало явиться. К этому часу девчонки готовились тщательно: диван украшался плюшем и кружевными занавесками, мягкими игрушками, живыми цветами и котятами, в руки брались запылившиеся книги Стендаля и Драйзера, в ход шли привезенные из города наряды и коралловая помада. И самое главное — это поза томно возлегающей на пьедестале греческой богини или прекрасной натурщицы Микеланджело, ну, или хотя бы увлеченной чтением тургеневской барышни.

В «чаепитие» мальчишки играли неохотно, а девчонки не очень-то жаловали шахматы и «кораблекрушение». Любимой игрой всегда оставалось «Казино». Это когда ребята небрежно швыряют на стол фишки (шашки и пуговицы) и играют в карты (непременно с наполненными водой или холодным чаем стаканами). А девочки изображают официанток, крупье, случайных ротозеев, певичек и танцовщиц канкана одновременно (зря бабушка переживала, что множество ее длинных юбок без дела пылятся в шкафу). Запыхавшись, Юля объявляет в микрофон-расческу, с какой песней сейчас выступит Незабываемая Натали, но ребята играют так увлеченно, что забывают обращать внимание на происходящее. Игра идет, страсти кипят… И тут, в самый напряженный и ответственный момент, когда на кону огромный куш, выясняется, что один из соперников мухлюет (на самом деле мухлюют все, но не у всех карты из рукава вываливаются). И тут начинается самое интересное — Вадик достает из-за пояса заштопанных спортивных штанов черный пистолет и направляет его в лоб противнику. Противник тоже не последний Джеймс Бонд на деревне, он переворачивает стол (при этом все имеющееся на нем добро разлетается в разные стороны) и невесть откуда извлекает автомат. Начинается перестрелка. Когда же запас «патронов» иссякает, то на смену приходит мордобой. Насквозь изрешеченные вражескими пулями, истекающие кровью противники катятся кубарем, переворачивая на своем пути стулья, кадки с цветами и швейную машинку. Девчонки тоже не забывают участвовать в общем веселье: пронзительно визжат, прячась в многочисленных пышных юбках, и зовут на помощь полицию. Случается, что никто из ребят не желает отвлекаться от драки и становиться полицейским, и тогда предчувствие серьезной уборки толкает девчонок на крайние меры. Зная, что раздача азартным разбойникам подзатыльников равносильна наказанию тигра тапочкой, Наташа хватается за графин с холодной водой, а Юля

ныряет в самую гущу событий, самозабвенно спасая бабушкину вазу, преподнесенную за ударный труд родным совхозом.

Хорошо, что бабушка в поле, а дед работает — развозит на послушной гнедой лошадке ярко-красные газовые баллоны. К их приходу пол уже блестит, стулья и столы на месте, цветы в кадках, и девчонки, позевывая и приглаживая растрепанные волосы, греют воду для стирки. Один раз, правда, «неистовые казиношники» едва не вынесли окно — трещина по всей поверхности пошла. Пришлось все свалить на пятилетнего Ильюшу, которого никогда в казино и не было — по возрасту не положено. Дед повздыхал, стекло заменил и малышей пускать в дом запретил.

С мальчишками же, которые не были вхожи в дом, и как следствие, в высшее общество, предусматривалась войнушка. Девочкам быстро надоедали роли сестер милосердия, и они хватались за оружие. А разве можно сидеть, как куропаткам, под деревом в ожидании раненых и убитых? Скучно. Скучно ползти, подминая под себя свежую траву и вымазывая платья, скучно перевязывать в стороне от всех событий лбы, руки и ноги и прикладывать к носам подорожники. Бегать с автоматами гораздо веселее. Но мальчишки противились такому повороту событий, потому что знали, что опять уступят женскому отряду. Уступят не потому, что в девочек стрелять нельзя, а потому, что отряд этот ни капли не доблестный и не геройский. Это невероятно лукавый и безжалостный женский батальон. Никогда не знаешь, чего ожидать: то ранеными прикинутся, а сами на месте расстреляют, то бегут под пулями с криками: «Мы в бронежилетах!», то в упор в них стреляешь, а они, видите ли, «в домике», то песком в глаза сыплют, то из засады на шею бросаются. Игра без правил. Нет, все-таки футбол и войнушка не для девчонок придуманы… Но это мнение мальчишек, которое никогда не берется в расчет. С криками: «Ура! В атаку!» вооруженные метлами сестры отчаянно несутся на врага (вот бы им столько храбрости при виде мыши или паука), не обращая ни малейшего внимания на перекрестный огонь, чем повергают многочисленный отряд противников в позорное бегство. Автоматы-то игрушечные, а метлы — настоящие.

В отместку ребята устраивали самые настоящие Комнаты страха, где в кромешной тьме шевелились укутанные в белую простыню мумии, и вождь краснокожих со снятым скальпом выныривал из-под дивана и хватал за ноги, предлагая собрать его мозги, которые представляли собой неумело сваренные макароны. В волосах путались летучие мыши, а в зеркалах отражалась трижды проклятая Пиковая Дама. Девчонки визжали самозабвенно.

С деревенскими мальчишками все просто: они и бойцы, они и космонавты, они и казаки, они и партизаны, и охотники на ведьм (правда, ведьмы никогда не оставляли охотникам шансов на победу), а если потребуется — то и пленники краснокожих — вассалы, одним словом. А вот с приезжими городскими ребятами все намного сложнее, они и сами те еще «маркизы ангелов»: боятся брюки о забор порвать, или рукава испачкать, или, не дай бог, коленки расшибить. Зевать от таких хочется.

— Юль, — Наташа босиком влетает в дом и плюхается на диван рядом с сестрой. — Там Рома тебя вызывает.

— Рома-хорома, — отвечает Юля бабушкиными словами и вздыхает. — Опять на велике катать? В прошлый раз стрямкал мое ожерелье рябиновое, пока педали крутил…

— Не-а, без велика, гулять зовет, — шелестит конфетными фантиками Наташа.

— Скажи… скажи, что я… ну не знаю… суп варю…

Наташа вылетает на улицу, но вскоре возвращается снова.

— Ждет… — сообщает она прискорбным голосом и снова тянется к вазочке с карамельками.

Затем Юля якобы моет посуду, будто бы занимается стиркой и мытьем полов или даже прополкой и поливом огорода. Настырный Рома ждет и диву дается такой бессовестной бабушке, безжалостно заваливающей внучек тяжелой работой. С наступлением вечера отговорки заканчиваются, и Юле приходится показаться на улице. Раньше с Ромкой было интересно и весело: порыбачить, подурачиться, покидаться каштанами, а этим летом он совсем невеселый: все за ручку норовит взять и вздыхает томно. В звездах зачем-то научился разбираться, в прическах и музыке. А после того, как на закате обнял ни с того ни с сего и губами прижался к щеке (успела увернуться, чтобы в губы не попал), — вообще с ним скучно стало. Друг потерян. Навсегда. И это не лечится. Была, конечно, надежда, что к следующему лету все пройдет, забудется и утихомирится, перестанет Ромка букеты с мороженым приносить. В Анжелику только играть интересно, а в жизни — ни капельки, и такой расклеившийся мсье надоедает за два с половиной дня — ровно столько длится влюбленность светской дамы.

Девчонкам всегда нравились старшие ребята. У них свой мир, свои тихие разговоры, свои велосипеды и мопеды. И им нет абсолютно никакого дела до малолетних девчонок, из-под коротких сарафанов которых выглядывают побитые коленки. Тут уж не помогут ни коралловая помада, ни вплетенная в волосы душистая роза.

— Надоели они все, скажи? — Наташа старательно выводит на альбомном листе сказочный, как из «Тысяча и одной ночи», дворец. На улице ливень, приходится сидеть на подоконнике в ожидании солнца. — И вообще, от этих мужчин одни проблемы — уверенно заявляет одиннадцатилетняя Наташа. Именно эта, брошенная Марией Лопес фраза запомнилась ей из сегодняшней серии «Просто Марии». — С возрастом становится все труднее довериться им. Все они одинаковые…

— Нет, все мужчины разные, каждый разочарует тебя как-то по-своему, — отвечает Юля словами очередной киноэкранной героини и отрывает из альбома лист для себя.

— А вот интересно, бывают такие, чтобы не надоедали и не разочаровывали? — покончив с дворцом, Наташа принимается за пальмы и верблюдов. — И чтобы добрый был, но сильный и смелый. И в себе уверенный, но не наглый, и не павлин самовлюбленный…

— Так ты вообще идеального захотела? — берет карандаш Юля. — Бывают, наверное, и такие… Только ждать долго придется, — и аккуратно выводит на альбомном листе: «Добрый, сильный, смелый, уверенный…»

— Ты что это делаешь? — Наташа придвигается совсем близко, склоняется над сестрой и дышит ей в щеку.

— А это признаки идеального мужчины. Вот когда таких найдем, тогда и замуж пойдем!

— Точно! — Наташа мечтательно прикрывает темные глаза и добавляет: — А еще, пиши, он должен быть умным и с хорошим чувством юмора!

— Правильно! И заботливым!

— И надежным!

— А еще всегда честным!

— И обязательно щедрым!

— Богатым, что ли?

— Не-а, щедрым. А вдруг богатый и жадный?

— Значит, «жадный» у нас в отрицательные признаки пойдет, — рядом рисуется колонка с огромным минусом, под которым следует длинный список абсолютно непозволительных мужчинам признаков, таких как: «хвастливый, хитрый, злой, мелочный, наглый и неряшливый, самовлюбленный, ветреный донжуан, зануда и эгоист, врун и выпивоха».

Дальше лист разрисовывается цветами и сердечками, и принимается вполне взрослое решение — если у кавалера находятся хотя бы три минуса из сего чудного списка, то в качестве будущего мужа он уже никак не рассматривается. Наташа бережно вкладывает в альбом рисунок сказочного дворца со множеством окошек и башенок и начинает перемывать косточки всем известным мальчишкам — местным и приезжим, и с удивлением обнаруживает, что на будущего мужа никто не тянет.

Юля тем временем рисует то, что ей удается лучше всего — море и одиноко сидящую на скале русалку. О камни разбиваются соленые волны, и ветер безжалостно треплет ее длинные спутанные волосы. Только на этот раз на горизонте виднеется потрепанный штормом корабль — паруса превратились в лохмотья, обреченно реют черные флаги… Русалка ждет… Совсем скоро корабль с полуживыми и измотанными бессонной ночью моряками налетит на острые подводные рифы, и тогда можно будет забрать себе идеального мужчину — бесстрашного и отважного капитана…

Затем рисунки и список заботливо складываются в картонную папку «Дело №», из которой предварительно выбрасываются дедушкины записи и квитанции, и все это богатство надежно прячется в старом серванте, под кипой пожелтевших газет и старых открыток.

* * *

— Мам! — кричит из комнаты моя двенадцатилетняя дочь. — Смотри, что я нашла!

Я игнорирую ее просьбу и продолжаю аккуратно нанизывать на металлические кольца выглаженные цветастые занавески. Бабушка Оля уже совсем плоха — не то что окна к Пасхе вымыть, а даже пол подмести не в силах. Сидит с чашечкой чаю на высокой кровати и продолжает руководить процессом, указывая, как лучше разместить на подоконнике герань. Я молча киваю головой, но, как и прежде, делаю все по-своему. В деревню и так редко наведываюсь, чтобы тратить время на бесполезные споры.

— Ма-а-ам! — не сдается Полина. Роется в старом серванте с кипой давнишних газет вместо того, чтобы помочь матери.

Я плотнее сдвигаю занавески, закрывая бьющее в глаза яркое солнце, и иду в зал, где на плетеном коврике разместилась дочка с бумагами и коробками в руках. Интересно ли ей будет рассматривать запечатленных на старинных выцветших фотокарточках родственников и слушать их истории?

Но коробка с фотографиями лежит в стороне, внимание дочери привлекло содержимое пожелтевшей от времени папки «Дело №», разукрашенной ромашками и сердечками.

— Мам, смотри, русалка! — зачарованно протягивает она измятый альбомный лист с изображением сидящей на скалах в ожидании своего капитана русалки.

Я с улыбкой сажусь рядом и принимаю из ее тонких рук хорошо знакомый рисунок.

— Это кто рисовал? — придвигается ближе Полина.

— Я.

— Ты?! Так красиво?! И корабль, смотри, какой… Пиратский? Нарисуешь мне?

Я молча высыпаю на пол все содержимое старой папки. Дочь тянется к рисунку со сказочным, украшенным башенками и колоннами, дворцом, а я подношу к глазам исписанный ровным почерком лист со списком всех необходимых настоящему принцу качеств. А ведь я давным-давно перестала искать в мужчинах минусы, иначе Полина так и не появилась бы... Ее отец больше смахивает на бедового капитана, которого удалось заполучить коварной русалке. Как хорошо, что этого списка не оказалось под рукой на первом нашем свидании, когда он весь вечер так увлеченно рассказывал о мотоциклах, вентиляционных системах картера двигателя и дроссельных заслонках... Хотя, если присмотреться внимательнее, то отдельные признаки «идеала» в нем все же имеются.

— Пап! — оборачивается к вошедшему в комнату отцу светлая волнистая голова. — А ты знал, что наша мама...

— Тс-с-с... — я прижимаю к губам палец, и дочь с пониманием затихает.

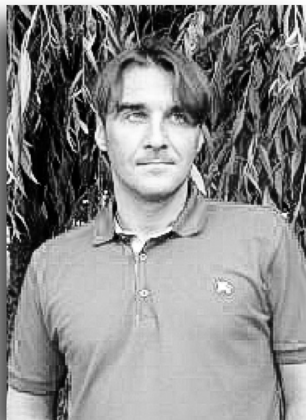
— Что там наша мама учудила? — муж становится на табуретку и осторожно прикручивает уже вымытый плафон.

— Окна вымыла, — говорит Полина и заговорщицки подмигивает мне.

— Хозяюшка. А ты что делала?

— Помогала, — отвечаю я вместо дочери, сгребаю в охапку старые рисунки и протягиваю ей. А затем под восхищенным взглядом Полины извлекаю из кармана джинсов флакончик алого блеска для губ, о котором она так давно мечтала.





Дмитрий РАДИОНЧИК

# Из цикла «Ангелы в сомбреро»

## К Сесилии

Отказавшись от глупой затеи рифмовать твое имя,
Я взываю к тебе, повелительница игуан.
Мне одному не справиться с приступом ностальгии,
Не одолеть тоску мне, как бы я ни был пьян.

Насквозь мне пронзило душу хищное солнце Эль-Пасо,
Но дух боевой не сломлен; Сесилия, дай мне знать,
Когда ты сойдешь по радуге в мир потускневших красок,
Где своих крыльев перья ты распушишь опять.

Знаешь, у одиночества много различных качеств…
Стать его вечным пленником может, увы, любой.
Если ты стерла из памяти осень в Гуано-Аче,
Тогда я снимаю шляпу перед самим собой.

Здравствуй же, странный образ,
ангел с печальным взглядом.
Ты, как ночная фея, в мире, где вечный день,
Где лишь костры кочевников или планет парады
В зарослях эвкалиптов сооружают тень…

К стыду своему, я не знаю, любят ли ангелы кофе.
Так лучше хлебни из фляги!.. Сесилия, может быть,
Я встречей с тобой обязан эпической катастрофе,
И более чудной оказии в судьбе не заполучить.

Здесь, на земле, так быстро дни и столетья мчатся.
Помнишь ли ты Парибас, охваченный мятежом,
Церковь Святого Духа, где мы могли венчаться,
И отца Габриэля, ставшего еретиком?..

Пусть я — один из тысяч, кому ты имела наглость
Наставить рога и даже бровью не повела,

Когда я застал тебя с гринго и, позабыв про жалость,
Судил по суровым законам военного ремесла.

Да простят меня пресвятые Амур, Купидон и Эрос,
Сесилия, так уж вышло — теперь ты на небесах.
Я лишь исполнил волю обманутых тобой кабальерос.
Видно, с твоим появленьем и рай потонул в грехах.

Похоронив все надежды на новые приключения,
Крылатая нимфа Сесилия, королева буковой рощи,
Я взываю к тебе, мой ангел, как к демону искушения:
Восстань ты из мертвых во имя живых —
Жизнь стала бы проще…

## К Бартоломью

Есть ли у меня моральное право встать за твоей спиной?
Хватит ли мне отваги заглянуть в твой единственный глаз?
Все чаще я перестаю понимать, что происходит со мной.
Однако, уверен, земная обитель отвергла кого-то из нас.

Месяц назад я скакал из дозора. Долину окутали сны.
С востока тянулся по краю ущелья кочевников караван.
Дорогу домой мне освещал серебряный диск луны.
Под мерный топот копыт Боливара в ущелье сползал туман.

И полночь застигла меня в дороге, и полной была луна.
Меня охватил необъяснимый, доселе неведомый страх.
Все это сильно напоминало сюжет из дурного сна.
Даже теперь, вспоминая об этом, я чувствую дрожь в руках.

Тогда же мне стало дурно, конь взвился и встал на дыбы.
Я увидал впереди на дороге странное существо.
И тут я узнал тебя, гринго, проклятье моей судьбы.
Образ крылатой бестии к лицу тебе на все сто.

Даже смерти, увы, не под силу согнать с твоего лица
Издевательскую ухмылку с вечной сигарой во рту.
Неужели напрасно я всадил в тебя столько свинца?..
Заблудший потомок конкистадоров опять на посту…

Да, это все-таки ты, проклятый янки, пират и рэйнджер,
Опрометчиво призван Всевышним, чтобы не пасть в бою,
Обитатель темных окраин, вероломно с небес сошедший,
С шумным именем Бартоломью.

Горькая жизнь твоя, словно меню в таверне.
Поступь смерти угадывается в движеньях.
След греха на скользких судьбы ступенях,
Исчадье порока при любострастной скверне…

Имею ли я, наконец, возможность лицезреть
твой презренный прах?
Смута и стойкий запах серы воцарились в наших домах!..
Положение не обязывает меня возносить хвалу
Всякого рода нечисти, падшей от пут соблазна.
Уж лучше бы я наткнулся на этом скорбном балу
На первосортную шлюху из шушеры куртуазной.

## Таверна Сантьяго

Здесь судьбы вершатся под звон стаканов
И сходит усталость с небритых лиц,
А здешняя кухня, рай для гурманов,
Даст фору столам европейских столиц.

Невзирая на редкую бедность убранства,
Даст лучшим салунам сто очков вперед
Сей оплот романтики и хулиганства,
Обитель, в которой удача ждет…

Если спросит вас незнакомец:
Где бы душу овеществить,
Это место ему запомнить
Суждено и всю ночь кутить.

Здесь случаются встречи с целым
Миром грез, но судьбы картечь
Разбивает их то и дело.
Носят шляпы здесь шире плеч…

И однажды судьба-плутовка
Уготовит со знаньем толка
Вам сюрпризы у барной стойки,
Доведя до больничной койки…

Сны в таверне не так комфортны,
Как после нещадных ночей любви
В заведениях высшего сорта,
В храмах похоти на крови.

А любви в таверне Сантьяго
Есть с избытком в любой момент,
Да простит эту блажь бумага,
Я сегодня — ее клиент…

Если радости слышал эхо,
Постучись и в себя поверь.
Страсть к излишествам — не помеха;
Всем Сантьяго откроет дверь.

## Кастаньеты и маракасы

…Мы не в Рио на карнавале,
А в Парибасе; год не помню…
С Хуанитой на сеновале,
С команданте в каменоломнях.

Тут фантазий моих орбиты.
Гобелен из историй соткан
В день прощания с Хуанитой
С шумным праздником битых окон…

Не кубинец, не мексиканец,
Ход событий я носом чую,
Вспоминаю зари румянец,
Громыханье пальбы вслепую.

А теперь все вокруг иначе.
В моем доме забиты ставни,
И в мятежной Гуано-Аче
Дух войны навсегда оставлен.

Мне милее рожок отбоя,
Чем сигнал полковой трубы.
…Но все так же лишен покоя,
Я вкушаю плоды борьбы.

«…Кастанеда писал о совсем другом!..[1]»—
Мне на память приходит Летов[2].
Вот такие вот маракасы кругом,
Такие, блин, кастаньеты…

---

[1] Строчка из песни популярной на рубеже 80— 90-х группы «Гражданская оборона» (г. Новосибирск).

[2] Летов Егор, поэт, рок-музыкант, лидер группы «Гражданская оборона».

## К себе

Это звучит, как надпись над ручкой двери таверны.
Все эти долгие годы я стараюсь быть верным
Этой надписи и себе.
Мой карабин закопан в саду, и мне за него обидно.
Еще мне пришлось сбрить усы, из-за которых не видно
Моих улыбок судьбе.

К себе…

Уж целый век миновал с тех пор,
Как я повесил шляпу на гвоздь.
В душе затухает страсти костер,
В таверне я — редкий гость.

Но где бы я ни был теперь, какую бы ни носил из масок,
Огни Пасадены манят меня, слепит солнце Эль-Пасо.
И там, где меня никогда не будет и даже сегодня нет,
Пусть в час повсеместной хандры и грусти
Раздастся стук кастаньет.





Владимир ХИЛЬКЕВИЧ

# Время нелюбви

*Рассказ*

***Памяти Валерия Скворцова***

***Звучит колыбельная ночи,***
***И где-то парит Азраил*.***
Расул ГАМЗАТОВ

## 1

— Опять. Хох! Опять этот красавчик Артур Бен ракетного топлива хватанул, прежде чем отправиться в нужник, — ворчал сержант, переступая через ноги солдат. — Теперь неделю придется искать. Кто-нибудь видел Артура Бена?

— Подождите немного, сэр, — отозвался тощий, выгоревшая рубашка на нем, как тряпка на веревке для сушки белья, наблюдатель. — Скоро из-за океана вам позвонит. Еще не долетел. Ха-ха-ха...

— Помолчи, Кристин. Он там, сержант, в тупике.

Сержант, крепко скроенный кучерявый, однако совершенно седой негр, трижды чертыхнулся и побрел в конец траншеи. Траншея — сплошная кровоточащая рана на теле земли — вырыта в красноземе. Пригибаться не оставалось сил, и квадратный сержант шел во весь рост, только наклонил голову. Месячное прозябание в окопах порядком измотало весь батальон, сержант не был исключением.

Дурное настроение он срывал на солдатах, те сидели на корточках либо на вещмешках на дне траншеи или подпирали ее бурые стенки широкими спинами, стоя за бугорками неровного бруствера.

— Ну-ка, Смитт, прибери вокруг себя. Сколько банок тушенки тебе надо на завтрак, Смитт? Здесь некуда бегать в сортир. Послушай, Джордон, поаккуратнее с пулеметом. Его скоро засыплет песком...

Солдаты отвечали привычное «Да, сэр», с сержантом лучше не спорить.

Пропавший Бен полусидел-полулежал в некотором удалении от своего взвода, на самом выходе из траншеи, и казалось, спал. Крепкая загорелая рука с высоко закатанным рукавом безвольно лежала на откинутой сумке противогаза, другая сунута в широкий распах рубашки. Ноги в помятых штанинах и тяжелых берцах разбросаны в стороны, голова запрокинута и глаза закрыты, а на крупном бронзовом лице — упрямо сжатые тонкие губы и нахмуренный

---

* В исламе и иудаизме — ангел смерти, помогает людям перейти в мир иной.

лоб. Да грудь вздымалась высоко и часто. Рядом валялась каска. Но М-16 на широком зеленом ремне аккуратно прислонена к стенке рва на расстоянии вытянутой руки.

— Послушай, Артур, сон приближает врага.

Артур напрягся, собираясь вскочить и принять стойку «смирно», но сержант опередил его:

— Вольно, солдат.

Сержант остановился перед Артуром Беном и внимательно вгляделся в его лицо, пытаясь понять, чего ради тот добровольно загнал себя в угол. На наркотики это было не похоже.

— Хватит дрыхнуть, есть новости.

— Новости? — только и ответил Бен. Чуть размежил белесые ресницы и посмотрел глазами цвета осеннего серо-голубого неба.

— С тебя причитается, солдат. — Сержант опустился на корточки, прислонился спиной к красноватой влажной стенке. — В твоей фляжке что-нибудь осталось?

Бен отстегнул от ремня флягу и протянул ему. Сержант приложился, сплюнул.

— Ты ее случайно не кипятил? Да-а, теперь бы пару глотков холодной из обычного крана.

Бен потерял всякий интерес к сержанту, но тот вспомнил, зачем тащился сюда.

— Ты ведь давно видел свою жену? И парня? Могу тебя обрадовать. Звонили из штаба. Твоя певица развлекала наших ребят где-то неподалеку, южнее 17-й параллели. Держись, герой вьетнамской войны, — сержант коротко хохотнул. — Марта решила нагрянуть с инспекцией. Видно, не может тебе забыть девчонку с островов.

Сержант опять хохотнул.

— Да, майор сказал, вечером батальон уйдет на отдых. Повезло нам, наконец, Артур. Так что увидишься с Мартой где-нибудь в уцелевшей деревне. А не в этой проклятой траншее. И с сыном. Хох.

Сержант подивился равнодушию, с которым Бен принял новость, и медленно поплелся назад. Лично он благодарил бы судьбу не только за встречу с женой и детишками, а за любую мало-мальски стоящую женщину. На самом краю света о таком подарке, который получил этот парень, можно лишь мечтать. Нет никакой гарантии, что если ты встретил восход солнца, то увидишь и закат. Кто откажется еще раз почувствовать себя человеком? Нет, не нравится ему сегодня рядовой Артур Бен. Сидит так, что и не поймешь, жив он или пустил себе пулю в лоб.

Впрочем, ни к чему расходовать патроны, думал сержант. Хочешь на тот свет — выгляни как следует наружу. В километре, через долину, начинается густой подлесок из индийского тростника. Тотчас оттуда прилетит привет от вьетконговцев любимому гринго[1].

Верно, Артур был не в восторге от новости, которую принес сержант. Почему только Марте не сидится дома? Мало ей зеленого концертного зала там, в большом уютном городе без войны? Эти благотворительные поездки в экспедиционный корпус могут плохо кончиться. И совсем уж ни к чему таскать за собой мальчишку, даже на каникулах. Даже если он круглый отличник. Патриотом вырастет и в своем дворе.

[1] Прозвище американских солдат, бытовавшее среди вьетнамцев.

Артур расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, выставил наружу закопченное солнцем тело. Сказать по правде, это небо его не грело, оно обжигало его. Оно было чужим.

В их батальоне в эту пору года все ходят в полурасстегнутых рубашках. Иначе долго не протянешь — с Аннамского хребта, как из гигантского фена, дует теплый, сухой «жио-нам».

Командир батальона закрывает на это глаза, сам не железный. Вообще, они понимают друг друга, солдаты и майор. Удивляться нечего, у всех одинаковые шансы попасть домой в консервной банке из цинка.

Артур мог поручиться, что никому в батальоне не придет в голову сыграть с майором Томпсоном в крэггинг[1]. Не было причин.

До вчерашнего дня у него, Артура Бена, все шло, как и должно было идти. Воевал, тем и жил. А вчера он и еще четверо получили приказ посмотреть, что делается за долиной.

В долину лучше было соваться ночью, так они и сделали. Однако ночь спасла только Бена. Остальные подорвались на минах в самом центре долины. А из зарослей сыпанул такой веер огня, что Артур половину ночи пролежал за телом убитого товарища, не поднимая головы.

Он боялся, что люди из джунглей полезут за трофеями, и приготовился ко всему: стрелять, колоть ножом, кусаться. Даже, на худой конец, взорвать себя вместе с этими дикарями. Плен его не устраивал. Потому что больше всего ему не хотелось встречаться глазами с теми людьми.

Он, Артур Бен, поначалу доставил им немало хлопот. Вчерашний учитель оказался хорошим солдатом, и майор всегда оставался доволен. После прочесываний, после десантирования с вертолетов и в такой вот, сидячей войне. Нет, Артур Бен не зря получает надбавку за опытность.

Но он никогда не стрелял в крестьян на рисовых полях и не приносил обрезанные уши убитого им бойца Вьетконга, как делал кое-кто из ветеранов. Он не пытал своих пленников. В этом смысле Бен оставался интеллигентом. Но все равно считал, что противникам ни к чему встречаться глазами. Потому что глаза всегда говорят. Говорят и оценивают, даже когда боятся.

Может, поэтому пленникам часто завязывают глаза. Или... или выкалывают.

К тому же солдаты привыкли переглядываться через прицелы, стоит ли их за это винить?

Скажем больше: в последнее время Артур Бен стрелял в противника только тогда, когда ему самому грозила опасность. Во всех остальных случаях во время боя палил в белый свет как в копеечку, полагая, что этот шумовой эффект как-то оправдывает его присутствие в экспедиционном корпусе. Такое случилось с ним не сразу, первое время он, как и все, старательно целился, прежде чем нажать на курок. Ловил на мушку чью-то жизнь. Но оставил это занятие.

Таким вот ловкачом оказался этот парень, который захотел выжить в мясорубке большой войны. И, если получится, лишне не замарать руки.

Правда, приходилось изображать прицельную стрельбу, иначе его могли заподозрить товарищи, которые втянулись в мужскую игру под названием война, и в отместку убить. Просто подстрелить сзади в одной из атак или

---

[1] Крэггинг (*англ.*) — убийство подчиненными наиболее ненавистных командиров с помощью подброшенной ночью в палатку гранаты. Практиковался в экспедиционном корпусе США во время войны во Вьетнаме (60—70 гг. XX столетия).

в очередной заварушке в джунглях. На глазах Артура ветераны именно так поступили с солдатом из молодого пополнения. Тот был дерзким и излишне самоуверенным парнем, воспитанным дворовыми компаниями. Его свои застрелили в бою. Артур стал нечаянным свидетелем, и ему сделали знак, чтобы молчал. Он вынужден был кивнуть головой.

Одним словом, самое простое, что могло ожидать Артура, это военно-полевой суд.

Он не был пацифистом, и если бы его спросили, почему не стреляет прицельно, он вряд ли смог объяснить толком. Возможно, потому, что по-мальчишески верил: если не ударить собаку палкой, она тебя не укусит.

И еще. Пусть я убью на одного вьетконговца меньше, чем Джек или Билл, и пусть мне это зачтет тот, кто смотрит на нас с небес, — уговаривал себя Артур.

Получается, что нельзя самому выжить, забирая жизни у других?

Впрочем, на всех этих объяснениях он не настаивал. А других у него не было. Или почти не было.

Вряд ли на него как-то повлиял отказ воевать во Вьетнаме любимчика Али[1]. Но именно тогда появилась острастка: если Америка так дружно и зло потопталась по своему кумиру, то что будет с любым другим, не таким знаменитым?

Не исключено, что дело было еще и в странном вьетнамском божке, которого он увидел в одной из полусгоревших хижин. Божка подвесили к потолку, и огонь не успел до него добраться. А раз так, тот весело раскачивался на своей веревочке и сверху равнодушно посматривал на Артура. Растрепанный, с широким узкоглазым лицом, он был похож... Артур не запомнил, на кого тот похож, но признался себе, что божок ему неприятен. Позже он навещал Артура в его лихорадочных солдатских снах, и Артур стал его побаиваться.

Пожалуй, он слишком буквально понял слова отца. Отец, пока был жив, часто повторял ему одну и ту же фразу: «Не обижай людей, и тебя не обидят боги».

Старик преподавал в колледже античную литературу и в чем-то был ее рабом. В конце своей излюбленной фразы он не забывал добавлять: «Потому что человек — ближайший родственник богов». Отца давно нет, а слова его тревожат.

...Несколько раз Бен пробовал ползти в сторону своих. Но всякий раз из-за рваных облаков вываливалась желтая круглая луна или шипела ракета, и он замирал, а когда проклятый фонарь гас, почти тотчас отзывался пулемет, и приходилось возвращаться.

Артур повернул своего приятеля на бок, и получилось хоть какое-то укрытие. В этом неудобном во всех отношениях месте его еще раз навестил широкоскулый растрепанный божок.

И Артур подумал... Ему пришла в голову простая, как дождь, как хлеб, как песок или трава, мысль, и он повторил ее еще раз: наш Бог — страх. НАШ БОГ — СТРАХ! Именно так, а не иначе.

«Наверное, эти обезьяны подыхают куда с большим энтузиазмом, чем я сейчас», — мрачновато поиронизировал над собою Артур.

Ребята из джунглей неплохо пристрелялись, даже в темноте брили оче-

[1] Мохаммед Али (Кассиус Клей) — американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

редями у самой земли. Они не хотели, чтобы «береты» утащили назад свою перебитую разведку, поэтому чередовали пулемет и ракеты, но сами не шли. Боялись «посушиться» на собственных минах.

Когда это развлечение им надоело или они решили, что после такого приема из траншеи вряд ли сунутся, Артур смог вернуться в батальон и высказать майору все, что он думает о ночных наблюдателях. Потому что те просмотрели в свои сто раз хваленые трубы, как противник минировал не только полоску земли перед джунглями, но и тропы в долине. Раньше сюрпризов в долине не было, и их группа не успела включить миноискатель. Если так пойдет дальше, говорил Артур, то по ночам они начнут развешивать мины и на деревьях, как фонарики на рождественских елках, и порубят любого, кто сунется в джунгли.

Майор сплевывал и угрюмо молчал, ему нечем было крыть. Так что Артур выговорился и ушел спать. Однако уснуть не сумел, с ним что-то случилось. Из головы не шел Джимми Браун, за чьей широкой спиной он полночи прятался от смерти. Джимми уже однажды выручил Артура, это было полгода назад. Они проводили акцию в какой-то деревушке, и крестьянка, хижину которой Артур поджег трассерами, подняла над его головой мотыгу. Минутой раньше на него выплеснулись два океана ненависти, закипевшие в ее узких черных глазах, и он захлебнулся бы в них, не отвернись вовремя.

Так вот, Артур уже стоял спиной и не видел широкую острую мотыгу над своей головой. Это была почти гильотина. И если бы Джимми Браун не успел выстрелить, дело могло принять совсем дурной оборот. Теперь, сам того не зная, Браун еще раз удержал Артура на краю могилы. Жаль, нельзя выпить с ним виски.

Артур Бен признавался себе, что ночью ему стало... да, страшно. Очень страшно. Лежа в обнимку с убитым, он как умел молился, но не знал, может ли рассчитывать на помощь Всевышнего. Солдат — всегда большой грешник, даже если выполняет приказ.

Стонать тогда хотелось от страха, и теперь это не смущало его. Обычная человеческая реакция на запредельную опасность.

Не нравилось другое: страх не проходил. Ему было страшно и сегодня, в глубокой траншее, среди белого дня. Хотя джунгли молчали и оттуда не ожидалась атака. Артур хорошо понимал, что холодок вокруг сердца и время от времени накатывающая тошнота — это не от бессонницы. Ночью там, за трупом, он слишком отчетливо понял, что его тоже могут вот так, легко, убить. Товарищи утром будут есть ароматные консервы, мечтать о девочках с высокой грудью и подсчитывать свои финансовые активы в надежде пожить как следует в будущем. А он, Артур Бен, останется лежать на нейтральной полосе равнодушным ко всему, даже к самой жизни. Его уже не будет. Просто не будет. На два-три дня сохранится муляж, его чучело, набитое протухшими кишками. А пройдет этот срок — белого черепа не сыщешь. Бои к тому времени откатятся, и зверье в союзе с птицами растащат по кускам то, что раньше было Артуром Беном. Красавчиком Артуром Беном, за которого согласилась выйти певица из ресторана. Потом она стала почти звездой, но не бросила его, а родила ему сына.

Над траншеей прозвучал свисток. Это означало, что нужно срочно влезать в противогаз. Что там еще придумали эти Чарли?[1]

---

[1] Презрительная кличка вьетнамских партизан, имевшая хождение в экспедиционном корпусе США.

Майор, вероятно, опасался минометного обстрела, а ветер переменил направление. Еще раньше разведка докладывала, что у противника могут быть мины с начинкой.

Артур торопливо потянул на себя зеленую сумку и раскатал по лицу резиновую маску. Подобрал брошенную сержантом флягу, покрепче завинтил колпачок и нацепил на ремень.

Скоро стенки маски нагрелись и перестали упруго колебаться. Увлажнившись от дыхания, резина налипала на лицо, оно начало чесаться.

Чтобы отвлечься, Артур принялся думать о жене и сыне. Интересно, как они выглядят? Жену он не видел целый год, парня и того больше.

Год назад, когда батальон на веселых зеленых островах недалеко отсюда готовился после недолгого отдыха снова включиться в боевые действия, жена неожиданно приехала с группой из Беркли с рок-н-ролльными концертами для экспедиционного корпуса. Целую неделю они провели вместе.

Правда, Марта была свободной не весь день, несколько часов уходило на выступления в частях.

Морпехи сатанели, когда она начинала петь: «Здравствуй, Дэвид, меня зовут Дастин, я твоя медсестра..». Или «Долговязую Салли». Или «Девочка не может с собой справиться». Почти как Литтл Ричард.

Но зато, освободившись, она занималась только им. Уже тогда майор показал себя молодцом, отпустив Артура безо всяких условий. И ничто не мешало им насытиться друг другом.

«Девочка не может с собой справиться». Эта навязчивая мелодия преследовала Артура весь год. «Почему она не может с собой справиться? — сердито спрашивал он. — Разве это так трудно?»

Марта в тот свой приезд была умницей. Артур даже подумал, не мучают ли ее дурные предчувствия. А тут еще в один из дней всплыла его связь с местной девицей из тех, что постоянно околачиваются неподалеку от казарм. С ними парни из казарм рассчитывались какой-то мелочью — парой-тройкой двухдолларовых бумажек. Никогда раньше Артур не видел двухдолларовых купюр. Говорят, их специально отпечатали для экспедиционного корпуса.

Девица, которой они с Мартой попались на глаза, окликнула Артура, а когда он прошел мимо и не остановился, бросила вслед: «Эй, новенькую завел, да? А она конфетка».

Марта на удивление легко простила ему. Артур тогда еще подумал, что на такую легкость могут рассчитывать только обреченные.

И вот опять Марта здесь, теперь в самом пекле. Правда, вокруг много войск, но партизан тоже хватает, и никто ни от чего не застрахован. Благодаря прессе такие гастроли приносят имя, но все же рисковать не стоило. Тем более парнем. Если честно, то партизаны здесь за каждым деревом, они все видят своими глазами-щелочками и на многое пойдут, чтобы заполучить таких необычных пленников.

Впервые он встретил это слово, когда читал роман Купера. Кроме того, он знал, что в последней большой войне партизаны водились во Франции, их называли маки. Он почему-то относился к ним с симпатией. Теперь это понятие приобрело для него зловещий смысл.

Марта по своим корням была француженкой, родители привезли ее из Лиона. В тех местах ее дед участвовал в Сопротивлении, говорила она Артуру. И рассказывала о нем маленькому Жюлю, когда кормила и хотела затолкнуть лишнюю ложку каши. Придумывала разные героические истории.

Жюль слушал и раскрывал рот пошире. А Артур сердился и говорил, что нельзя детей воспитывать на крови. Марта отвечала, что он не прав. Это не абстрактные дети, а мальчишка, будущий мужчина. Вырастет и будет бояться зарубить кудахтающую курицу или почистить не уснувшую рыбу. Зерна легли на благодатную почву, и если кто-то хотел подлизаться к суровому мужичку, а Жюль всегда был суровым, то называл его маленьким маки.

И теперь Артур подозревал, что приехать сюда, на настоящую войну, — это было желанием мальчишки. От генов никуда не денешься. Войны просто так не отпускают старых солдат — они приходят во снах к их потомкам.

Артур приподнялся и посмотрел вдоль траншеи. Все по-прежнему сидели в противогазах и напоминали странных, неземных существ с носами-хоботами муравьедов и равнодушными блюдцами стеклянных глаз. И каждый думал о чем-то своем. А о чем — кто же скажет?

Среди них заметно выделялся один гражданский — совсем молодой человек с орлиным носом и кустистыми бровями над улыбчивыми глазами. Всеобщий приятель француз Пьер Иссот вырос на каучуковых плантациях Вьетнама, теперь у него была нескучная профессия — он снимал на камеру солдат обеих воюющих сторон и продавал фотографии газетам и глянцевым журналам. Сейчас Иссот отдыхал, отрешенно улыбаясь. Снимать людей в противогазах он не хотел, чтобы не дискредитировать вьетов. Казалось, угроза химической атаки его не волновала. Или он считал себя осведомленным человеком и в нее не верил.

«Вот когда я спрошу у Марты, куда она подевала мои запонки — маленьких янтарных черепашек. За что она их так невзлюбила?» — улыбнулся, наконец, Артур. Эти запонки подарила ему на открытом уроке молодая пани, учительница из Польши, и Марта приревновала.

## 2

Передислокацию батальона прикрывали вертолеты 116-й дивизии «Hornets». Плоские, как спичечный коробок, «лыжники» ошалело и, казалось, беспорядочно носились низко над джунглями, громким ревом моторов нагоняя жуть на все живое.

Когда колонна из десятка грузовиков отделилась, наконец, от остальных и втянулась в оставленную вьетами деревню, окруженную живой бамбуковой изгородью, все увидели, что рядового Артура Бена встречает жена. Она стояла около одной из хижин и опиралась на плечо мальчика лет четырнадцати, худощавого и хмурого, даже, можно сказать, насупленного. Она не смутилась, когда из-за откинутых на грузовиках тентов высунулось множество любопытных мужских лиц в боевой раскраске. Кто-то помнил вокалистку Марту с прошлого ее приезда, кое-кого узнала и она.

В центре мужского внимания Марта чувствовала себя вполне комфортно. Среднего роста, ядовито темноволосая и скуластая, с раскосыми агатовыми глазами, она была похожа на женщину Востока. Отличалась лишь крепкими бедрами и напрыганными ногами вчерашней акробатки. Небольшая грудь подчеркивала ее спортивность.

Марта была одета в обтягивающие фигуру бледно-голубые джинсы и прижатую подтяжками белую кофточку, кокетливо расстегнутую на пару пуговок. Длинные волнистые волосы ниспадали из-под ковбойской шляпы на

плечи и прикрывали тонкую серебряную цепочку в разрезе кофты. Типичная «пин-ап-герл» — девушка с плакатов, которыми были увешаны казармы и палатки. Марта все время нервно подтягивала рукава кофты кверху и поправляла широкополую шляпу.

Множество мужских глаз вцепилось в эту женственную фигурку — олицетворение дома и семьи. Или по меньшей мере грешных плотских утех.

Артуру не сразу удалось протолкнуться через плотное кольцо мужских спин. Марта увидела его: «Ар-туррр!», и их тут же оставили одних. Артур обнял своих нечаянных гостей.

— Ах, Ар-туррр, боже мой! — повторяла Марта. — Боже мой!

У нее была своя манера произносить имя мужа, с легким грассирующим «р» вначале и затянутым «р» в конце. Эта манера в первые месяцы их знакомства раздражала Артура, потом он смирился.

Ее руки трогали плечи, голову, опять плечи мужа. С другой стороны, неловко прижавшись к отцу, застыл Жюль. Вот теперь-то Артур готов был обрадоваться встрече, но что-то мешало. Он подумал: надо привыкнуть. Или хотя бы освоиться.

Они вошли в ту самую хижину, сели на старые, но чистые (видно, Марта постаралась, вытряхнула) циновки. И молчали, глядя друг на друга. Улыбались: Артур — сдержанно, Марта — широко и выстраданно, слезы блестели на ее глазах. Сын тоже приподнял уголки губ, но по-отцовски скупо. Артур не зря считал, что сын унаследовал его тяжеловатый характер. Однако лицом Жюль повторял Марту — такой же прямой нос, без крючка на конце, как у Артура. Легкий подбородок — в противоположность квадратному отцовскому. А еще у мальчика была тонкая нежная кожа и пронзительные серые глаза, за которыми угадывалась постоянная и напряженная работа мысли. Глаза, которые сами умеют видеть и позволяют многое читать в своей глубине.

Лишь одно насторожило Артура: он уловил во взгляде сына еле ощутимую сталь. Возможно, ребенок все же боялся присутствовать на взрослой, всамделишной войне и некоторая холодность, отстраненность были неосознанным способом самозащиты. Все правильно, малыш, подумал Артур, мне здесь тоже неуютно.

Теперь эти глаза знакомились с ним. Когда Артур натянул форму, мальчику исполнилось двенадцать. Наверняка отбился от рук. Если девчонки в таком возрасте ни во что не ставят мать, то мальчишки и подавно. Марта в письмах пару раз просила повлиять на парня, но чего могла стоить мораль издалека?

Артур положил руку на тонкое колено сына.

— Много бегаешь, старина Жюль. По-прежнему регби?

«Старина» молча кивнул, в улыбке была признательность.

— А как ты, Ар-туррр? — спросила Марта, заглядывая в лицо.

— Все в порядке, жена, все в порядке. Хорошо сделали, что приехали. А то я совсем отвык от вас.

Он и правда отвык от своих. Они для него остались там, бесконечно далеко, дома. Остались будто с другим Артуром. А он, первый Артур, так изменился, что порой не узнавал себя. Из начинающего принципиала-учителя, который только и знал, что школить детей и раздавать им советы, превратился в человека, который жил сам. Не важно, как, но сам. Рассказчик о героях на войне превратился в... в кого? Нет, не в героя, это верно. Чужая далекая грозовая жизнь, знакомая лишь по книгам, вдруг так приблизилась. Что их связало, те далекие события, и эти? Связала бесконечная всеземная война, которая не

закончилась за многие века, а делает только небольшие перерывы, чтобы дать людям отдохнуть?

Что он тогда вел в школе? Ну да, литературу, как и его отец. Рассказывал детям о своих любимых Маркесе и Брэдбери. И всегда говорил, что именно так и будет — американцы первыми начнут переселяться на красную планету. Потом сам оказался вот в этой траншее из краснозема. Переселился на свою красную планету.

Артуру поначалу казалось, что его ежедневная борьба за выживание и есть жизнь — активная, деятельная. Правда, приходилось лишать кого-то жизни, и поэтому Артур согласен был считать, что настоящая жизнь отзвенела раньше. Но так он считал в редкие минуты депрессии. И потом, философствовать даже для него, человека с университетом за спиной, было сложнее, чем просто подчиняться. Философствовать — это означало бы в конце концов быть недовольным своим положением. И тут обычная последовательность потребует действия. Однако сбежать некуда, да и за такие дела можно оказаться за чертой раньше, чем если быть толковым солдатом. И он до поры был толковым солдатом, отказавшись от сомнений, так он рассчитывал сохраниться.

Потом в этой почти совершенной машине, которая во всех армейских прописях значилась как рядовой первого класса Артур Бен, что-то сломалось. Однажды он почувствовал, что больше не может стрелять в живых, теплокровных, думающих, чувствующих людей, которых видит в прицел. Внутри проснулся тот самый учитель-принципиал, который был его сутью до того, как натянул форму.

Да, я уже говорил вам, ему вдруг стало трудно убивать людей, и он уже не слишком охотно делал это. Не в счет, когда сам оказывался на линии огня и понимал, что в него целятся, и жить останется тот, кто успеет первым. Во всех остальных случаях стрелял в сторону противника, гася своим огнем его активность и тем самым удерживая подальше от себя. Он не мог не стрелять вообще, это слишком заметно.

А семья... О семье не забываешь, когда она дает о себе знать каждый день. Когда живешь в ней. Дежурство у кроватки ребенка. Совместные поездки по магазинам по выходным, чтобы запастись продуктами. Легкие стычки с женой, которые надо улаживать в постели. А в его положении о семье помнишь примерно так же, как о египетских пирамидах. Есть где-то пирамиды, их греет солнце и мочит дождь. Но душа на их существование откликается редко.

Они посидели немного в тишине, потом Марта принялась рассказывать, как долетели и как военные хорошо приняли их концертную программу. Попробовала тормошить Жюля, чтобы тот отчитался за оценки, но Жюль упорно молчал. Что-то в отце ему решительно не нравилось. Артур видел, как мальчик все время отводит глаза. Он понимал, что, скорее всего, это обычные фобии подростка, но все равно было неприятно.

Тогда Марта полезла в сумку, неширокую, но вытянутую вверх, словно чемодан поставили на бок и к торцу приделали ручку. Достала еду. Принялись жевать. Взрослые немного выпили. Спало напряжение от встречи, и тут Артур ощутил себя бесконечно, просто бесконечно усталым, все тело сделалось деревянным, его тянуло вниз, кружилась голова. О чем-то говорили, словно прорывались сквозь густые заросли отчужденности, но долго Артур не выдержал. Хотя понимал, что Марта может обидеться.

— Марта, Жюль, я очень устал, ночью были в деле. Мне нужно немного отдохнуть. Да и вам тоже. Ну конечно же, вам тоже следует отдохнуть с дороги.

Он отошел в угол, растянулся и тут же уснул, опустился в тяжелое, вязкое забытье. На затерянную в джунглях деревушку упал неистовый тропический ливень, но Артуру было все равно.

Ночью, ближе к утру, он слышал, как Марта гладила его грудь под рубашкой. У нее по-прежнему мягкая, ласковая ладонь. Артуру была приятна эта ласка. Потом Марта начала немножко сердиться, он это понял по тому, как стали покалывать ее острые ноготки. Пора было просыпаться, он попробовал это сделать, но слабость и сон не отпускали.

Открыл глаза Артур только днем, а встать сумел лишь к обеду. Марта испуганно смотрела, как он лежал в прострации, то заговаривая с ней, то умолкая. Несколько раз прибегал Жюль, но ненадолго. Он как-то сразу столковался с сержантом, тот скучал по своим кучерявым сыновьям и охотно взял его под свою опеку. Конечно же, для мальчишки немало соблазнов вокруг. Попробуй усиди в хижине возле сони-отца, когда сержант уже дважды давал пострелять из автоматической винтовки.

Наконец Артур почувствовал себя лучше. Встал, привел в порядок лицо и форму, поел. Вторая половина дня прошла как-то странно. Будто чего-то ждали. Прогулялись по деревне, разыскали и забрали Жюля. С кем-то разговаривали. Все трое зашли в штаб к майору, и Марта на правах старой знакомой пококетничала с ним, а Артур договорился насчет освобождения. Потом вернулись в хижину и встретили ночь. Она опустилась сразу, заполнив собой все вокруг — мир и мысли.

По очереди рассказывали о своих делах — то Марта, то Артур. Один Жюль опять хмурился и молчал, отец и мать, как ему показалось, слишком рано забрали его у сержанта. Это молчание мальчика подчеркивало натянутость, все еще не пропавшую между ними. А когда Жюль уснул, Артур протянул руки к Марте. Ну да, подумал он, целуя Марту. Именно это и должен был сделать любой муж, встретившись с женой после долгой разлуки. Тогда не появилось бы никакой напряженности, никаких неясностей. Он был уверен, что и Марта тоже так думает, потому что его поцелуи она принимала жадно и исступленно.

Однако легкость, которая поселилась у него в душе, очень скоро исчезла. Он понял вдруг, что поцелуями дело и кончится. Он ничего не мог. Он решительно ничего не мог. Убедившись в этом, оставил Марту в покое и откинулся на спину. Гладиатор, казнил он себя, чертов гладиатор. Только и смог, что погладить.

Немного погодя приподнялся и укрыл сына — потянуло свежестью.

— Что с тобой, Ар-туррр? Тебя не узнать. Ты болен?

Голос у Марты был хриплый, словно она долго бежала и вот теперь остановилась.

Болен, со злостью подумал Артур. Разве на войне болеют? Здесь ты или убит, или ранен. Если повезло. Но не болен.

— Двое суток назад я попал в порядочный переплет и, кажется, испугался. Все дело в этом.

Она придвинулась и принялась жалеть — как мать сына или сестра брата. Самым обидным показалось Артуру то, что она даже не пыталась ему помочь. Она была просто сестрой рядом с заболевшим братом, но не женой,

нет. Быстро же она отказалась от меня, подумал Артур, не отвечая на ее тихие прикосновения губами.

— Может быть, ты простудился ночью?

— Но я же сказал тебе, что я испугался.

«Как жестоко — заставить мужчину повторить, что он испугался».

— Это должно пройти, — добавил он.

Но это не прошло к рассвету. И опять Марта вела себя, как заботливая сестра рядом с заболевшим братом, что бесило Артура. Не мог же он сам попросить у нее помощи. Когда она, собравшись спать, отвернулась и равнодушно прижалась к его животу холодным низом, Артур вспомнил, что она и дома не любила, когда он болел. Стоило ему простудиться, как отношения начинали портиться. Марта приносила лекарства, подавала в постель горячее питье, но он видел, что все это ей не по душе. Она никогда особенно не интересовалась, как он себя чувствует — лучше или хуже. Разве что вскользь, из вежливости. Однажды, когда у Артура была температура, Марта оставила на него Жюля, который тоже хандрил, и отправилась на целый день по своим делам. Хотя их вполне можно было отложить. И Артур пришел к выводу, что она, пожалуй, хочет видеть своего мужчину всегда в форме, только в форме. Всегда в порядке. Она отказывала ему в праве даже на мелкие слабости. Болеть он мог сколько угодно, пока был ребенком. Теперь эта роскошь не для него. Артур не мог сказать, что такая ее убежденность роднила их. Потому что любовь женщины должна знать и милосердие.

Вот и опять они не понимали друг друга. Злость душила Артура. Бестолковая кукла, шептал он. Приехала сюда, чтобы окончательно вышибить меня из седла. Бестолковая поющая кукла. Выбрала неподходящий момент, когда он и без того был сломлен. Эта изнуряющая борьба с собой — с тем двойником, который проснулся в нем и не желал убивать, потом еще вдобавок ночь за спиной Джимми Брауна...

На третий день они не очень много разговаривали. Марта перекладывала какие-то вещи в сумке. Артур лежал, делал вид, что дремлет. Он вдруг остро почувствовал, что эти двое — Марта и сын — чужие ему люди. Да, чужие. Пожалуй, что так. На самом деле, чужие. Ему все равно, что с ними может случиться на этой войне цивилизаций. В душе накопилось слишком много пугающей пустоты. Чужие. Как хотят...

К вечеру всем троим надоело молчать, и Марта откровенно обрадовалась, когда пришел сержант и передал приглашение майора на пикник.

— Вот и хорошо, — сказала Марта. — Ты, Ар-туррр, раздобудешь гитару, и мы там будем петь.

— Да-да, — подтвердил сержант. — Они хотят тебя послушать, Марта. Майор и офицеры. А парня я заберу к себе, не беспокойтесь.

После этих слов Жюль быстро поднялся и вышел вслед за сержантом. Он давно заметил, что между отцом и матерью пробежала черная кошка, и тяготился их молчаливой компанией. Общество сержанта было ему более по душе.

На вечеринку Марта пошла одна, Артур отказался. Назло ей и всем. А она пошла назло ему. Как раньше, дома, одна ездила за город с друзьями на пикник. Хотя собирались вместе. У них это было делом привычным. Утром выходного дня достаточно было недовольной нотки в голосе Марты — по любому поводу, как Артур начинал заводиться, отвечал грубостью или молчал, и обоюдное недовольство и раздражение росли, и уикенд летел псу под хвост. Все-таки это великая тайна, почему близкие люди перестают понимать друг друга. Такая же великая, как и таинство любви.

Любой муж получает в день пару-тройку сигналов «свой-чужой», как боевой самолет при встрече с истребителем в высоком небе. Чмокнут в щеку — «свой». Скажут спасибо за малую пользу — «свой». Прогонят с кухни, чтобы не мешал или в постели отвернутся спиной — «чужой». У них с Мартой привычной была пропорция два-три сигнала «чужой» и один «свой», а то и ни одного.

Честно говоря, он на контракт с военными согласился из-за этих странных отношений с Мартой. Тогда он думал, что такой один. Потом, когда кое-кто в их батальоне разговорился, выяснилось, что таких парней здесь много.

Марта была против его военной службы, у нее только начали налаживаться дела — частыми стали концерты в пабах и студенческих кампусах, появились первые диски их группы. Пресса писала, что у Марты редкий голос — сопрано-латино. Публика тоже это оценила. Одни различали в ее пении шик французского кабаре, другие расслышали и купились на легкий джазовый мотив, третьим нравилась звучащая интригующая вкрадчивость... Впрочем, она продолжала искать себя, и ей ни к чему было это его чудачество со службой в джи-ай. Его постоянная самовлюбленная настороженность замучила ее.

Она пыталась отговорить, даже плакала. Последнее обстоятельство удивило Артура и польстило его самолюбию. Но контракт Артур все равно подписал. Он хотел самоутверждения, поэтому и надел форму. Если честно, то в этом, пожалуй, была его проблема: он видел, как у Марты все получается, а что получалось у него, занудливого школьного училки? Он не мог препятствовать Марте, хотя ее увлеченность эстрадой, плавно переросшая в профессию, ему не нравилась. Он не считал жену большой певицей и не был уверен, что этому занятию ей следует посвятить жизнь. Однако все складывалось именно так. И ему нужно было справиться с собой.

## 3

Артур сидел под одиноким манговым деревом у хижины, освещаемой лишь неверным светом желтолицей луны, подкладывал в небольшой огонек ветки казуарины и слушал, как в конце деревни Жюль и сержант палят из ракетницы и пистолета и как смеется довольный мальчишка. Сначала шипела ракета, тут же слышались частые пистолетные хлопки и довольное «хох» сержанта — били по освещенной мишени. Артур поежился: немного похоже было на ту ночь, когда он лежал за трупом Джимми Брауна.

Слышал Артур и как веселились у майора. Там неумело аккомпанировали Марте, она высоко не брала, и получалось по-домашнему мило. «Здравствуй, Дэвид, меня зовут Дастин, я твоя медсестра..» — пела Марта.

На улице разговаривали солдаты.

— Хорошо поет жена Артура Бена. Как считаешь, Крауф?

— М-м... Не мешало бы спокойно послушать.

— Держу пари, она не только хорошо поет. Говорят, Артура уже укачало. Интересно, кто будет следующим.

Подойти к ним и спросить, кто это сказал? Не хотелось портить отношения с людьми, с которыми завтра под пули. Он только выругался: скоты.

Через некоторое время все вокруг стихло. Лишь невдалеке лениво шумел водопад, перемалывая мутную после недавнего ливня воду.

Артур почувствовал себя одиноким. Почти таким же одиноким, как манговое дерево, под которым он сидел. А чувство одиночества всегда его

злило. Как странно, подумал Артур, ко мне приехали жена и сын, а мне это не надо.

Именно здесь, под манговым деревом, бросая в костер сухие ветки казуарины и постепенно успокаиваясь, он, кажется, кое-что понял. Не в страхе дело, осенило его. Просто он сейчас так запрограммирован. Так, а не иначе. Как солдат действующей армии, он запрограммирован не ласкать, а совсем наоборот. А кто стал человеком-машиной для убийства себе подобных, тот уже не может быть прежним, не может любить. Одно исключает другое, вот и все. Очень просто и логично. И ничего другого не нужно искать.

Вопрос в том, надолго ли это?

Первым вернулся Жюль. Артур рассмотрел: мальчик что-то прячет за спиной.

— Что там у тебя, король регби?

Жюль помялся и протянул руку. На его ладони лежал небольшой, словно игрушечный, хотя и закрывал детскую узенькую ладошку, пистолет. Месяц назад этим трофеем хвастался сержант.

— Сержант забыл забрать его у тебя?

— Да нет же, он разрешил взять с собой. Темно, как ты не понимаешь? Могут быть партизаны. Или тигр-людоед, — пробурчал Жюль, недовольный своей нерасторопностью и дурным настроением отца.

— Завтра отнесешь назад. А это?

Жюль неохотно подал бумажный лист, на свету оказавшийся цветной журнальной обложкой. Девица в купальнике была прострелена в живот и плечо.

— Это я стрелял, па.

В голосе мальчика Артур расслышал удовлетворенность. Он скомкал девицу и швырнул в золу. На этот раз отношения с сыном у него не выстраивались.

Дома он часто узнавал в парне себя самого. Сейчас, сколько ни старался, подобия не находил — ни в лице, ни в фигуре или манере держаться. И не понимал, почему. Должно же быть хоть что-то от меня, поражался Артур. Нельзя оставлять надолго семью, наши дети перестают нас копировать, решил он.

Мальчишка сходил в хижину, вынес лепешку, сел в стороне и принялся жевать. Артур снял с ветки крупный плод, вырезал в нем ножом отверстие и отдал сыну. Вернулся к своим мыслям. Теперь он считал, что оба они с Мартой слегка ненормальные. Неужели ей трудно было постараться понять его? А ему — объяснить еще раз, и как следует. Хотя, если говорить откровенно, Марта всегда любила ставить в дурацкое положение. Теперь она опять будет ждать, чтобы он первым сделал шаг к примирению. Знает, что Артур не любит затягивать ссоры. И он сделает этот шаг, потому что все вышло глупо.

Война с женщиной бессмысленна и бесперспективна, ее выиграть нельзя. Пора вывешивать белые флаги.

— Жюль, сынок, пойдем встретим мать. Ей тоже будет неприятно возвращаться в этой кромешной темноте.

Жюль послушно встал. Артур нацепил на плечо свою М-16 — не оставлять же под деревом, и они отправились.

В центре деревни стоял общинный дом из бамбука, щедро обмазанный красно-рыжей глиной. Рядом в кузове грузовика, под тентом, глухо тахкал

движок. Одна переносная лампа неярко освещала площадку перед входом, другая едва просвечивалась через опущенные жалюзи окна. Ходил часовой. Увидев Артура, он тут же подошел к двери и загородил ее собой. Все новички поначалу службисты. Со временем переиначится и этот, подумал Артур. Если, конечно, уцелеет.

Он отодвинул часового в сторону.

— Посторонись-ка, Фрэзер. И не смотри на меня такими глазами. Не станешь же ты стрелять в своих, Боб? Это последнее дело — стрелять в своих. Как ты считаешь? Поболтай лучше с моим парнем. Он завернут на регби.

Артур толкнул дверь и отвел рукой противомоскитную сетку.

Главное место в доме — алтарь для жертвоприношений, на этот раз он был пуст.

— Ты с ума сошел, Фрэзер! Убирайся отсюда, — послышался приглушенный, словно сдавленный, голос майора.

И Артур сразу понял, что значат эта тишина, накинутый на лампочку голубой носовой платок, пустые бутылки от виски и порожние банки из-под пива на полу, недоеденные яйца варана и фрукты на пластмассовой тарелке, набитый рюкзак с пристегнутым значком-портретом президента и спящая на рюкзаке обезьянка, привязанная тонкой цепочкой к лямке. И сразу за этой горой — два человеческих тела.

Девочка не может с собой справиться?.. Все зло на белом свете — от женщины, подумал Артур. А кто-то пытался убедить меня, что — и все добро.

Лица Марты он не разглядел, зато ярко белеет ее вывернутое колено и рука судорожно вцепилась майору в плечо. Не отрываясь от дела, тот прихлопнул злого тропического комара на бритой голове.

«Что-то неверно в моей теории. Почему я решил, что тот, кто запрограммирован на убийство, не может заниматься любовью? Майору это вроде не мешает. Хотя... Майор сам на курок не нажимает, заставляет других».

Ему захотелось немедленно бросить свое тело-машину, натренированное боями и суровым бытом джунглей, на обидчиков — майора, часового, который все знал и не предупредил. И среди них странным образом оказалась жена.

— Это не часовой, майор. Это я, Артур Бен. И у меня есть основания остаться здесь.

— Часовой! — заорал майор. И тотчас появился Фрэзер, испуганный, но готовый ко всему.

Однако Артур выстрелил первым. Куда было новичку тягаться с ветераном.

Когда Фрэзер тяжело рухнул, майор рывком бросил свое полураздетое тело в угол. Там, вероятно, у него лежало оружие. Но и ему пришлось уткнуться лицом в циновку. Рядом испуганно застыли чучела маленьких летающих драконов. Майор любил драконов и везде возил их с собой. Как и маленькую обезьянку на цепочке. Интересно, куда она теперь забилась, в какую дыру?

Следующей должна была стать Марта. Она не пыталась защититься, только одернула платье и смотрела снизу прямо и осуждающе. Артур собирался взять с нее слишком большую плату за рядовой фронтовой адюльтер.

Она видела, как он был хорош, ее Ар-туррр — заматеревший на своей войне крепыш в униформе, на загоревшем лице которого читалась только жестокость. Она различила его сузившиеся глаза, как за прицелом, и понимала, что он уже не контролирует себя, что, скорее всего, просто убьет ее, прямо сейчас. Все шло к этому. Ее лицо в ожидании выстрела исказила болезненная гримаса, глаз бил нервный тик.

Марта догадывалась: человеку, который однажды перешагнул черту, пополнил сонм богоотступников — начал убивать себе подобных — живых людей, а выше их только Бог, тяжело остановиться, стать прежним.

Артур тоже знал, что убьет ее, свою Марту. Слишком несправедливо она обошлась с ним. И слишком все плохо сложилось для них обоих. На его совести майор и часовой, этого ему никто не простит. Так почему должен простить он?

«Я был неправ, когда думал, что все для меня кончилось тогда, за телом Джимми Брауна. Вот когда по-настоящему мне пришел конец».

И он поймал себя на мысли, что позавидовал майору, который овладел его женой, — нормальной мужской завистью. Это окончательно растоптало его в собственных глазах. Мало того, что Марта и майор прилюдно унизили его, так он сам вдобавок растоптал себя этой подловатой завистью. И он не понимал, кого сейчас ненавидит больше — майора или себя.

Впрочем, все — и стыд, и зависть, и злость — были обрывками мыслей и чувств, а не мыслями и чувствами. А сам он проваливался в какой-то вакуум вокруг себя, в трясину безмыслия.

Марта смотрела по-прежнему упрямо и осуждающе. Она видела мужа со стороны: обезумевшего, что-то тупо соображающего и готового еще раз нажать на курок. Это был не ее Артур. Это другой человек, не способный ее понять и простить. Почему люди так меняются на войне? Майор, который был любезен в прошлый ее приезд, сегодня тоже показал себя не с лучшей стороны. Если бы Артур захотел, он смог бы понять, что майор взял ее силой. Для этого ему пришлось ударить ее. Весь вечер майор так много пил.

Но Артур не увидел или не захотел увидеть. Они слишком часто не понимали друг друга.

«Зачем понадобилось ехать на самый край света, чтобы наставить мне рога? Не захотела сделать это дома? Или нужно было, чтобы я это увидел? Может быть... Ну да, да, разумеется, она все же мстит мне за ту случайную девчонку с островов. Осознанно или нет, но мстит. Вспомнилось пророчество электронной гадалки еще из университетского компьютера: «Твой враг не в темноте, а в свете». Это значит, не в джунглях, а здесь, в освещенной скупой лампочкой от походного движка хижине? Значит, враг номер один — жена? А что, в этом что-то есть. Жена и друг номер один, и враг номер один, потому что знает все твои слабые места.

Тот негатив, который копился годами между мужем и женой, он никуда не уходит, он накапливает в себе силу динамита. И горе тому, кто дождался взрыва. Надо же, он догнал меня здесь».

Он споткнулся о ее взгляд — колючий, отталкивающий. Он, наконец, увидел ее глаза, и то, что прочел в них, почему-то не отрезвило.

Наконец... наконец раздался еще один выстрел. Тот, который решил все дело.

Секунду спустя Артур Бен медленно, преодолевая нарастающий шквал боли, разорвавшей его тело, обернулся, чтобы посмотреть на того молодца, который сумел всадить в него пулю. В распахнутой двери бамбукового домика, придерживая одной рукой противомоскитную сетку, стоял бледный как полотно Жюль, и в другой его тонкой, детской еще руке ходил ходуном трофейный пистолет.

Боже милосердный, мысленно простонал Артур, до чего дошло! Значит, малыш все видел и все правильно понял. До чего дошло!

Лицо сына расплывалось в белое бесформенное пятно, и Артур прислонился к зыбкой стене. Как же больно, как больно!

— Договорился ли ты со своим Богом, малыш? — хотел спросить он у сына.

И хотел прошептать ему, что у французского партизана вырос вполне решительный правнук. Но не смог, язык его не слушался.

«Почему авторы нового педагогического постулата решили, что дети рождаются не для нас? Жюль убил меня и тем самым спас свою мать. Так что пригодился».

Конечно, он еще успел бы наказать мальчишку за его глупость. Но он решил, что не сделает этого. Лет десять назад, когда Артур возвращался с работы, Жюль всегда встречал его у двери. Такой же тоненький (неважно, что он теперь подрос, он все равно тоненький). Жюль забирался к Артуру на руки, прижимался тугой щечкой к щеке отца, и они молча носили свою радость по комнате или сидели у окна. Та радость помнилась Артуру всегда, и в ненавистных джунглях тоже. Это было почти единственное хорошее, что он помнил о прежней жизни. Как жаль, что она уже никогда не повторится. Ни-ког-да!

«Я не научил тебя жить, малыш, мы слишком долго не были вместе. Я должен хотя бы показать тебе, как следует умирать». По лицу солдата, искаженному болью, текли слезы.

Ему захотелось дотронуться до сына, опять ощутить упругость детской щеки, он через силу приподнял руку. Жюль еще больше напрягся, но не выстрелил. Теперь, когда они с отцом встретились взглядами — настороженными, испуганными, но где-то в своей далекой глубине любящими, — он не мог опять выстрелить.

И ему на всю жизнь запомнился отец, протянувший ему свою руку после того, как он в него стрелял.

Артур не почувствовал, как разжались пальцы и из правой руки выскользнула автоматическая винтовка. Он все пытался разобраться в обрывках мыслей и хорошенько разглядеть лицо Жюля. Мальчишка, пришло в голову, успел вовремя. Опоздай он на минуту, остался бы совсем один на белом свете. Только странно: *что* в его годы нужно было знать о жизни, чтобы понять все сразу? Выходит, знать следовало *все*.

Из-за спины сына ему еще раз лукаво подмигнул растрепанный местный божок.

Однако, решил Артур, умирая, людям есть о чем подумать. В жизнь пришло новое поколение стрелков.

И в иные, далекие миры он уносил в обрывках памяти не лицо красивой женщины, которую, кажется, звали Мартой, а переполненные ужасом глаза мальчика.

Он падал и уже в предсмертном бреду видел, как по темной стенке бамбукового домика яркой неоновой ленточкой бежали слова: «Людям есть о чем подумать». Он явственно услышал всхлипы саксофона и воинственную дробь ударника, и Марта почему-то весело запела своим сопрано, которое так нравилось многим: «Людям есть, есть, есть о чем поду-у-мать». А по наклонному потолку бамбукового домика бежала еще одна неоновая ленточка, теперь не желтая, а голубая, и уже с другими словами: «Наш Бог — страх! Наш Бог страх! Наш Бо-о-о-г..» Перед глазами появилась девчонка с обложки журнала, она ожила, сняла купальник и попыталась прикрыть им безобразную дырку на животе, обнажив грудь. И Артуру стало легче падать, не так больно.

«Людям есть, есть, есть о чем поду-у-мать...»

## 4

Майор и Фрэзер получили свои цинковые ящики и улетели домой. Артура Бена жена похоронила все в той же безлюдной деревушке, под одиноким манговым деревом. Командование не захотело его возвращения на родину вместе с другими убитыми в боях и захоронения с неминуемыми в таких случаях почестями. На холмике на его могиле «береты» без лишних слов поставили самодельный бамбуковый крест. И из чисто мужской солидарности выпустили в небо несколько длинных тревожных очередей из пулемета. Тах-тах-тах-тах... Вот вам, неверные жены, вот вам! И тем, кто уже предал, и кто еще предаст. От мужей-фронтовиков. Тах-тах-тах-тах-тах...

Ох-ох-ох-ох, — ответило эхо джунглей.

Марте пришлось прервать гастроли и немедля вернуться на родину. Она боялась за сына.

Она очень боялась за сына.

В те несколько дней, которые батальон оставался в деревне, по вечерам у холмика над могилой Артура Бена можно было видеть задумчивого сержанта. Кучерявый негр качал головой и что-то сам себе говорил. Его зацепил мальчуган, сын Артура, и теперь сержант размышлял, кем вырастет после войны этот мальчишка, одновременно похожий на мать и отца.

Военная полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту убийства рядового первого класса Артура Бена. Никому не хотелось пятнать мундир джи-ай. Смерть Бена списали на перестрелку в джунглях.

*P. S.* Артур уже никогда не узнает, что группа из Беркли после возвращения из поездки стала на своих концертах осуждать войну. Марта, когда буря в ее душе начала утихать, продолжала петь, но репертуар ее изменился. Все чаще пела она задумчивые, грустные негритянские песни. И те из зрителей, кто слышал ее историю, а таких было много, плакали.

Артур не узнает, что после окончания войны ветераны его батальона столкнутся с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и будут лечиться с помощью собак. Иные с помощью лошадей.

И ему не дано было знать главного. Его страна не выиграет эту затяжную войну, войска уйдут, в оставленную деревню вернутся крестьяне. И не потерпят могилу чужого солдата рядом со своими хижинами. Завязав носы тряпками, они выкопают Артура Бена и бросят его тело в джунгли.

И с ним случится то, чего он боялся больше всего, когда прятался за Джимми Брауном.

Прости их, Артур. Но ты ведь тоже хорош — ты не хотел смотреть им в глаза.





Ольга БЕЛОВА

# *Я теряю себя...*

* * *

Ты молчишь.
Для тебя я — иллюзия,
как ландыши в феврале.
Но в рамках твоей нефантазии
скучно мне.

Ты молчишь,
мечтая о споре:
демократия и правители.
Очередная пустая ссора.
Будь победителем.

Ты молчишь,
слушая пение:
выступает новый герой.
Я тону в «Круге чтения».
Лев Толстой. Том второй.

Ты молчишь.
Я тобою любима?..
До трех ночи спорим, крича
безостановочно, невыносимо
из-за... квадрата Ма-ле-ви-ча!

Ты молчишь...
Зарастает пылью
наше яркое, страстное чувство.
Твои примитивные фильмы
и нелюбовь к искусству.
На душе моей пусто.

## Ты

Жжет ладони огонь твоих пальцев.
Окунаюсь в бесстыдство ночи.
Это ты

заставляешь забыться,
заставляешь остаться.

Отрекаюсь, себя на куски разрывая.
Примеряю лохмотья, сжигаю мечты.
Я теряю себя,
безвозвратно теряюсь.
Ты разрушил мой мир,
мир моей красоты...

Теперь все — для тебя.
И мой мир —
только ты...

* * *

Он памятник воздвиг себе рифмотворенный
из самого себя, для самого себя.
И в каждом уголке его душонки темной
сидят и жаждут славы крысы: «я», «Я», «Я».

## Актриса

Орхидея в майонезном ведерке.
Эстетика попрана. Нищета?
Задернуты цветастые шторки.
А она
в жалкой каморке,
своей нет гримерки.
Меряет дни окурками,
вдохновение — строчками,
отношения — запятыми,
иногда — точками.
И улыбается всем назло,
чтобы судачили: «Повезло!»

## Обойдемся без взаимных претензий

Мама, давай обойдемся без взаимных претензий,
где слова — не джиллетовские щадящие лезвия,
а советский станок, рвущий безжалостно кожу.
Мама, прости, больно: мы так похожи!

Выбирая сильных мужчин, плачемся: не подкаблучники.
Искренне верим: впереди — самое яркое, самое лучшее.
Годы ложатся в ряд морщинами на лице,
экономили на дорогих кремах — сэкономили на красоте.

«Если бы молодость знала, если бы старость могла…»
Боже, какие глупости, мама! Когда?.. Когда
мы начнем жизнь по-новому, с понедельника или с пятницы?
На двоих — четыре высших. Причитаешь: вроде не пьяницы,

не везет: сглаз, родовое проклятие или приворот.
Мам, брось эти глупости у шумерских семи ворот.
Давай разберемся в узком кругу семьи,
исповедуясь друг перед другом в своих, семи.

Огромные списки близких, соседей, коллег,
скольким косточки перемыли — не отмыться вовек.
Мам, посмотри: за окном выпал снег, первоапрельский снег.
Не веришь? А зря... никогда не верила в мой успех.

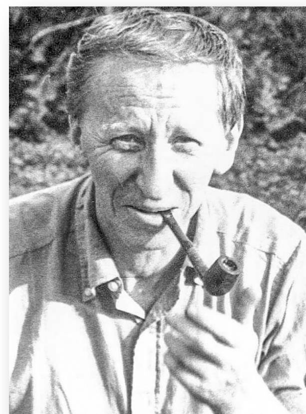
Прибивала к земле гвоздями середнячковости,
заглушая голос юности, смелости
(да, да, знаю, во мне — отсутствие совести),
прививая скучно-советское «жить и работать как все»,
до рвоты кататься на этом чертовом жизненном колесе;

во всем винить обстоятельства и судьбу,
на чужие плечи перекладывать (часто свою!) вину.
Не принимать самостоятельно важных решений,
бояться плыть против течения, плевать на людское мнение.

Мама, сколько потрачено лет на пустые ссоры:
крики, всхлипывания, вранье, бесполезные разговоры?
Страшно вспомнить шаги до обоюдного понимания,
прости за ночи бессонные, за твои неисполненные желания.

Взбалмошная, безрассудная. Дочь у тебя междустрочная.
Помнишь когда из клуба без предупреждения — в Сочи?
Прости за седые волосы, знаю, я — твоя катастрофа.
Оторвись от сериала, пожалуйста, и прочитай эти строфы.





Джо АЛЕКС

# *Ты всего лишь Дьявол*

*Роман*

***Мерлин.*** *Остановись, невольник черный ночи!*
***Дьявол.*** *Я сокрушу тебя, несчастный. Здесь смерть свою найдешь ты!*
***Мерлин.*** *Ты слишком слаб — ведь ты всего лишь Дьявол.*
*Отбрось обличие людское и уйди,*
*змеей пятнистой ползая на брюхе!*
*Моих заклятий сила правит даже адом.*
*Ты первый мощь их ощутишь!*

(Гром и молния над скалами. Скала поглощает Дьявола.)

*«Рождение Мерлина»*
*Акт V*
*Сцена I*

По всей видимости, пьеса создана и поставлена в 1612 году. В заголовке первого издания in quarto стоит: «Написана Вильямом Шекспиром и Вильямом Роули».

## Глава I

## Первое упоминание о Дьяволе

Краем глаза Джо Алекс увидел неподвижно стоящего в дверях Хиггинса, который тихонько кашлянул. В ту же секунду доктор Ямамото поднял нож и легко прыгнул вперед.

Джо Алекс мгновенно уклонился и одновременно попытался перехватить вооруженную руку. Он даже коснулся пальцами ее локтя, но опоздал. Маленькое, почти неуловимое движение кистью, и нож ударил в грудь на уровне сердца. Раздался глухой, тихий треск.

— Безнадежно! — Джо Алекс сел на твердом спортивном мате, обитом темной кожей и покрывающем всю поверхность пола в комнате без мебели. — Я никогда этого не пойму! — Он вытер пот со лба. — Вы лишаете меня радости жизни, доктор. Обучив всем приемам самозащиты, вы в итоге доказываете, что со мной можно справиться, как с ребенком.

— Когда ученик превзойдет учителя, учитель должен вернуться в школу. — Японец развел руками, словно извиняясь перед хозяином за то, что не может позволить ему победить себя. — Но я вас прекрасно понимаю. Это, конечно, вопрос самолюбия. И хотя человеку свойственно стремление к совершенству, мы обычно достигаем его на очень ограниченном участке, если вообще достигаем.

Я, например, при всем желании не смог бы написать ни одной главы любой из ваших столь многочисленных и столь занимательных книг. — При этом он слегка поклонился, и хотя его костюм состоял всего лишь из коротких обтягивающих штанишек, поклон выглядел таким церемонным, будто твердый воротничок манишки фрака мешал ему плавно выполнить движение. — Вы делаете большие успехи, — добавил он после короткого раздумья. — Со всей скромностью — ибо я являюсь вашим тренером, — могу заявить, что вы сумеете избежать даже неожиданного удара ножом и обезоружить любого, кто попытается выстрелить в вас с близкого расстояния. Я, разумеется, имею в виду обыкновенных людей, если можно назвать обыкновенными тех людей, которые в повседневной жизни употребляют нож и пистолет. Тем не менее, в мире существует большая группа специалистов — а к ним я причисляю и мою скромную особу, — которые всегда вас опередят. Но насколько я знаю, никто из этих людей не занимается нападением на мирных прохожих. — Пальцами левой руки он вытащил из обтянутой замшей рукоятки лезвие учебного ножа. — Попробуем еще раз?

Стоящий в дверях Хиггинс чуть шевельнулся и кашлянул второй раз. Джо посмотрел в его сторону.

— В чем дело, Хиггинс?

— Я только что принял телефон для вас, сэр.

Джо поднял брови.

— Как! Я ведь сказал, что меня ни для кого нет дома!

— Да, но... — Хиггинс на мгновение заколебался. — Конечно, я не сказал, что вы дома, но я позволил себе подумать, что, возможно, будет лучше поставить вас в известность, кто звонит. У телефона вас ждет сэр Александр Джилберн. Он сказал, что не знаком с вами лично, но поскольку при этом добавил, что у него очень важное дело, то я подумал: быть может, вы сами захотите решить, дома вы или нет... — Он снова кашлянул и умолк.

— Джилберн? — переспросил Алекс. — Не тот ли юрист? Мне кажется, именно его зовут Александр?

— Да, сэр. О нем постоянно пишут в газетах. Это выдающийся адвокат. Именно потому, что он столь известная личность, я позволил себе... Должен ли я ответить, что вас нет?

Джо посмотрел на Хиггинса с тайным восхищением, которое ощущал ежедневно, с тех пор, как этот худощавый тихий, седеющий слуга начал вести хозяйство в его новой квартире. Хиггинс казался абсолютно безошибочным. Он был настолько безукоризненным, что даже вызывал чувство неполноценности. Кроме того, он был необыкновенно образованным человеком.

Джо покачал головой.

— Нет. Думаю, что мне, пожалуй, следует с ним поговорить. — Он взглянул в сторону Ямамото. — Я должен извиниться перед вами, доктор. Насколько я знаю, мистер Джилберн не относится к людям, которые беспокоят по пустякам. — Джо подошел к стене и, сняв с вешалки халат, набросил на плечи. — Интересно, чего может хотеть от меня такой человек?

Вопрос, на который никто из присутствующих по вполне понятным причинам не ответил, растворился без эха среди стен, обитых толстыми матами. Алекс задержался в дверях.

— Не хотите ли стакан апельсинового сока, доктор? Наверняка вы успеете его выпить, пока я вернусь.

Доктор серьезно кивнул головой. Хиггинс посмотрел на потолок и слегка поклонился:

— Со льдом или безо льда, сэр? — Его лицо не изменило своего обычного выражения, но Джо, переступая порог, улыбнулся, — ни титул

доктора, ни безукоризненные манеры японца не были в состоянии убедить Хиггинса в соответствующем общественном положении гостя, который одет в короткие штанишки.

— Безо льда, если можно, — сказал Ямамото и, встав на руки, начал спокойно, без всякого видимого усилия прохаживаться по комнате.

Хиггинс тихо закрыл за собой дверь.

Тем временем Джо подошел к телефону, стоящему на крышке старинного сундука в холле.

— Слушаю. Алекс у телефона.

— Моя фамилия Джилберн, — прозвучал на другом конце провода низкий, красиво модулированный голос. Потом наступила короткая, едва уловимая пауза, будто адвокат после сообщения своей фамилии надеялся услышать какое-либо подтверждение тому, что фамилия эта знакома Алексу. Но Джо молчал, а пауза была настолько короткой, что это почти не имело никакого значения. — Прежде всего, я должен извиниться, что беспокою вас в столь ранний час без письменного предупреждения. Но события, которые... — Снова наступила пауза. — Я вам не помешал?

— Нет, нет. Сейчас я не занят. Чем могу быть полезен?

— Если это не причинит вам излишних хлопот и если вы поверите, что моя навязчивость продиктована действительно серьезными обстоятельствами, я прошу вас уделить полчаса времени для беседы по очень важному для меня делу. Разумеется, повторяю, если...

— Понимаю, — ответил Джо, хотя пока понимал только, что должен будет провести часть этого жаркого дня иначе, чем запланировал. — Не могли бы вы приехать ко мне через час, если это вас устроит?

— Вполне устроит. Чем скорее, тем... — он снова умолк. — Если вы ничего не будете иметь против, я приведу еще одного человека, так же, как и я, заинтересованного темой моей беседы с вами.

Джо еще раз ответил, что не возражает, сэр Александр еще раз извинился за беспокойство и повесил трубку.

Несколько секунд Алекс стоял неподвижно, глядя на умолкший телефон. Несмотря на гладкость произнесения обычных слов вежливости, он уловил в голосе собеседника нотку напряжения.

Джилберн уже много лет слыл одной из самых ярких звезд лондонской адвокатуры. Его считали блестящим защитником по уголовным делам, и до того дня, когда в Объединенном Королевстве была отменена смертная казнь, он спас от виселицы стольких людей, которые, казалось, уже чувствовали прикосновение петли к своей шее, что преступный мир дал ему прозвище «Скорая помощь». Несмотря на это, все знали, что Джилберн никогда не брал на себя защиту преступников, заслуживающих, по его убеждению, высшей меры наказания. И хотя на первый взгляд Алекс и Джилберн стояли на противоположных полюсах, ибо один преследовал, а другой защищал преступников, Джо давно хотел познакомиться с этим необычным человеком, об уме и способности к точным логическим умозаключениям которого он так много слышал. Однако до сих пор их пути ни разу не пересеклись. Чего же мог хотеть от него известный адвокат? Простейшим решением, которое само напрашивалось, могла быть просьба о помощи в одном из дел, которые вел Джилберн. Возможно, обстоятельства были слишком запутаны, а сэр Александр, уверенный в невиновности своего клиента, хотел любой ценой спасти его и не мог сам справиться. Но в голосе, который Алекс только что слышал, звучало напряжение, вызванное скорее каким-то личным переживанием...

«Ну ладно, что это я? Через час все прояснится», — сказал себе Джо и направился в гимнастический зал. Он был задумчив и в глубине души злил-

ся на себя. Алекс всегда был уверен, что его ничем нельзя заинтриговать. Но этот звонок вывел его из равновесия. Такой человек, как Джилберн, не придет поболтать о каких-то пустяках. Дело наверняка серьезное. Но как назло именно сейчас Джо Алекс мечтал, чтобы ничего серьезного не возникло на его пути. Необходимо было уладить массу личных дел, отнюдь не связанных с миром преступлений.

Доктор Ямамото сидел на мате, скрестив по восточному обычаю ноги, и маленькими глотками пил фруктовый сок.

— Я надеюсь, что вы не обидитесь, доктор, если на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Меня ожидает серьезная встреча. Впрочем, наши два часа, кажется, уже истекли, не так ли?

Ямамото встал, поставил стакан на подоконник и посмотрел на лежащие там старомодные карманные часы.

— Осталось еще двенадцать минут, — заметил он, — но мы можем восполнить их в следующий раз. Вы, кажется, упоминали вчера, что хотите сделать недельный перерыв в занятиях?

— Да, — подтвердил Джо, — у меня есть кое-какие обязательства по отношению к моему издателю, и я вынужден провести несколько ближайших дней за письменным столом. А потом я хотел бы выехать за границу еще на несколько дней, если позволят обстоятельства.

— Это хорошо, — кивнул японец, — думаю, что нам надо сделать перерыв в занятиях. Я опасаюсь возникновения у вас того, что спортсмены называют «перетренировкой», и поэтому предлагаю: давайте назначим нашу встречу не через одну, а через две недели.

Беседуя о дальнейших стадиях проникновения в тайны искусства дзюдо, они направились в сторону ванной с двумя душевыми кабинками. Алекс повернул кран, и они вошли под сильные струи контрастного душа.

— Да! — крикнул Ямамото, заглушая шум воды. — Даже сейчас вы уже можете никого не опасаться! Но неужели у вас действительно возникали опасения? Ведь герои детективных романов не сходят со страниц книг и не бросаются на автора!

— Это верно… — согласился Джо, массируя плечи жесткой волосяной рукавицей. — Но бывает и так, что сначала я встречаю моих героев в жизни и лишь потом, когда они уже становятся безопасными для меня, переношу на страницы книг.

Ямамото вышел из-под душа и, встряхнувшись, потянулся за купальной простыней.

— Я слышал кое-что, но не знаю, сколько правды в том, что о вас рассказывают. Руководя моей школой дзюдо, я поддерживаю контакты с полицией и разными удивительными людьми. О вас много говорят в некоторых кругах.

— Чем больше, тем лучше! — Джо рассмеялся, тоже вышел из-под душа и начал вытираться. — Это очень приятно, когда о нас говорят. Все мы по-своему тщеславны, не правда ли? Даже когда безумно не любим свою работу. Я, например, не написал бы в своей жизни ни одной страницы детективной повести, будь у меня другой источник дохода.

— Это была бы невосполнимая утрата для любителей литературы такого рода. — Японец слегка склонил свою мокрую, коротко стриженую голову. — Но я имел в виду не ваши произведения. Я думал о том исключительном таланте, который вы предоставили к услугам полиции. На мой взгляд, вы относитесь к людям, наиболее уважаемым у нас на Востоке: к тем, кто всегда стремится отыскать истину, независимо от того, в какой области судьба предназначила им трудиться. «Тот, кто ищет правду, — плывет по священной реке». Простите мне эту мудрость, часто цитируемую в

настольных календарях. Говорят, что вы можете разгадать любую детективную загадку.

Джо снова рассмеялся.

— Конечно могу! — сказал он с обезоруживающей простотой. — Пока, во всяком случае, я разгадал все. Быть может, потому, что настоящие преступники гораздо примитивнее тех, которых можно придумать. В воображении автора детективных романов существует теоретически бесконечное множество комбинаций и стечений обстоятельств, затрудняющих решение. Тем временем жизнь значительно сужает рамки преступления и упрощает проблему, а ошибки убийцы становятся его визитной карточкой. Достаточно лишь исключить несколько тех или иных возможностей, и преступник предстает в полном блеске, как манекен вечером, на освещенной витрине. — Джо опять рассмеялся. — Теперь вы, наверно, пришли к выводу, что, быть может, я и плыву по священной реке, но паруса мои вздымает ветер тщеславия. К сожалению, ничего не могу поделать, но именно так складываются до сих пор мои взаимоотношения с миром преступлений. Я твердо убежден, что нет преступника, которого нельзя разоблачить…

Джо развел руками, будто извинился, потом взял расческу и начал причесывать мокрые волосы.

— Однако, — сказал доктор Ямамото, — существует возможность, — он замялся, — я забыл, как звучит это определение... На моей Родине оно неизвестно. Я имею в виду преступление... преступление...

— Идеальное?

— Вот именно! Идеальное преступление... Насколько мне известно, это такое преступление, в котором убийца не оставил для следствия ни малейшей зацепки, не так ли?

— Да. Но такое преступление невозможно. Его должен был бы совершить человек, имеющий абсолютное алиби и такой мотив убийства, который никто не мог бы обнаружить или догадаться о его существовании. А самое главное — нужно, чтобы полиция не могла установить, как было совершено это преступление. В противном случае остался бы след, потому что способ совершения преступления уже сам по себе является очень интересным следом, который сразу же исключает большое количество лиц и бросает подозрение лишь на некоторых. Таким образом, идеальное преступление непременно было бы преступлением, которое *исключает всех возможных убийц*, что уже в самом принципе является абсурдом. Ведь не может возникнуть ситуация, в которой убийство совершено и никто не мог его совершить.

— Признаюсь, я вас не совсем понял. Не могли бы вы привести какой-нибудь пример подобной ситуации?

Алекс на секунду задумался.

— Приведу самый простой. Представим себе, что есть комната всего лишь с одной дверью, которая заперта изнутри на ключ. Окна тоже закрыты, нигде нет ни малейшей щели и никакого тайного хода. И вот внутри этой комнаты убит человек... Ну, скажем, — выстрелом с близкого расстояния. Чтобы избежать ненужной игры воображения, представим, что несколько человек услышали этот выстрел и немедленно взломали дверь. Вот это и было бы идеальное преступление: труп в закрытой изнутри комнате, в которую никто не мог войти и из которой никто не мог выйти... — Джо умолк и набросил на себя халат. — Дело в том, что преступление, обстоятельства которого *исключают всех возможных убийц, должно исключить вместе с ними и действительного убийцу.* К счастью, такое преступление мог бы совершить один лишь ДЬЯВОЛ... Конечно, у людей, которые хотят избавиться от кого-нибудь из своих близких, возникают порой совершенно

неслыханные идеи… Но по вполне понятным причинам эти идеи не имеют ничего общего с идеальным преступлением: люди не могут действовать вне законов пространства и времени. Поэтому я не верю в идеальное преступление так же, как не верю в Дьявола!

— Я вижу, вы много размышляли об этом, — улыбнулся доктор.

— Да. Я пытался как-то написать книгу, в которой мой герой-детектив потерпел бы поражение. Я хотел придумать такое преступление, перед которым самый гениальный мозг следователя оказался бы бессильным. И не смог. Я хотел дать разгадку при помощи предсмертного письма, написанного убийцей, который… ну, скажем, умирал от рака и перед тем, как покончить жизнь самоубийством, решил послать в полицию подробное объяснение того, как он совершил убийство. Увы... К сожалению, ничего такого невозможно придумать... Никто еще не написал такой книги и никто никогда ее не напишет.

— Понимаю, — Ямамото склонил голову. — Эта проблема представляется чем-то вроде квадратуры круга.

— Совершенно верно. Должен признаться, что все это стоило мне нескольких бессонных недель. Такая книга была бы беспрецедентной в истории детективной литературы. Наконец я пришел к выводу, что без помощи сверхъестественных сил такое преступление совершить невозможно. Поэтому я оставил его Дьяволу и выбросил свои наброски.

Но Джо Алекс ошибался, ибо уже ближайшая страница в книге его жизни содержала встречу с Дьяволом и с идеальным преступлением.

Но об этом еще не знал даже сам Дьявол.

Потому что Дьявол не верил в Джо Алекса, точно так же, как Джо Алекс не верил в Дьявола.

## Глава II

## Второе упоминание о Дьяволе

Несмотря на интерес, вызванный звонком Джилберна, Джо, одеваясь, думал не о нем и не о предстоящем визите, а о своих глубоко личных делах, куда в последнее время вкрался все нарастающий хаос.

За окном свирепствовала жара. В Греции в это время года было, вероятно, еще жарче. Но в Греции воздух совсем иной, чем в Лондоне, прозрачный, пахнущий водорослями теплого южного моря и насыщенный неуловимым сухим ароматом, который излучают разогретые солнцем скалы. В Греции была Каролина. Она копалась в земле где-то на Пелопоннесе, разыскивая маленькие глиняные черепки, испещренные непонятными значками.

Ранняя критская письменность, до сих пор не расшифрованная и не понятая, лежащая непроницаемым барьером между современностью и далеким прошлым этого древнего народа, была самым страстным увлечением в жизни этой прелестной девушки, которая, в свою очередь, была самым страстным увлечением в жизни Джо Алекса. Джо не знал, любит ли его Каролина. В Лондоне они были неразлучны, повсюду появлялись вместе, вместе уезжали и вместе устанавливали свою красную шелковую палатку в Альпах, Норвегии, Португалии или Южной Франции. Но когда однажды, после возвращения в Лондон, Джо серьезно заговорил о браке, Каролина быстро и решительно переменила тему разговора. Она твердо защищала свою независимость, а слово «жена», казалось, вызывало у нее страх. Во всем же остальном ее можно было бы назвать лучшей из жен,

хотя жила она отдельно, и бывали периоды, когда он не видел ее целыми неделями. Это случалось, когда ее целиком увлекала работа. Тогда она закрывалась в своей квартире на ключ и выключала телефон, а ее домработница, старушка миссис Даунби, отвечала через дверь, что хозяйки нет дома и неизвестно, когда она вернется. А все потому, что Каролина Бикон, несмотря на свои двадцать пять лет, была уже известным ученым, с мнением которого начинали считаться седовласые специалисты.

Алекс испытывал холодную ненависть к древним жителям острова Крит и их диковинной письменности. А все потому, что, хотя он и был одним из наиболее известных авторов детективных романов и одним из самых выдающихся теоретиков криминологии, другом и соратником аса Скотленд-Ярда, суперинтенданта Бенжамина Паркера, — самому себе он, Джо Алекс, казался какой-то гротескной фигурой.

Причина этого странного положения вещей была относительно проста: Джо писал детективные повести, но сам их терпеть не мог. А писал он их потому, что они приносили большой доход, и кроме того, — он не умел делать ничего другого.

В начале войны, почти мальчишкой, он поступил в авиацию, а потом, когда военные действия окончились, очутился беспомощным на лондонской мостовой с ничтожной суммой армейского выходного пособия в кармане. Не зная, что делать, он решил рискнуть и написать детективную повесть. Написал и отнес к издателю. С тех пор его жизнь стала одной непрерывной чередой успехов в этой области. В итоге, уже через пару лет это принесло ему неплохое состояние.

Остальное было случайным стечением обстоятельств. Бенжамин Паркер, который во время войны был членом экипажа бомбардировщика, пилотируемого Джо Алексом, случайно обнаружил в своем друге огромный талант следователя, когда они оба стали перед лицом зловещих обстоятельств смерти их общего друга Иэна Драммонда[1]. С тех пор Джо принимал участие во многих знаковых расследованиях Скотленд-Ярда и приобрел подлинную славу, распутав, исключительно при помощи логических рассуждений, несколько сложных дел, перед которыми полиция со всем своим аппаратом совершенных методов исследования, архивами и оборудованием оказалась бессильной. Дактилоскопию, химические анализы и прочие современные методы расследования Алекс считал лишь второстепенными факторами в процессе расследования. Он был убежден, что преступление рождается в человеческой душе и только там необходимо последовательно искать решение. А единственной лабораторией, которая может помочь в этих поисках, был его собственный мозг. Обычно мозг этот оставался в одиночестве на опустевшем поле боя, после того как весь арсенал новейших методов исследования не мог уличить ловкого преступника.

И хотя пресса всей страны, включая маститый «Таймс», посвящала Алексу в последние годы достаточно много места; и хотя слава его становилась постепенно универсальной, ибо им интересовались все: от министров до священников и от школьников до одиноких старушек-пенсионерок; и хотя имя его стало обрастать легендами, где правда смешивалась с фантастическими вымыслами, — мисс Каролина Бикон оставалась на удивление равнодушной к его славе. Они знакомы уже три года, и Джо должен был признать, что, по крайней мере, два из них он думал о ней ежедневно.

[1] Иэн Драммонд во время войны был третьим членом экипажа бомбардировщика Алекса. Впоследствии стал крупным ученым-химиком и был убит при загадочных обстоятельствах. Расследование убийства Иэна Драммонда составляет сюжет повести Джо Алекса «Скажу вам, как погиб он...» (*Прим. переводчика*).

Часто он с тревогой размышлял, не в этом ли безразличии Каролины к его успехам кроется подлинная причина его привязанности и беспокойства. Правда, она даже прочла несколько его книг, но ее умеренная похвала вызвала в нем только чувство жгучего стыда. Она всегда каким-то неуловимым образом давала ему понять, что не считает все это серьезным занятием для интеллигентного человека, возраст которого уже давно перевалил за тридцать. Каролина относилась к его книгам и к сотрудничеству с Паркером как к развлечению, наверно интересному, и наверно полезному, но совершенно несерьезному. И хотя между ними никогда не заходила об этом речь, Джо знал, что ковыряние в своих проклятых черепках Каролина считает настоящей работой, а все, что он делал и чем занимался, могло в ее глазах заполнять жизнь и занимать воображение в лучшем случае пятнадцатилетнего подростка.

Но наихудшим было то, что в глубине души он признавал ее абсолютную правоту. Ибо, вопреки внешней видимости, Джо Алекс был тихим человеком, любящим поэзию и хорошую музыку, он изучал историю древних культур и мифов (за исключением, разумеется, Критских), архитектуру, историю, нравы и все то, что составляет видимый след, оставленный человеком на протяжении веков. И хотя, в определенном смысле, ему жилось хорошо, потому что высокие доходы позволяли путешествовать по всему миру и оставляли много времени для самообразования, — он, однако, отдавал себе отчет в горькой ироничности своей ситуации. Огромного количества собранных наблюдений и выводов он так никогда и не обобщил ни в одном более-менее серьезном труде, хотя, например, в одной из узких тем, определенной им как «История Дьявола на земле», он ориентировался гораздо лучше большинства специалистов, занимающихся верованиями и социальным фоном усиления веры в Злого Духа в различные исторические эпохи и в различных частях света. Если бы в этой области он сумел упорядочить огромное количество своих заметок, снимков и коллекций, — мог бы возникнуть монументальный труд, не имеющий до сих пор прецедента. Но он не сумел. Постепенно Джо стал привыкать к мысли, что навсегда останется лишь свидетелем в этой жизни и не оставит после себя никакого значительного следа. Просто он никогда не умел делать ничего, что давалось бы ему с трудом и требовало больших усилий. А может, к своему несчастью, он слишком много зарабатывал тем, что делал с необычайной легкостью?

Но никому, даже суперинтенданту Паркеру, он никогда не признавался, что почти с такой же легкостью дается ему решение и тех детективных задач, которые подбрасывала реальная жизнь.

Итак, Джо Алекс был знаменит, но не был счастлив. Стоя в эту минуту перед зеркалом и завязывая галстук, он думал о Каролине, о Греции и о том, что в эту минуту лучше всего было бы все бросить, сесть в самолет и слетать к ней туда хоть на пару дней. Два-три дня с Каролиной, под июльским солнцем Средиземного моря — это все, чего ему хотелось. Джо соскучился по ней.

Каролина уехала месяц назад по заданию своего исследовательского института, когда пришло известие об открытии табличек с иероглифами в одной из древних критских крепостей на Пелопоннесе. В Афинах он нанял бы машину... Потом дорога вдоль морского побережья… Мегара, Коринф и длинное белое шоссе, пролегающее через широкую долину на юг, в сторону гор...

Но, к сожалению, издатель ждал. Алекс обещал, что сдаст ему книгу в течение ближайших двух недель, а готовы были пока лишь несколько первых страниц. Джо не любил нарушать обещания. Надо остаться. Но

если бы... Если бы он успел в течение недели закончить, тогда... Ведь план каждой главы, разработанный в мельчайших подробностях, уже готов.

С минуту он задумчиво стоял, тихонько посвистывая. Потом быстро завязал галстук и решительно снял телефонную трубку. Закрыв глаза и стараясь не думать ни об одном из тысячи препятствий, продиктовал телеграмму Каролине:

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ МЕНЯ ВИДЕТЬ ПРИЕДУ К ТЕБЕ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ТЧК ПОТОМ ДОЛЖЕН БУДУ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАЩАТЬСЯ В АНГЛИЮ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙ СРАЗУ ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕШЬ ТЧК ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛСЯ ТЧК ПО ГРЕЧЕСКИМ ПЕЙЗАЖАМ ТЧК ДЖО

Он медленно положил трубку. Жребий брошен. Телеграмма начала свой молниеносный бег над миром. Он снова снял трубку и, набрав номер бюро путешествий, заказал место в самолете на восемнадцатое число. Теперь придется сесть за работу. Семь бессонных ночей над пишущей машинкой, огромное количество черного кофе, машинистка, приходящая два раза в сутки за текстом. А потом, в последнюю минуту он забросит рукопись издателю по пути в аэропорт. Он должен успеть.

Хиггинс тихонько постучал и появился на пороге.

— Сэр Александр Джилберн и мистер Томас Кемпт, — сказал он, подходя и протягивая Алексу небольшой поднос, на котором лежали две визитные карточки. Одна маленькая, почти квадратная, вторая — большая, прямоугольная.

Джо взял их, машинально подумав: большая — Кемпт, маленькая — Джилберн.

Он угадал.

— Спасибо, Хиггинс. Пожалуйста, пригласите джентльменов в библиотеку.

Джо быстро надел пиджак, открыл дверь, соединяющую кабинет с библиотекой, и вошел туда почти в тот же момент, когда Хиггинс ввел гостей из холла.

Сэр Александр Джилберн был высоким, седеющим, но все еще очень интересным мужчиной. На первый взгляд казалось, что ему нет еще и пятидесяти. Джо с легким удивлением отметил, что Джилберн держит в руке массивную трость, и лишь спустя секунду, когда гость сделал шаг вперед, понял, что сэр Александр хромает. Он невольно посмотрел на его ногу и, быстро подняв глаза, приветливо улыбнулся и шагнул навстречу. Известный адвокат был калекой. Стопа его правой ноги находилась в почти круглом, очень коротком башмаке, вздувшемся сверху, будто этот башмак вместе с ногой подвергли какой-то страшной пытке, которая навсегда изменила форму стопы. Но Джо, который интересовался всевозможными физическими отклонениями, знал, что деформация такого рода чаще всего бывает врожденной.

Джо пожал вошедшему руку и указал на одно из массивных клубных кресел, стоящих вокруг низкого круглого столика. Потом повернулся ко второму гостю.

Томас Кемпт был намного моложе Джилберна. Ему можно было дать не более тридцати лет, но вероятнее всего, он был еще моложе. На прямых, широких плечах спортсмена крепко сидела голова красивой формы с темными, коротко остриженными волосами. Его лицо было покрыто загаром, а голубые глаза, блестевшие под темными бровями, смотрели спокойно и внимательно. Это было приятное, умное лицо с правильными чертами и энергично обрисованным подбородком; лицо, вызывающее с первого взгляда доверие и заставляющее проникнуться симпатией к этому

человеку. Джо мимоходом подумал, что Кемпт являет собой тот тип мужчин, который вызывает у девушек мысль: «Он был бы хорошим мужем». Серьезность, отвага и спокойная уверенность в себе.

Когда гости сели, Джо задал традиционный вопрос относительно напитков, но оба попросили только содовой. Несмотря на опущенные шторы, жара стала проникать даже в библиотеку, расположенную с северной стороны. Минуту спустя появился Хиггинс с сифоном, льдом и маленькими щипцами. Когда он вышел, Джилберн тихонько откашлялся и посмотрел на Кемпта, который едва заметным движением развел руки, как бы давая понять, что он отказывается от голоса в пользу сэра Александра.

— Возможно, вначале мне следовало бы заметить, что погода для этой поры года уж слишком жаркая, и похвалить вас за изысканный вкус в оформлении интерьера, — сказал адвокат. — Но из того, что мне о вас говорили, я сделал вывод, что вы не принадлежите к людям, которые любят традиционные вступления. Так что, может, я сразу перейду к тому, что мы, в юридической среде, называем существом дела, а вы, люди пишущие, — сюжетом... — Он умолк и, положив руки на трость, которую держал между колен, на секунду задумался. — Знаете — очень трудно... — сказал он вдруг с беспомощной улыбкой, — мы ведь взрослые люди и живем, как-никак, во второй половине двадцатого столетия... — он снова умолк.

На этот раз Джо поднял брови. Он не ожидал, что такому искушенному оратору, как Джилберн, может недоставать слов уже в самом начале.

Молчание длилось почти минуту. Но нарушил его не сэр Александр, а Кемпт.

— Трудность заключается в том, мистер Алекс, что темой нашей с вами беседы будет Дьявол.

При этих словах он не улыбнулся.

Джо опустил поднятые брови.

— Ах, вот как?... Дьявол... — в его голосе не прозвучало ни малейшей ноты удивления. В душе он поздравил себя с этим.

— Да, Дьявол... — сказал Джилберн. Алекс заметил, что адвокат слегка покраснел, выговаривая последнее слово. — И дело даже не только в том, что мы пришли говорить с вами о Дьяволе, — нам придется сознаться, что нас привел сюда страх.

На лице Алекса не дрогнул ни один мускул.

— Я так часто сталкиваюсь с результатами работы Дьявола, — негромко сказал он, — что в конце концов должен был наткнуться и на него самого. Это вполне понятно.

Джилберн беспомощно улыбнулся.

— Я знал, что вы не сможете отнестись серьезно к моим словам. Я сам... в известной мере не могу расценивать их серьезно... — Он тихо вздохнул и развел руками. — Ведь мы все знаем, что Дьявола нет.

Это юмористическое утверждение, высказанное более чем серьезным тоном, прозвучало вовсе не смешно. Было в нем что-то зловещее, будто интонация фразы содержала в себе некий скрытый смысл, противоречащий словам.

Алекс не шелохнулся. Джилберн продолжал:

— Речь идет лишь о том, чтобы вы нас выслушали. Мы оба слышали о вас так много, что целиком отдаемся на ваш суд. Если вы скажете, что наш рассказ — это полный абсурд, — мы не обидимся. Напротив, я лично вздохну с облегчением. Все это настолько бессмысленно, что если бы не страх...

Он остановился, как бы ожидая, что Джо задаст ему, наконец, какой-нибудь вопрос. Но Алекс внимательно слушал и даже не шелохнулся.

— Мы знаем, — сказал Джилберн, — что вы можете счесть нас наивными чудаками, отнимающими у вас время, но когда я закончу свой рассказ, вы наверняка признаете, что нам трудно было бы обратиться с таким делом в полицию. Благодаря моей профессии я знаю очень многих серьезных людей в Скотленд-Ярде, но у меня не хватило бы мужества обратиться по такому вопросу к кому-либо из них. К счастью, Томас, — я хочу сказать, присутствующий здесь мистер Кемпт, — подал мне мысль обратиться за помощью к вам. Так что, быть может, давайте условимся, что вы постараетесь выслушать нас так, будто речь идет о самых обычных, будничных вещах, хорошо?

— Ну разумеется, — сказал Джо, — если только вера в ваши слова не послужит препятствием к спасению моей души. — Он рассмеялся тихо и дружелюбно.

— Не думаю, — Джилберн тоже попытался ответить улыбкой. — Мы пришли сюда с верой, что, быть может, вы возьмете на себя роль архангела с огненным мечом в карающей длани. Если, конечно, существует кто-либо, кого этот меч должен поразить... Потому что и этого мы пока не знаем. Но, может, я излишне опережаю факты... — Он снова задумался на минуту. — Вы когда-нибудь слышали о Дьявольской скале?

— О Дьявольской скале? Кажется, да...

Джо потер рукой лоб, как бы пытаясь помассировать скрытые под ним клетки серого вещества, в которых его память хранила все, что он знал о Дьявольской скале.

— Я никогда не был там, но читал о ней, — вдруг он хлопнул в ладоши. — Да, конечно! Это место находится где-то на границе графства Саффолк, в нескольких десятках миль от Лондона. Оно связано с процессами «охоты на ведьм» в шестнадцатом или семнадцатом столетии и шабашами этих ведьм. Там еще, кажется, есть Дьявольский грот с расщелиной, через которую Дьявол якобы выбирается из ада, не так ли? В свое время я интересовался этим, потому что немного занимаюсь историей отношений человеческих общин к сверхъестественным явлениям в разные времена... Вот, например, этот древний, бродячий миф о входе в подземное царство через щель в земле, очень любопытен. Ведь Дьявола всегда называли владыкой пространства, воздуха — и тем не менее, от истоков истории человечества, он всегда жил под землей. И начиная с Геракла все входили к нему через щели в гротах. Впрочем, в этом есть известная логика. Такая щель вела далеко вглубь, и никто не знал, что находится на ее дне и существует ли вообще дно. Кроме того, из многих щелей выделялись и сейчас выделяются испарения. В Дельфах, тоже было такое место в гроте. Именно там находилась Пифия… Простите, что я отошел от темы... но Дьявол — это мое хобби. Однако вернемся к Дьявольской скале. Насколько я помню, это место было освящено архиепископом, но, по-видимому, это не очень помогло, потому что спустя сто лет Дьявольская скала вновь была признана местом шабашей ведьм, и если не ошибаюсь, достопочтенный Мэтью Хопкинс — «гонитель ведьм», нашел их с десяток в соседней деревушке. И всех их повесили. Вот, кажется, и все, что я могу сейчас припомнить.

— Деревушка называлась Норфорд, — сказал Кемпт, — и так она называется до сего дня. Она расположена между Хертест и Блю Медоуз, на краю горной гряды, которую замыкает Дьявольская скала.

— Да, — Джилберн глубоко вздохнул, — это очень удачное стечение обстоятельств…

— Какое именно? — спросил Алекс.

— То, что вы интересовались Дьяволом и его историей на территории Англии. Независимо от того, к каким выводам вы придете, услышав наш

рассказ, я убежден, что существует какая-то связь между этими далекими временами и тем, что... что может случиться... Прежде чем я начну рассказывать, прошу вас учесть, что в местности, о которой мы говорим, все слышали о Дьяволе и его делах больше, чем в любой другой части страны. Там о нем кружит огромное количество легенд, а все окрестные жители знают множество мест, связанных с ним и с ведьмами, несмотря на то, что уже сотни лет никто не принимает этого всерьез.

— В газете «Таймс» от 24 ноября 1863 года вы можете прочесть, что некий старик был признан колдуном и линчеван толпой в графстве Эссекс. А Эссекс — наиболее цивилизованная часть нашего государства, — сказал Алекс. — Это прямо под Лондоном. Люди разорвали несчастного старика на куски. И все это произошло совсем не так давно... Однако, прошу прощения — я не хотел вас прерывать, хотя постоянно это делаю.

Сэр Александр кивнул головой.

— Я хотел только добавить, что деревушка Норфорд в настоящее время насчитывает не больше жителей, чем в семнадцатом веке. Близость Лондона и моря всегда способствовали быстрому оттоку свободных рабочих рук. Это красивая старая деревенька. Некоторые постройки относятся к шестнадцатому столетию. Подлинное чудо провинциальной архитектуры. Люди, живущие в этих домах, спокойны и трудолюбивы. Там почти не отмечается никаких преступлений. Впрочем, так было всегда. Быть может, потому, что беспокойные души всегда устремлялись к морю и столице. Ведьм, разумеется, тоже уже давно нет. Последнюю из этих несчастных женщин повесили в 1684 году. Я сам родом из тех мест и хорошо знаю историю этого края. Местные жители нынче сильно изменились. Они стали скептиками. Конечно, никто из них ни за какие деньги не пошел бы ночью на Дьявольскую скалу и даже близко не подошел бы ко входу в Дьявольский грот, но это уже совсем другая тема. Я знаю многих образованных людей из больших городов, которые ни за что не провели бы ночь на кладбище, и думаю, что, по крайней мере, девяносто процентов женщин наверняка не сделали бы этого независимо от суммы обещанной награды. Так что в целом отношение жителей Норфорда к их старому Дьяволу можно определить как современное, то есть — безразличное. К тому же деревушка расположена за лесом, уже по другую сторону цепи меловых гор, пересеченных оврагом, на отвесном склоне которого, почти посредине, находится та самая пещера, которую называют Дьявольским гротом. Туда можно добраться лишь по узкой и опасной горной тропинке. Поэтому грот не отмечен в туристических путеводителях. Приблизительно над входом в грот находится вершина крутой, лишенной растительности Дьявольской скалы — наивысшей точки горной гряды. Под ней в овраге течет ручей, и если пройти вниз по его течению, овраг скоро заканчивается, открывая вид на широкую равнину, которая тянется в сторону Кембриджа и близлежащего Фалборна. По другую сторону оврага, на такой же отвесной, хотя и менее высокой скале, находится поместье Норфорд Мэнор. В тринадцатом столетии здесь стоял маленький укрепленный замок, который был впоследствии сожжен и полностью уничтожен во время войны Алой и Белой Роз. В 1602 году эту землю купил сэр Джон Эклстоун, придворный уже стареющей тогда королевы Елизаветы, который на руинах замка построил красивую небольшую резиденцию. Он назвал ее Норфорд Мэнор и велел посадить вокруг резиденции парк. Вскоре после смерти королевы, он оставил двор и поселился в Норфорд Мэнор навсегда. Там и умер. Дом, который с тех пор несколько раз перестраивался, до сих пор стоит на том же живописном месте, где некогда стоял древний замок. С трех сторон стены его переходят в отвесные скалы горной вершины. А напротив дома,

по другую сторону оврага, находится Дьявольская скала и почти на высоте окон — Дьявольский грот на ее склоне. Парк примыкает к резиденции лишь с одной стороны и, расширяясь, плавно опускается в долину, посреди которой стоит мой дом — Велли Хауз, а Эклстоуны и по сей день живут в Норфорд Мэнор. Ввиду того, что наши семьи на протяжении двухсот лет объединяла большая дружба, между нашими домами была проложена частная дорога, которую мой дед, предпоследний владелец Норфорд Мэнора, украсил по обе стороны густыми шпалерами кустов. — Он умолк. — Простите, что описание местности занимает у меня столько времени, но я думаю, что таким образом я заранее внесу ясность в географию места действия. Ну и, в качестве оправдания моего здесь присутствия, хочу добавить, что я, как и мои предки, являюсь большим другом семьи Эклстоун...

При этих словах Джо невольно глянул на Кемпта, который прислушивался к рассказу сэра Александра, время от времени кивая головой в знак того, что тот точно описывает местность. Джилберн, по-видимому, заметил интерес, блеснувший во взгляде Алекса, и поспешил добавить:

— Мистер Кемпт является дальним родственником Эклстоунов, говоря точнее: он внук старшей сестры Джекоба Эклстоуна, умершего около десяти лет назад, мужа нынешней владелицы имения — леди Элизабет Эклстоун. В детстве Томас часто приезжал в Норфорд и сейчас тоже нередко туда заглядывает.

— Джекоба Эклстоуна... — тихо повторил Джо. — Уж не тот ли это Джекоб Эклстоун, который сколотил огромное состояние в Малайзии, когда начал расти спрос на каучук?

— Да, тот самый.

— Его вдова должна быть весьма состоятельным человеком.

— Совершенно верно, — сэр Александр утвердительно кивнул головой. — Она не просто богата, она очень богата. Я хорошо знаю об этом, потому что уже много лет подряд веду ее дела как официальный поверенный.

— Так... О чем это мы говорили? Ах да, о том, что мистер Кемпт и сейчас там бывает…

— У меня там даже есть своя комната, та самая, в которой я жил, когда еще был мальчиком, — улыбнулся Томас Кемпт. — Но не будем говорить обо мне. Я не играю никакой роли в этом рассказе.

— Да... — сэр Александр сосредоточился. — В Норфорд Мэнор живет сейчас только старая леди Элизабет Эклстоун с доктором, медсестрой и несколькими слугами. Недавно ей исполнилось семьдесят. После смерти мужа она серьезно хворала, а два года назад ее полностью разбил паралич. Кроме того, в Норфорд Мэнор находится ее сын Ирвинг Эклстоун. У него есть квартира в Лондоне, но поскольку он занимается литературным трудом, то предпочитает этот тихий деревенский дом. Кроме него там бывают его дочь Джоан и ее муж Николас Робинсон. По образованию Ирвинг Эклстоун — историк. Но его хобби сходно с тем вашим, о котором вы упоминали, — история религии, и в частности демонология. На это его пристрастие, несомненно, еще в детстве повлияло окружение. Пока его отец сколачивал капитал в Малайзии, леди Эклстоун жила вместе с детьми в Норфорд Мэнор. Разумеется, у Ирвинга была няня из деревни Норфорд. Ее рассказы в сочетании с окружающим пейзажем и атмосферой, вероятно, серьезно повлияли на его воображение... В Норфорд Мэнор у Ирвинга хорошо оборудованный рабочий кабинет и...

— Да... — сказал Алекс. — Я читал несколько его книг. Это подлинный авторитет...

— Так говорят. Он читает цикл лекций в Кембридже и считается крупнейшим экспертом по истории цивилизации. Но его основная область —

история Дьявола на земле. Однако, возвращаясь к обитателям... У Ирвинга была еще младшая сестра Патриция. Она очень рано вышла замуж и жила с мужем в Южной Африке. В начале этого года ее муж умер, и она вернулась в Норфорд Мэнор... Месяц назад она тоже умерла... — Он опять остановился, глубоко вздохнул и продолжал: — Итак, в Норфорд Мэнор живут: старая парализованная леди Эклстоун, ее врач, доктор Арчибальд Дюк, медсестра Агнес Стоун и несколько человек прислуги. Приблизительно полгода проводит там ее сын Ирвинг Эклстоун, а ее внучка, дочь Ирвинга, Джоан Робинсон вместе со своим мужем Николасом Робинсоном приезжает туда довольно редко. Обычно, лишь тогда, когда Николас захочет работать на пленэре, что случается с ним нечасто, потому что он — художник-абстракционист и в природе, по его собственным словам, ищет лишь динамику цвета. Кроме того, в Норфорд Мэнор бывает иногда присутствующий здесь мистер Кемпт, дальний родственник этой семьи, ну и, наконец, я захожу туда по дружбе и по службе, поскольку веду финансовые дела старой леди и проверяю время от времени реестр домашних расходов. Ни Ирвинг, ни Джоан не занимались бы этим; и не потому, что не хотели бы, а просто в силу своей полной неопытности в житейских делах. Больше там никого не принимают, а с тех пор, как старая леди Элизабет разбита параличом, ее даже прежние друзья перестали навещать.

— Понимаю... — Джо покивал головой. — Большой тихий дом на безлюдье. Никого чужого вокруг. Все свои. Когда вы упомянули о Николасе Робинсоне, я внезапно понял, откуда берутся в его удивительных полотнах такие сочетания цветов. Да, это очень интересно: абстрактная живопись, основанная на цветовой гамме английской деревни. Он очень талантливый человек, как мне кажется. Однако между тем, что хотят сказать художники-авангардисты и тем, что видим в их произведениях мы, простые смертные, существует огромная пропасть, и я могу ошибаться. Во всяком случае, это очень интересный художник...

— Здесь ваше мнение совпадает с мнением мистера Кемпта. Что касается моей скромной личности, то с большим сожалением вынужден признать, что я совершенно ничего не вижу в его картинах, а если уж быть до конца откровенным, я бы сказал, что, вероятно, они выражают абсолютное ничто. Временами я подозреваю, что никто из этих молодых художников не смог бы нарисовать обычного человека, едущего верхом на обычном коне, на фоне обычного заката солнца.

В ответ Алекс несколько смущенно улыбнулся, будто давая понять гостю, что хоть он и уважает его взгляды, но в этом конкретном случае не может согласиться с его мнением.

— М-да… — Джилберн на мгновение закрыл глаза, а затем открыл их и выпрямился в кресле.

Джо с облегчением почувствовал, что только сейчас и начинается настоящий рассказ.

— Итак, все это началось, когда Патриция после смерти мужа вернулась в Норфорд Мэнор...

Он опять замолчал, а Джо, который теперь не спускал с него глаз, увидел, что черты его лица внезапно изменились. Трудно было определить, в чем состояло это изменение, ибо внешне лицо оставалось прежним. Но по нему как бы пробежала темная туча — отражение какой-то глубокой печали.

— Поскольку мы пришли к вам за советом, а быть может, даже за помощью, — сказал Джилберн тихо, — я обязан быть абсолютно откровенным... Так вот... Патриция и я... когда мы были молоды... — Видно было, что ему очень трудно говорить об этом. — Я ее любил, а она... Казалось, ничто

не должно было помешать... Правда, я старше ее на семь лет, но мы росли вместе, ибо наши дома почти соприкасались в этой безлюдной глуши... И вопрос этот был уже давно решен, когда она познакомилась с одним молодым офицером и совершенно неожиданно вышла за него замуж. Она сделала это внезапно, без всяких раздумий и сразу же уехала с ним, потому что его пароход отплывал через несколько дней… Но уже из Кейптауна она написала мне письмо. Конечно, я постарался принять все произошедшее как можно спокойнее... Что ж, ведь она моложе меня, а он — тот офицер — был здоровым и, наверно, симпатичным парнем, а я… — он взглянул на свою ногу, — я, к сожалению, калека от рождения. Конечно, я ее понял. В сущности все было очень банально и не требовало объяснений. Ей только что исполнилось восемнадцать. В этом возрасте много серьезных решений принимается очень легко, а сочувствие другим еще не очень знакомо в эти годы. Так что я полностью оправдал Патрицию и не чувствовал к ней зла. Удар этот, однако, оказался для меня очень тяжким. Но, возможно, он содействовал моей карьере, потому что я должен был заглушить чем-то свою боль и углубился в работу, стараясь забыть прошлое. На протяжении всех этих лет я не женился. Я знал только, что спустя год после свадьбы ее муж заболел какой-то тропической болезнью и был демобилизован из армии. Он болел много лет. Кажется, это был один из видов сонной болезни. Занимаясь финансовыми делами Эклстоунов, я знал, что старая леди Элизабет каждый месяц посылала дочери определенную сумму на соответствующее содержание дома. Но Патриция ни разу не приезжала в Англию. Быть может, она была слишком горда, а может, не могла оставить там его одного. Годы шли, и наконец этот человек умер. Однако, как бы для полной демонстрации иронии судьбы, за несколько месяцев до приезда дочери старую леди Эклстоун разбил паралич, и когда Патриция вернулась, мать с дочерью уже не могли даже просто поговорить. Но она вернулась. И уже в день ее возвращения я понял, что, несмотря на прошедшие двадцать лет, я люблю ее так же горячо, как прежде. Теперь ей было уже тридцать восемь лет, а мне — сорок пять… Между нами состоялся длинный разговор. Разумеется, она была лояльна по отношению к покойному мужу, но я догадывался, что, возможно, она ушла бы от него раньше, если бы не его болезнь. Такие женщины, как она, не уходят в подобной ситуации. В конце концов, мы оба поняли очень многое. Мы решили пожениться, когда закончится срок ее траура. Наше решение всех очень обрадовало. Мы виделись ежедневно. Пока, наконец, почти месяц тому назад, случилось...

Он умолк, будто вдруг задумался о чем-то и забыл, что здесь не один. Затем, как бы осознав, что Алекс и Кемпт ожидают его дальнейших слов, тяжело облокотился на трость и продолжал спокойным бесстрастным голосом:

— Я проводил ее домой после нашей совместной прогулки. Затем вернулся к себе по аллее, соединяющей наши дома. Наступил вечер, и я занялся делами, которые привез из Лондона, чтобы как можно больше времени находиться ближе к Патриции. Я работал до поздней ночи и задремал под утро. Меня разбудил телефонный звонок из Норфорд Мэнор… Джоан сообщила мне, что тетя Патриция умерла. Она покончила самоубийством у себя в комнате. Комната была заперта на ключ. Ключ лежал перед ней на письменном столе. В разбитом стакане, который выпал из ее руки, находился цианистый калий. Вероятно, Патриция привезла его из Африки. Она не оставила никакого письма. Абсолютно ничего.

Алекс, сосредоточенно размышляя, кивнул головой. Во время рассказа сэра Александра он пытался воссоздать психическое состояние самоубийцы: смерть любимого человека, после длительной, подорвавшей

ее нервы болезни... Возвращение в страну детства... Снова появляется влюбленный калека, тот самый калека, которого она бросила в молодости... Вначале инстинкт берет верх, и Патриция хочет ухватиться за последний шанс вернуться к жизни в мир обычных людей. Но в конце концов побеждает сознание, что уже слишком поздно, что у нее уже не хватит лицемерия для притворства и что мир без того единственного не стоит жизни.

Но почему она не оставила никакого письма?.. Правда, это еще ничего не доказывает. В таких обстоятельствах люди пишут или не пишут, — это зависит от характера, от причин самоубийства, от... Но ведь она сделала это совершенно сознательно: приготовила яд, заперла дверь на ключ и положила этот ключ на письменный стол... Почему?.. И почему она не написала письмо, записку, хоть пару слов? Была ночь, и у нее оставалось много времени; она покидала родных и человека, который так много лет любил ее верно и без всякой надежды... Она должна была написать... Это было бы просто, логично и неизбежно в ее состоянии... Ключ лежал на столе... Почему?

Джо быстро поднял голову, потому что сэр Александр продолжал рассказывать.

— Быть может, я и сумел бы ее понять... Но вечером ничего не указывало на такой исход, совершенно ничего. Я даже был очень доволен минувшим днем. Ее угнетенное состояние уменьшилось. Мы говорили о том, что сразу после свадьбы уедем на год в кругосветное путешествие. Я хотел, чтобы большое количество свежих впечатлений вытеснило из ее памяти воспоминания о прошлом. Она согласилась сразу, и я чувствовал, что ее очень радует мысль о предстоящем путешествии... Нет, я никак не могу этого понять. В ее поведении не было ничего... ничего похожего на склонность к самоубийству. И все же... Ведь ее никто не убил. Дверь была закрыта изнутри. Никаких следов. Полиция приехала утром. Были найдены только ее отпечатки пальцев на стакане и на ручке двери. Окна в комнате забраны железными решетками, как, впрочем, все окна дома, которые выходят в сторону пропасти...

— Значит, — тихо сказал Алекс, — надо, вероятно, принять версию, что это несчастье следует отнести исключительно к печальному решению покойной?

— Да. Наверно, вы правы... — сэр Александр кивнул головой, но выражение его лица противоречило словам. — То же самое сказала и полиция, но...

— Но ведь вы еще ничего не сказали мне о Дьяволе, не так ли?

— Я сказал вам лишь, что в комнате не найдено никаких следов. Так вот, там был след: полукруглый отпечаток, как бы маленькой подковы или большого козьего копыта…

— Где?

— На странице открытой книги, которая лежала на письменном столе. След был даже немного загрязнен, как будто его оставила нога животного, которое перед тем прошло по влажному песку.

— А это не мог быть какой-нибудь старый отпечаток?

— Нет. Эту книгу я купил днем раньше в Лондоне и привез с собой. Затем я прочел ее и встретился с Патрицией, которая вечером взяла книгу домой. Ночью Патриция умерла. А раньше этого отпечатка не было. Я не мог его не заметить, читая книгу. Кроме того, зернышки этого песка я передал в лабораторию для анализа... Такого песка нет по нашу сторону оврага. Нет его, впрочем, и по другую сторону, и даже нигде в окрестности. Его можно найти только в Дьявольском гроте.

— Я вижу, что вы провели частное расследование. А вы говорили об этом отпечатке полиции?

— Конечно. Но что могла сделать полиция в этом случае? Версия о самоубийстве напрашивалась сама собой, учитывая обстоятельства, в которых найдено тело умершей, и возможный мотив, которым могла быть длительная душевная депрессия. Кроме того, я сам не знаю, что может означать этот след. Впрочем, раньше, еще перед смертью Патриции, происходили некоторые странные вещи, которые полиция тоже не приняла во внимание. Да мы и сами не знали, как к этому отнестись. Это выглядело таким неважным по сравнению с фактом ее смерти, а может, мы тогда просто забыли об этих случаях. И лишь потом... Вот это и не дает мне покоя... Видите ли, за три дня до смерти Патриции мы все вместе пошли на прогулку в Дьявольский грот. Патриция хотела снова увидеть его спустя столько лет. Ведь она вернулась в страну детства. Конечно, мы взяли канат, которым обвязались для безопасности, на случай, если у кого-нибудь подвернется нога при подъеме по узкой, обрывистой тропинке. Однако до входа в грот мы добрались без всяких приключений. Там мы зажгли электрические фонарики и направились вглубь к знаменитой расщелине, которая лежит несколько ниже, внутри грота. К этой щели ведет скальный коридор длиной около пятидесяти ярдов. Но дорога там опускается плавно, и разница горизонтов составляет примерно несколько футов. Таким образом, через несколько минут продвижения вниз мы вышли из-за поворота и очутились внутри скалистой пещеры, в другом конце которой, в самом низу, и находится расщелина. Именно возле этого места дно пещеры усыпано очень мелким светлым песком, занесенным сюда ручьями подземных вод. И на этом песке мы увидели... — он заколебался.

— Отпечатки копыт, разумеется, — тихо сказал Джо.

— Кто вам об этом сказал? Да, мы нашли отпечатки копыт.

— Так я и предполагал после того, что вы рассказали раньше. Кто-то когда-то сказал, что Дьявол — отец логики. — Джо стал серьезным и наклонился вперед. — Пожалуйста, расскажите мне все, что можете сказать об этих отпечатках, буквально все, даже ничего не значащие подробности. Были ли они похожи на отпечатки копыт какого-нибудь животного?

Кемпт, который до сих пор молчал, внезапно отозвался.

— Нет. Они не были похожи ни на какие следы животного. Отдаленно они напоминают козьи, но по размерам значительно больше их и менее округлы, так, будто принадлежали гигантскому козлу с заостренными спереди копытами, по своему строению резко отличными от копыт всех известных животных.

— Как вы это выяснили?

— Мы показали фотографию отпечатков в Институте зоологии, где нас приняли наполовину с недоверием, наполовину с изумлением. Эти отпечатки не соответствовали никаким известным там следам копыт. Отсюда как будто следует, что животное, оставившее такой след, просто не может существовать.

— Слава Богу... — сказал Алекс, но больше не добавил ни слова, несмотря на изумленные взгляды обоих гостей. Затем, помолчав, спросил: — Не было ли у этих отпечатков каких-нибудь характерных особенностей? Например: царапин, шрамов, шероховатостей; вы понимаете, что я имею в виду?

— Да, — продолжал отвечать Кемпт, — они несколько отличались друг от друга. Кроме того, у каждого из них было что-то вроде когтя, торчащего сзади копыта... Я понимаю, что это может показаться смешным, но я лишь рассказываю о том, что мы видели собственными глазами и в чем

убедились. А самым удивительным было то, что эти отпечатки находились только в непосредственной близости к расщелине, так, будто животное вынырнуло оттуда и снова вернулось обратно. Ни на дне пещеры, ни в коридоре следов не было.

— А может, грунт в пещере не позволял их обнаружить?

— Местами да — там кое-где выступает голая скала. Но она повсюду покрыта влажным мхом, а животное было, очевидно, очень тяжелое, потому что в песке оставило глубокие следы.

— А вы не могли затоптать ведущие к выходу следы, когда шли всей группой к расщелине?

— Возможно. Но я шел впереди и все время освещал путь фонариком. У меня мощный фонарик. Впрочем, у сэра Александра и у Ирвинга были такие же сильные фонари. Так что в гроте было совершенно светло, и по вполне понятным причинам я смотрел себе под ноги. Я не мог бы их не заметить. К тому же там слишком мало места, чтобы глаз мог отвлечься в сторону.

— Сколько человек видели эти следы?

— Все, кто вошел в грот: Патриция, Джоан, Николас, сэр Александр, Ирвинг и я.

— А какое впечатление произвели тогда эти следы на женщин?

— Жуткое! — коротко ответил Кемпт и замолчал. Потом добавил, словно воспоминания вынудили его к объяснению: — Я не суеверен. Я вообще не верю в сверхъестественные явления. Но это меня поразило. Конечно, тогда мы все пытались шутить. Но никому это, впрочем, не удавалось, даже Ирвингу.

— А каково было ваше первое впечатление, сэр Александр?

— В первый момент я не воспринял это как что-то необычное. Может, просто потому, что я до тех пор никогда не думал в таком аспекте о каком-либо явлении. Одно только поразило меня сразу: в грот не могло попасть никакое животное, за исключением, может, только горной косули. Узенькая скалистая тропинка — отнюдь не то место, куда могло бы забраться какое-нибудь парнокопытное. А насколько мне известно, горных косуль нет в радиусе многих сотен миль от Норфорда. Не знаю даже, существуют ли они вообще в Англии. Это меня удивило больше всего, и я долго думал об этом в тот день, но скорее как о любопытной мелочи, относящейся к категории якобы необъяснимых явлений, какие иногда встречаются в нашей жизни. Я далек от мысли относить те явления, которых я сам не могу объяснить, к явлениям сверхъестественным… Помню, я даже размышлял над тем, не мог ли кто-нибудь спустить какое-нибудь животное в грот на канате. Но зачем? Кроме того, отпечатки копыт были только в непосредственной близости от расщелины. Может, в пределах ярда, но не далее двух. Дальше точно не было никаких следов на песке. Томас Кемпт и Николас Робинсон тоже были заинтригованы. Вместе с Ирвингом Эклстоуном они обшарили потом весь лес на вершине горы поблизости от Грота. Они даже поднялись на вершину Дьявольской скалы. Но нигде не нашли никаких следов...

— А не пришло ли кому-нибудь на ум, что животное действительно могло выйти из этой расщелины и снова возвратиться в нее? Была ли она когда-нибудь обследована?

— Это исключено, — сэр Александр покачал головой. — Лет десять назад там была группа спелеологов. Расщелина все время сужается, идя вниз, сперва под сильным уклоном, а затем вертикально вниз. В конце она становится такой узкой, что человек уже не мог бы в нее протиснуться, а в свете ламп исследователи установили, что скалы сходятся, образуя узкую воронку, в которую, по-видимому, когда-то стекала вода.

— Ясно, — кивнул Джо, — я понимаю. А что случилось потом? Вы забыли об этом событии?

— О нет! — воскликнул Кемпт. — Вы не знаете дядю Ирвинга! За свою жизнь он написал столько статей и книг о суевериях и предрассудках, связанных с Дьяволом, о мрачной эпохе, которая осудила тысячи ни в чем не повинных женщин на жестокую смерть, не имея никаких доводов существования Дьявола, что, увидев лишь тень такого рода довода, он рыскал по лесу до позднего вечера. Ему во что бы то ни стало хотелось доказать нам, насколько простое и естественное объяснение должен иметь феномен, обнаруженный нами в пещере. И — ничего. Решительно ничего. Патриция и Джоан вернулись через овраг домой, а мы все снова отправились в грот. Конечно, мы по-прежнему шутили. Но Ирвинг упрямо твердил, что объяснит нам все, только ему надо еще раз спокойно присмотреться к этим следам. Мы вошли в грот и, присев на корточки, внимательно исследовали следы. Они были оттиснуты на влажном песке так отчетливо, как в воске. Можно было в мельчайших подробностях рассмотреть каждую деталь в контурах отпечатков. У этих копыт оказалось несколько характерных черт. В одном из них находилось косое углубление посредине, а второе имело небольшую выпуклость на переднем крае, вроде нароста. Это повторялось на всех следах…

— А остальные два копыта?

— Других двух копыт не было, — спокойно сказал сэр Александр Джилберн. — Именно это и было нашим самым поразительным открытием. Мы оба могли бы это подтвердить под присягой, а вместе с нами Николас Робинсон и Ирвинг Эклстоун, хотя последний уже спустя пару часов стал убеждать нас, что мы пали жертвой коллективной галлюцинации или чьей-то дурацкой шутки. При этом, мне кажется, что говоря о шутке, он имел в виду своего зятя Николаса Робинсона.

— А что склоняет вас к связи между следами в гроте и смертью вашей невесты? Не был ли один из отпечатков похож на след, обнаруженный вами на книге, которую вы дали Патриции за несколько часов до ее смерти?

— Да, — адвокат кивнул. — Я твердо убежден, что этот след абсолютно идентичен с одним из следов в гроте, с тем, который имел косое углубление посредине. Конечно, на книге оно видно менее отчетливо, но у меня есть фотографии обоих следов и...

— Вы сделали эти снимки или полиция?

— Я. Полиция тоже обратила внимание на след и выслушала меня, но я не мог тогда сказать ничего вразумительного. Впрочем... — он развел руками. — Как можно было доказать этим деловым, конкретно мыслящим полицейским, что следы копыт в Дьявольском гроте имеют какое-то значение? Кроме того, я был тогда потрясен и не мог собраться с мыслями. Мне казалось, что она действительно могла совершить самоубийство... — Он поднял голову и посмотрел на Алекса с выражением внезапного ужаса в глазах. — Ведь ничего другого и не могло случиться? — Он тут же успокоился. — Извините меня, джентльмены... Все это так... — С минуту он искал какие-то слова, потом, видимо, на найдя их, смирился и умолк, глядя на Алекса глазами, в которых не было ни страха, ни интереса, а лишь отчаяние.

Джо прервал молчание, обращаясь к Кемпту.

— И это все? Не случилось ли перед смертью Патриции или, быть может, позже чего-нибудь, ну, скажем, необычного?

Задавая вопрос, Джо был убежден, что уже не услышит ничего, что может бросить свет на то происшествие, которое... Нет. Он еще не хотел рассматривать это происшествие как... Не было еще никакого ключа...

кроме, конечно, этого единственного... Ответ Кемпта направил его мысли совсем в другую сторону.

— Да, — сказал молодой человек, — случилась еще одна странная вещь. То есть, я хочу сказать, это случилось дважды. Но давайте я расскажу по порядку. Это было накануне смерти Патриции. Когда горничная вышла утром в столовую, чтобы унести на кухню оставленные нами поздно вечером чашки, она увидела, что портрет, который висит там, повернут лицом к стене. Это произошло уже после нашей прогулки в грот, и поэтому все мы подумали, что это чья-то шутка. Дело в том, что на этом портрете изображен тот самый знаменитый гонитель ведьм и основатель Норфорд Мэнора — сэр Джон Эклстоун. Джоан еще сказал тогда, что Джон Эклстоун, который так преследовал почитателей Дьявола, повернулся теперь к нам спиной, потому что мы не только не сумели выследить Дьявола, хотя он оставил столь явственные следы, но и по-прежнему не хотим поверить в его существование. Ирвинг Эклстоун пробормотал, что, вероятно, это Николас перевернул портрет, потому что, наверно, не может смотреть на что-либо нормально нарисованное и имеющее какой-то смысл. Было еще несколько шуток на эту тему. Видите ли... ведь никто из нас не знал, что Патриция умрет в эту ночь.

— Хотя кто-то все же мог предвидеть это событие... — тихо сказал Джо и щипчиками бросил в стакан кусочек льда.

— Я вас не понимаю, — Кемпт поднял брови.

— Я тоже... — Алекс едва заметно усмехнулся. — Я тоже не понимаю себя в эту минуту. Но я напрасно перебил вас. Это уже все?

— Нет. Чье-то внимание привлекла одна необычная деталь. Дело в том, что рама портрета была покрыта густым слоем пыли, а при повороте портрета к стене эта пыль не только не была стерта, но даже оказалась нетронутой ни на одном месте рамы.

— Кто это заметил?

— Я не помню... — Кемпт наморщил лоб, стараясь припомнить.— Кажется, медсестра мисс Стоун. Но я не уверен. Может, мне так кажется просто потому, что эта женщина всегда окружена аурой какой-то клинической чистоты. Да, да, я вспоминаю. Это была мисс Стоун! Она подошла к портрету и сказала: «Боже, как он запылен! И подумать только, что мы все должны этим дышать!»... Это замечание, быть может, покажется вам странным в подобных обстоятельствах, но мисс Стоун человек не очень сообразительный. Зато она испытывает ненависть ко всему, что не является абсолютно чистым, выглаженным, накрахмаленным и стерильным. Думаю, впрочем, что при ее профессии это нельзя считать недостатком.

— Несомненно, — Джо кивнул головой. — Но ведь на этом все не кончилось. Кто-нибудь сказал еще что-то?

Джилберн уже третий раз в течение этого визита посмотрел на Джо с изумлением.

— Хотя не знаю, для чего вам это может понадобиться, но я охотно сделаю все, что в моих силах... К сожалению, я не обратил на это внимания. Было утро, я только что вошел в Норфорд Мэнор, а его обитатели стояли все вместе в библиотеке, некоторые еще в халатах, и шутили. В первую минуту я даже не понял, о чем идет речь. И лишь после смерти Патриции, перебирая в памяти подробности каждого часа, предшествующего трагедии, я стал размышлять и об этом случае.

— Зато я его хорошо припоминаю, — Кемпт закурил сигарету и потушил спичку в маленькой капельке воды, случайно оказавшейся на дне пепельницы. Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза Алексу. — Я знаю, что вы ищете, задавая эти вопросы. Но прошу вас поверить, что я, то

есть, мы оба, обсуждали это уже сотни раз. Мы искали малейшую зацепку, хоть какой-нибудь повод, по которому кто-либо мог бы желать Патриции зла. Мы принимали во внимание даже чье-то маниакальное безумие. Но, во-первых, мы не понимаем, каким образом Патриция могла быть убитой, если ключ находился внутри комнаты, а во-вторых, все это не имеет смысла и не имеет почвы, на которую можно опереться... По крайней мере, для нас не имеет. Потому мы и пришли к вам. Но вы сейчас спросили, что произошло после того, как мисс Стоун заметила пыль. Так вот. Николас сказал, что мы могли бы узнать шутника по отпечаткам его пальцев, и хотя он не специалист, однако учитывая, что каждая рука имеет другие папиллярные линии, уверен, что как художник он сумел бы, используя простое увеличительное стекло, сразу же узнать, кому эти линии принадлежат. При этом он, смеясь, подошел к портрету. Не прикасаясь к раме, он стал ее осматривать, но через минуту улыбка сошла с его лица. Дело в том, что пыль оказалась повсюду нетронутой. В этом мы все убедились. Все выглядело так, будто портрет перевернулся сам.

— А позже, после трагедии, вы рассказали об этом полиции?

— Нет, кажется, нет. Думаю, что все забыли об этой шутке под влиянием того, что произошло.

Алекс некоторое время молчал.

— Я хотел бы вернуться к самому портрету, — сказал он, наконец. — Портрет изображал того самого сэра Джона Эклстоуна, который владел поместьем в семнадцатом веке, не так ли?

— Да. Портрет относится к той же эпохе.

— Говоря о портрете, вы отметили, что сэр Джон был гонителем ведьм, верно?

— Да... — Кемпт оживился. — Все в Норфорде об этом хорошо знают. Именно тогда, когда сэр Джон купил эту землю и построил на ней дом, на престол вступил король Яков, и вместе с началом его царствования началась эта безумная охота на ведьм. Именно тогда знаменитый инквизитор Мэтью Хопкинс посетил графство Саффолк. Как сейчас предполагают, сэр Джон, который находился тогда в остром конфликте с деревенским советом старейшин, решил воспользоваться близостью Дьявольского грота, расположенного между деревней и его резиденцией, чтобы с его помощью свести счеты с крестьянами. Во всяком случае, именно по его приглашению Мэтью Хопкинс прибыл в Норфорд, и документы свидетельствуют, что в том же году было казнено четырнадцать женщин из этой несчастной деревушки. Их повесили на рыночной площади в Блю Медоуз.

— Мы всегда были культурным народом, — заметил Алекс. — Во всей Европе, даже в Шотландии, ведьм сжигали на кострах, а у нас только вешали... Симпатичный старичок, этот ваш сэр Джон. А что было потом?

— Разумеется, ничего. За ведьм, по вполне понятным соображениям, никто никогда не вступался. А учитывая тогдашнее состояние умов, я не ручаюсь, что их собственные семьи не были уверены в правильности судебного приговора. Сэр Джон и его люди свидетельствовали перед трибуналом в Блю Медоуз, что своими глазами видели этих четырнадцать женщин летящими на метлах по направлению к Дьявольскому гроту в ночь перед днем Святого Иоанна. Такое обвинение было равносильно смертному приговору. Сохранилось даже описание казни, принадлежащее перу некоего Силби, дьякона из Блю Медоуз. Я обнаружил там поразительные вещи. В последнюю минуту перед казнью одна из осужденных женщин обратилась к толпе, наблюдавшей это зрелище, и заявила, что действительно является любовницей Люцифера, который отомстит за нее, за ее смерть, и месть эта постигнет род Эклстоунов вплоть до десятого колена.

— А Патриция, урожденная Эклстоун, была прямым потомком сэра Джона именно в десятом поколении, — тихо произнес сэр Александр. — Это страшная и жестокая бессмыслица лишила меня покоя... Я не знаю, можно ли даже рассуждать об этом деле подобным образом, но никак не могу удержаться от этого.

— Мне не нравится коллективная ответственность, — сказал Джо. — Люцифер поступил бы гораздо лучше, отомстив немедленно самому сэру Джону, не так ли?

Кемпт пожал плечами:

— Но это еще не все.

— Надеюсь… — тихо сказал Алекс, еще тише, чем раньше. — Ведь что-то еще должно было случиться в последнее время, не так ли?

— Да… — сэр Александр устало склонил свою красивую седеющую голову. — В воскресенье утром горничная снова нашла портрет сэра Джона повернутым лицом к стене.

## Глава III

## «Скажите, что я отправился к Дьяволу…»

Он посмотрел на Алекса с таким беспомощным выражением лица, что Джо беспокойно шевельнулся. К своему изумлению, вот уже несколько минут он больше думал не о том, что ему рассказывали, а о месте в самолете, которое заказал час назад. Да, это был Дьявол. Алекс уже знал точно, что где-то там, в далеком Норфорд Мэноре, действует темная сила, которая... И тем не менее, ему так хотелось улететь отсюда в солнечный тихий край, где он мог бы сидеть с трубкой на камне и любоваться стройной фигурой Каролины, снующей среди развалин в джинсах и старом свитере...

Джо выпрямился и быстро спросил:

— А вы пошли в пещеру, как только увидели, что портрет второй раз перевернулся?

— Да, — Кемпт встал и начал ходить по комнате. — Мы пошли туда.

— И обнаружили следы?

— Да, такие же, как месяц назад.

— Гм… — Джо умолк.

Довольно долго никто не прерывал молчания.

Кемпт, опустив голову, медленно прохаживался по кабинету. Потом остановился перед Алексом.

— Теперь вы знаете все.

Джо понял, что утверждение содержит одновременно и вопрос.

— А вы кто по специальности? — спросил он внезапно.

— Я? Архитектор. Но какое это имеет...

— Вы показали мне эскиз здания, общего вида которого вы сами не знаете, потому что, глядя из тьмы окружающей вас ночи, вы лишь поняли, что это действительно строение, и заметили некоторые фрагменты его очертаний. Но ведь мы с вами не знаем, кто это здание строит — или уже построил — и для чего? Мы лишь знаем, что кто-то действует и преследует какую-то цель. А привел вас ко мне страх. Вы просто боитесь, что второй поворот портрета может означать очередное появление смерти в Норфорд Мэнор. Но ведь мы еще не имеем ни малейшего представления о том, есть ли какая-то связь между первым поворотом портрета и смертью миссис Патриции Линч, и не является ли это простым стечением обстоятельств? С этими копытами тоже не все ясно. В конце концов, все это может иметь естественное и простое объяснение.

— Да... — шепнул сэр Александр. — Если бы так... Но ведь, кроме того...

— Знаю. Простите, что прервал вас и заговорил на эту тему открыто, но ситуация вынуждает нас быть искренними. Женщина, которую вы любили, умерла, и вы были уверены, что она совершила самоубийство, что она не любила вас. Теперь вас охватили внезапные сомнения. А может, любила? Может, она любила вас всегда, даже там, в Африке, сидя у постели больного мужа? Может, она все же хотела поехать с вами в это путешествие, о котором вы мечтали всю жизнь? И вот, не имея возможности вернуть к жизни возлюбленную, вы страстно желаете, хотя, быть может, сами себе в этом не признаетесь, чтобы это было не самоубийство, а убийство.

В тишине библиотеки слово это прозвучало и унеслось, оставляя позади себя пустоту. Самое главное было сказано. Теперь Джо знал, что дальнейшее зависит только от него. Он мог ограничиться этим утверждением. Он мог сказать себе, что сэр Александр Джилберн цепляется за нелепости и суеверия только затем, чтобы укрыться от правды. А этой правдой мог быть простой и прискорбный факт, что женщина, которая уже однажды оставила его, когда ей было восемнадцать лет, ушла от него вторично, но он не хотел верить этому, а хотел верить в то, что она его любила, и лишь злодейское убийство, совершенное неизвестным врагом, помешало им соединиться. Таково было самое простое объяснение его дальнейших поступков. Ведь все, о чем он рассказывал, было лишь туманными, неправдоподобными ссылками на некие отпечатки дьявольских копыт и портреты, которые сами ночью поворачивались лицом к стене. Ни один здравомыслящий человек не мог бы...

— Вы совершенно правы. — Сэр Александр тяжело вздохнул и выпрямился.

Кемпт перестал ходить по комнатам и присел на подлокотник кресла, барабаня пальцами по колену.

— Направляясь сюда, — продолжал адвокат, — я был почти убежден, что, в конце концов, вы должны прийти к этому выводу, если вы умный человек. А ведь я знал, что вы человек умный. Но суть в том, что факты, которые касаются меня лично, не исчерпывают этого дела. Если кто-то действительно убил Патрицию, то следует признать, что этот некто может убить и следующую жертву. И я серьезно опасаюсь, что подтверждение правильности этих моих подозрений не доставит мне большого удовольствия. Вы меня понимаете?

— Конечно. Но я не очень понимаю, что я могу для вас сделать. Ведь мы действительно не знаем, совершила ли миссис Патриция самоубийство? Точнее, мы знаем, что она его совершила, ибо это вытекает из расследования, проведенного полицией. В том, что вы до сих пор рассказали, не содержится никаких оснований для возобновления следствия, о чем, впрочем, вы, как юрист, знаете лучше меня. Поэтому я хотел бы спросить откровенно: какова конкретная цель вашего визита ко мне? Полагаю, вы не ждете, что я, как Шерлок Холмс, сидя у себя дома в удобном кресле и располагая лишь обрывками информации, при полном незнании места происшествия, сумею сказать: «Убил тот-то и тот-то, так-то и так-то…» Я выслушал ваш рассказ об очень печальном и (прошу извинить меня за это определение) очень интересном для меня случае. Слушая ваш рассказ, я подумал о нескольких возможностях иных решений, чем те, которые сами напрашиваются. Но, в конце концов, это ничего не продвигает вперед и наверняка не даст ответ на вопрос: может ли еще кто-нибудь быть убитым? Такой вопрос всегда является необоснованным, если мы не знаем мотива, по которому еще кто-либо может быть убит, а кроме того, мы не знаем, был

ли вообще кто-нибудь убит. Пока что вы знаете лишь о смерти близкого вам человека и о нескольких необычных событиях, которые имели место приблизительно в то же самое время. Теперь я хотел бы знать, зачем вы пришли ко мне и чего ожидали от разговора со мной? Если бы я должен был сам себе ответить на этот вопрос, я сказал бы, что вы пришли просить меня, чтобы я выяснил, как в действительности умерла миссис Патриция Линч и не угрожает ли опасность еще кому-нибудь в Норфорд Мэнор. К сожалению, то, что я услышал, не дает никаких оснований, чтобы я мог как-то вмешаться. В нашей стране существует закон, и все мы обязаны ему подчиняться. Представители этого закона преследуют преступников и защищают людей невиновных. Я всего лишь скромный автор детективных романов и никогда сам не принимал участия ни в каком расследовании, если меня не приглашали участвовать в нем представители полиции. Я не мог бы этого сделать и сейчас. Просто — я всегда хотел служить закону, но не выступать вместо него. И потому прежде всего я хотел бы узнать, почему вы, сэр Александр, имея столь многочисленные связи среди высокопоставленных деятелей полиции, не воспользовались ими, а пошли ко мне?

— И этого вопроса я ожидал от вас, — Джилберн опять вздохнул. — Но о чем, собственно, я мог бы уведомить полицию? О том, что мы нашли в гроте отпечатки копыт, или о том, что кто-то ночью повернул портрет в доме Эклстоунов? И какой ответ на это я мог бы получить от полицейских? Самые недалекие из них пожали бы лишь плечами, а те, кто поумнее, пришли бы к тому же выводу, что и вы: я любил женщину и не могу смириться с мыслью, что она совершила самоубийство вместо того, чтобы выйти за меня замуж. Все, что я мог бы представить в качестве доказательства того, что в Норфорд Мэнор происходит что-то непонятное, звучит настолько иррационально, что у меня не хватило мужества пойти с этим к кому-нибудь из известных мне чиновников. После длительного раздумья я решил обратиться в частное детективное агентство. Я подумал, что эти люди выслушают меня как обычного клиента и сделают все, что смогут, независимо от того, что обо мне подумают. Потому что, в сущности, мне это безразлично. Поскольку в Лондоне мы несколько раз встречались с присутствующим здесь мистером Томасом Кемптом и вместе обсуждали этот вопрос, я сообщил ему о моем намерении, и тогда Томас, который, по его словам, не только прочел все ваши книги, но и очень много знает о вас (хотя и я сам, конечно, немало о вас наслышан), посоветовал попытаться сначала прийти к вам и все рассказать. И если вы заинтересуетесь нашим необычным рассказом, тогда, быть может, нам удастся уговорить вас на то, чтобы... — он заколебался. — Может, это с моей стороны слишком смело, но я человек весьма состоятельный, и если бы вы могли посвятить какое-то время пребыванию в Норфорде, я бы, конечно... любая компенсация…

Джо улыбнулся.

— Я тоже, как вы это назвали, являюсь человеком весьма состоятельным. А кроме того, я не занимаюсь розыском преступников ради выгоды. Это вообще не может входить в расчет.

Джилберн склонил голову.

— Я не хотел вас обидеть. Но, согласитесь, трудно просить незнакомого человека, чтобы он бескорыстно посвятил свое время и...

— Кроме того, имеется еще одно препятствие, — сказал Джо. — У меня есть срочные обязательства по отношению к моему издателю, а сразу же после окончания работы над книгой я должен выехать в Грецию. Я уже заказал авиабилет на восемнадцатое. Очень сожалею, поверьте, право.

По выражению лица было видно, что он действительно сожалеет.

— Жаль, — сказал Кемпт, вставая. — У меня было впечатление, что вы единственный, кто мог бы нам помочь. Впрочем... — он подошел к Алексу и встал напротив, глядя ему прямо в глаза, — вы всего этого можете и не понять, потому что вы там не были. Но в самой атмосфере Норфорд Мэнор есть что-то такое, чего мы боимся, как самого Дьявола. И прошу поверить, мистер Алекс, меня не покидает ощущение, что если чего-то не предотвратить, вскоре может случиться нечто ужасное. К сожалению, я всего лишь обычный архитектор и не знаю, что именно следует предотвратить и что страшное может случиться. Но это ничего не меняет!

— А на чем основаны ваши опасения? Только ли на этом повороте портрета?

— Не знаю! Не только. На всем. На поведении живущих там людей, на разговорах за столом, на нашей мнимой веселости. Ведь мы все притворяемся, будто ничего не случилось и ничего не может случиться. Но я верю, что над Норфорд Мэнор нависло что-то ужасное. И если бы не то, что я так многим обязан этим людям, я бы не вернулся завтра туда и остался в Лондоне. Но я вернусь, потому что должен. Вы можете считать меня истеричным идиотом после того, что я сейчас сказал, но это никак не изменит того, что надвигается.

— Гм... — пробормотал Джо. Он хотел еще что-то сказать и уже открыл было рот, но не сказал. В отличие от Джилберна, Кемпт ведь не любил эту женщину, которая умерла, вернувшись после многолетнего добровольного изгнания. Он был настолько молод, что, вероятно, почти или даже совсем ее не помнил. Кроме того, он отнюдь не выглядел слабонервным человеком. А ведь у Кемпта возникло то же самое предчувствие, что и у Джилберна: во мраке поднимается вооруженная преступная рука, которая нанесет удар, если...

Алекс поднял голову и посмотрел на Джилберна.

— Не знаю, насколько это пригодится вам или кому-нибудь другому. Но если бы вы нашли для меня какой-нибудь спокойный угол в вашем доме, где можно поставить пишущую машинку и никому не мешать, возможно, я бы смог приехать к вам на пару дней... Но я, в самом деле, не думаю, что это может кому-нибудь помочь. Ведь я...

— Значит, вы все-таки приедете! — Джилберн сорвался с кресла и, опираясь одной рукой на палку, протянул другую Алексу. — Благодарю вас, — сказал он коротко. — Через час я уезжаю, чтобы все приготовить. Вы найдете просторный пустой дом, тишину, необходимую для работы, и прекрасный вид из окна на старую каштановую аллею.

Он умолк. Его радость была настолько искренней и непосредственной, что даже Джо, который уже начал жалеть о своем согласии, улыбнулся.

— Только у меня к вам одна маленькая просьба. Я прошу вас никому не открывать ни моей профессии, ни фамилии. Это вызвало бы ненужное замешательство. Люди, которые знают, что кто-то наблюдает за ними и прислушивается к их беседам с какой-то определенной целью, ведут себя, как правило, неестественно. Может, лучше всего будет, если вы пригласите меня как своего знакомого, который собирает материалы для книги о процессах ведьм. Это было бы хорошим оправданием моего появления в этом малопосещаемом уголке страны, а кроме того, позволит мне свободно проявлять интерес к вопросам, которые меня интересуют. Пусть меня зовут Джеймс Коттон, если не возражаете. Это касается вас, сэр Александр. Потому что мистера Кемпта я вообще никогда в жизни не видел и познакомлюсь с ним только на месте. Кроме того, мой интерес к процессам ведьм облегчит мне доступ в Норфорд Мэнор через мистера Ирвинга Эклстоуна. Не будет ничего необычного в том, что, находясь поблизости от столь знаменитого

ученого, я пожелаю посетить его, планируя издание книги из той области, где он является признанным авторитетом. Все остальное мы обсудим после моего приезда, если возникнет необходимость. Вас это устраивает?

— Конечно! — сэр Александр еще раз сердечно пожал ему руку. — Меня бы это устроило даже в том случае, если бы вы приехали ко мне в качестве китайского императора. Я так хочу, чтобы вы оказались там как можно скорее. Это дело… это дело… — Он махнул рукой. — Да вы и так все понимаете... Я очень надеюсь, что вам удастся дать нам окончательный ответ…

— Я постараюсь изо всех сил, — сказал Джо, прощаясь с ними и проклиная в душе сэра Александра Джилберна, Томаса Кемпта, всех дьяволов, запыленные портреты предков, своего издателя и больше всего самого себя за полное отсутствие твердости характера. Ведь несмотря на то, что его заинтриговали события в Норфорд Мэнор, он не имел никакого права и никакой возможности выехать, если бы отвечал за свои поступки, как должен отвечать взрослый и благоразумный человек. Да, но если бы Джо был благоразумным человеком, то, наверно, работал бы он сейчас продавцом в магазине готовой одежды или обуви. Благоразумные люди всегда побеждают свое воображение. Если оно у них есть.

В холле он еще спросил:

— Этот портрет был повернут лицом к стене в воскресенье утром, верно?

— Да, — ответил Кемпт.

— А кто находился тогда в Норфорд Мэнор? Те же лица, которые были там, когда это случилось впервые?

— Те самые.

— И те же лица спали в доме, когда умерла миссис Линч?

— Те же самые.

Он попрощался с гостями, вернулся в библиотеку и тотчас сел за стол, на котором стояла пишущая машинка, приготовленная к работе. Джо хотел сегодня сделать как можно больше, чтобы иметь достаточно свободного времени на новом месте.

Он писал всего час, и когда спустя некоторое время Хиггинс вошел, чтобы сообщить о том, что ланч подан, он обнаружил Алекса вытянувшимся в кресле и почти невидимым за обложкой огромной книги в переплете из пожелтевшего пергамента. Очень толстая книга была напечатана шрифтом шестнадцатого столетия с разноцветной буквицей. Она называлась: «Pseudomonarchia Daemonium».

— Хорошо, — сказал Джо, не поднимая головы. — Сейчас иду.

Но он не пошел, и Хиггинс был вынужден постучать второй раз, докладывая, что суп остыл, а кухарка плачет над пригоревшим бифштексом. Алекс вздохнул, вскочил, положил тяжелый том на столик и сказал без всякого видимого смысла:

— О мой Бог, мой великий, добрый Бог!

И направился к двери, что-то тихо бормоча. Потом остановился перед Хиггинсом.

— Сколько дьяволов имеет к своим услугам Люцифер, Великий князь ада? — спросил он, приставив к груди Хиггинса выпрямленный палец, словно дуло пистолета.

— Боюсь, что не знаю, сэр, — невозмутимо серьезно ответил Хиггинс.

— Семь миллионов четыреста пять тысяч девятьсот двадцать шесть! — воскликнул Алекс. — Так сообщает преподобный Джон Уир. К этому нужно добавить семьдесят два простых князя и самого шефа.

Итого будет сколько?.. Семь миллионов четыреста пять тысяч девятьсот девяносто девять. Верно?

— Совершенно верно, сэр. Вы подсчитали точно.

— К счастью, я буду иметь дело только с одним. Но зато с таким, который даже юриста сумел напугать.

— Я позволю себе заметить, что это, вероятно, и будет тот самый шеф, о котором вы упомянули, сэр.

— Возможно, возможно... Я сегодня уезжаю, Хиггинс. Вернусь через пару дней, во всяком случае, восемнадцатого утром буду дома точно... не позже.

— Слушаюсь, сэр. Дом в любом случае будет вас ждать, сэр. А если кто-нибудь начнет о вас спрашивать, сэр? Что я должен ответить? Быть может, сообщить какой-нибудь адрес, сэр?

— Да, скажите, что я отправился к Дьяволу.

И тихо посвистывая, Джо Алекс направился в столовую.

## Глава IV

## Начало дороги в ад

После ланча Джо вернулся в библиотеку, но уже больше не писал и не читал. Он долго сидел неподвижно, опершись головой на спинку кресла и глядя в окно невидящим взором. Потом прикрыл веки и сказал вполголоса:

— Да, но тогда никто бы не повернул портрет… Там нет детей или подростков, а взрослый человек не может так поступить, просто не может. Значит, она действительно убита? Нет, не обязательно. Может иметь место интересная цепочка случайно сложившихся обстоятельств. Это довольно неправдоподобно, но возможно... Тогда, конечно, ничего никому не грозит, а я потеряю массу времени и поеду в Грецию, не закончив книгу, или буду заканчивать книгу, но не поеду в Грецию. Разумеется, произойдет первое. Но зачем я размышляю об этом, раз уже пообещал? А пообещал я потому, что убежден: дело тут нечисто... Я даже уверен в этом, хотя не сумею объяснить кому-нибудь, например, Паркеру, почему я уверен. А Паркер наверняка спросит меня: почему?.. Ну ладно! Это неважно…

Джо открыл глаза, встал и медленно прошелся по библиотеке, проведя пальцами по корешкам книг.

— Ну, а если все же иначе?.. — пробормотал он. — Тогда может состояться грандиозный спектакль. Дьявол и его аудитория. Все свои. Здравствуй, шестнадцатый век! Но почему именно я? А потому, что он должен нанести удар, если все обстоит так, как я думаю... А ведь, пожалуй, все так и есть, как я думаю...

Он вышел в холл и снял телефонную трубку. Потом, не глядя на диск, набрал номер:

— Да... с суперинтендантом Паркером… Спасибо. Это ты, Бен?.. Да, я. Нет, ничего. Хотел бы с тобой повидаться... Да, сейчас. У тебя в офисе. Да, мне очень нужен Скотленд-Ярд. Как видишь, такое тоже в жизни случается... Что?.. Нет, нет, спасибо! Буду у тебя через пятнадцать минут.

Он вызвал Хиггинса, продиктовал список вещей, которые хотел бы видеть в своем обычном дорожном чемодане, и велел приготовить еще один чемодан — пустой. Потом вышел.

Машина стояла в тени дерева, растущего на тротуаре напротив дома. Несмотря на это, внутри было жарко. Джо сел и опустил стекло. Он ехал,

тихо посвистывая и наслаждаясь теплым, слабым ветерком, обдувающим плечи и шею. Его худощавое лицо, обычно безмятежное, стало серьезным и выражало все нарастающую озабоченность. А когда он подъехал к Вестминстеру и остановил машину перед выходящим на реку огромным зданием, которое семьдесят лет назад Норманн Шоу так живописно спроектировал для главного управления Лондонской полиции, лицо его стало просто угрюмым.

Дежурный полицейский сразу провел его в кабинет Паркера, который находился за одним из тысячи поворотов коридора на втором этаже. При виде гостя суперинтендант поднялся из-за стола.

— Мы давно тебя здесь не видели, Джо. Надеюсь, ничего страшного не случилось? — рассмеялся он и придвинул гостю стул.

Но Джо не ответил улыбкой. Его бледное, слегка веснушчатое лицо было мрачным, и он не делал ни малейшего усилия, чтобы это скрыть.

— Нет, ничего страшного не случилось. Если, конечно, не считать того, что ты, как и все чиновники, имеешь отвратительную привычку говорить о себе во множественном числе, когда к тебе зайдешь на работу. А потом — этот стул. Я понимаю, что такую мебель можно подсовывать на допросах. Посидев на таком стуле десять минут, сознаешься в чем угодно, лишь бы поскорее усесться на уютный тюремный табурет. Откуда вы берете такие жуткие вещи? — Он встал, отодвинул от себя стул и присел на угол стола, сдвинув лежащие на нем бумаги. Паркер рассмеялся и хотел что-то сказать, но Джо добавил: — И еще один вопрос. Каким чудом вы попадаете утром в свои кабинеты? Я миновал по пути к тебе, по крайней мере, сто одинаковых дверей. Каждый раз бывая тут, я пытаюсь угадать, которая же из них твоя, и всегда ошибаюсь.

— Привычка... — сказал Паркер. — Верблюды тоже знают, где их дом, даже когда находятся в центре пустыни. Это ответ на второй вопрос. Ответ на первый звучит так: такие стулья закупило для нас Британское королевство пятьдесят лет назад, и ничто не в силах убрать их отсюда, пока они не износятся. Полиция весьма бережливое учреждение. Мы не тратим зря ничего, даже времени, хотя, быть может, и употребляем, говоря о себе, множественное число, как и все правительственные чиновники.

Алекс, закинув ногу на ногу, с минуту балансировал на краю стола.

— Означает ли этот тактический намек, что я не должен мешать тебе в установлении достопамятного факта, свидетельствующего о том, что мистер А. Б. Шоукросс, «Импорт мехов и ценных звериных шкур», преступно уклонился от уплаты вышеупомянутому Британскому королевству суммы в размере двух фунтов четырех шиллингов и одиннадцати пенсов налога с оборота, подделав при помощи резинки и химического карандаша счет от мистеров «Бенби и Бенби», которые приобрели у него медвежью шкуру для украшения кабинета директора фирмы?

— Бог мой, когда ты успел это прочесть? — Паркер подошел к столу и собрал бумаги. — Спасибо, Джо. Ты учишь меня прилежному исполнению служебных обязанностей. А с завтрашнего дня мне это еще больше понадобится.

Он открыл ящик стола, вынул оттуда маленькую плоскую бутылку и два стаканчика.

— О! — сказал Алекс. — А я думал, ты на службе.

Несмотря на шутливый тон, в его голосе прозвучало удивление. Он взял стаканчик из рук Паркера и выпил виски одним глотком.

— Это как раз то, что мне сейчас нужно. Однако вернемся к теме: у вас что, какие-то перемены?

— Джо, — сказал Паркер торжественно. — Я начал работать здесь за шесть лет до начала войны. И кроме перерыва на время военных действий, когда, как ты знаешь, я был вынужден легкомысленно доверить свою жизнь бортового стрелка твоему пилотажному искусству, я не пропустил ни одного рабочего дня и ни разу не нарушил служебный устав. Признаюсь со стыдом, что устав этот казался мне порой бессмысленным в некоторых его пунктах, но я всегда подчинялся ему...

— Что же здесь удивительного? — вздохнул Алекс. — Такие, как ты, всегда строили пирамиды… для других.

— Возможно, но я исходил из менее фундаментальных предпосылок. Просто мне казалось, что те, кто стоят на страже закона, не должны его нарушать...

— «А на висках пастушки милой горит венок из белых лилий...» — пропел Джо, но Паркер не дал себя перебить.

— И вот вчера моего непосредственного начальника, уважаемого мистера Джошуа Беллоуза, перевели на более высокий пост в Министерство, а я назначен на его место в должности заместителя начальника Департамента уголовного розыска. С завтрашнего дня я буду исполнять свои обязанности в кабинете этажом ниже, а когда ты придешь меня навестить, то сядешь уже не на стул, а в кресло, и поставишь свои стопы на служебный ковер второго класса. Ковры же первого класса лежат только в кабинетах начальников отделов.

Он рассмеялся и снова наполнил стаканчики.

— Поздравляю, Бен! — лицо Джо прояснилось впервые в этот день. — Это действительно прекрасная новость. Передай от меня миссис Паркер и мальчикам, что я за тебя очень рад. Не знаю более заслуженного повышения!

— Ты как всегда преувеличиваешь…

Паркер встал и обошел стол. Он раскраснелся и выглядел настолько счастливым, что Джо, который любил его больше всех известных ему людей, за исключением, может, лишь Каролины, ласково похлопал его по плечу.

— Я знаю, как многим тебе обязан, Джо... — сказал Паркер серьезно. — Если бы не ты, я пару раз дал бы маху, а может, и того хуже: допустил бы осуждение невиновного человека.

— Ерунда, — сказал Алекс. — Просто я, как частное лицо, могу работать с развязанными руками. А имея в распоряжении помощь всего вашего аппарата и доступ к вашим архивам, нахожусь в превосходной ситуации.

— Кстати, чуть не забыл! — Паркер вернулся к столу и перелистал бумаги. — Я же вынул из ящика перед твоим приходом... Ага, вот! — он взял продолговатую белую карточку. — Это твое удостоверение. С сегодняшнего дня ты официальный криминальный эксперт Скотленд-Ярда.

Алекс взял удостоверение и осмотрел его.

— А зачем это мне? — спросил он.

— Приближаются выборы, и мы опасаемся, что какая-нибудь оппозиционная газета может поднять шум. Пресса тебя любит, но когда начинается предвыборная кампания, все симпатии идут побоку. А так никто не посмеет написать, что частные лица допускаются к следствию. Так что: посвящаю тебя в почетные полицейские!

— Ну что ж, это может когда-нибудь пригодиться... — Алекс спрятал удостоверение в карман. — Но я пришел сюда не для того, чтобы получить бумажку, которую, вероятно, никогда никому не покажу... — Вопреки своим недавним словам, он сел на неудобный стул и посмотрел на друга. — Бен, я сегодня уезжаю. Я еду в Велли Хауз, в графстве Саффолк, и буду жить

несколько дней в доме сэра Александра Джилберна, поблизости от деревни Норфорд. Ты знаешь, где это?

— Нет, — Паркер отрицательно покачал головой, — никогда не слышал об этой местности. Зато слышал о сэре Александре Джилберне. И даже знаком с ним лично.

— Тогда сейчас ты мне о нем расскажешь, если можно. Но сперва я попрошу тебя о другом. Дело в том, что меня интересует не столько сэр Александр, сколько местность Норфорд Мэнор, находящаяся по соседству с его домом. Исходя из простейших логических выводов, в прошлом месяце там была убита одна женщина. Полиция пришла к выводу, что это самоубийство. Я, впрочем, не виню полицию, поскольку убийца, как мне кажется, личность весьма хитрая и ловкая.

— Ты уверен в том, что говоришь?

— Не только, — покачал головой Джо. — Я просто убежден, что так было. Я еще не знаю героев этой мрачной драмы, кроме двоих. Но... — И он рассказал Паркеру о визите Джилберна и Кемпта.

Когда Джо закончил свой рассказ, его друг кивнул головой.

— Да, это выглядит серьезно. Хотя я не могу сказать, что убежден в полной невозможности самоубийства.

— Во-первых, — Алекс загнул палец правой руки, — почему она не оставила записки этому бедняге? Во-вторых, зачем она вынула ключ из замка и положила на стол? В-третьих, откуда взялись следы в гроте и на книжке? В-четвертых, зачем перевернут портрет?.. В-пятых... в-пятых — есть огромное богатство, владелица которого доживает парализованная, сломленная годами и болезнью, отгороженная от мира обездвиженностью и отсутствием возможности общения. В-шестых... Сомневаюсь, угадаешь ли ты.

— Нет... — Паркер покачал головой. — И эти пять пунктов, которые ты перечислил, тоже меня не убедили. Бывает и большее скопление отягчающих обстоятельств, а потом они порой оказываются либо случайным совпадением, либо теряют свою силу, если рассмотреть их в другом порядке, чем того хочет разыгравшееся воображение. Но что в-шестых?

— А то, что портрет снова перевернут на минувшей неделе.

— Ну и что из этого? Это могла быть просто шутка.

— Возможно. Но по пути сюда я продумал все это дело еще раз. В Норфорд Мэнор нет ни одного ребенка и ни одного подростка. Исключительно взрослые люди. Несколько недель назад в доме умерла дочь владелицы поместья. Не могу представить, чтобы шутка, которая имела место за несколько часов до смерти Патриции Линч, могла быть кем-то повторена. Взрослые люди относятся к трауру иначе, чем дети. Ребенок мог бы недооценить ситуацию, наконец, просто не понимать ее. Дети не принимают близко к сердцу ничего и никого, кроме самих себя. А кроме того: что это за шутка? В чем она заключается? Кто и почему должен был увидеть нечто смешное в том, что портрет основателя Норфорд Мэнор повернут лицом к стене?

— А ты видишь какую-либо причину, по которой это могло кому-то понадобиться?

— Вижу.

— И какую же?

— Сначала подумай о чем-то другом: о довольно странном факте отсутствия отпечатков пальцев человека, который перевернул этот портрет. Совершенно невозможно предположить, что человек, который сделал это перед смертью Патриции Линч, мог опасаться, что кто-то будет снимать отпечатки его пальцев. Да и кто это мог сделать? Для этого нужна специ-

альная передвижная лаборатория, пусть маленькая, это правда, — но тем не менее, должен был бы приехать полицейский эксперт. Из этого можно сделать лишь один вывод: портрет перевернул человек, который знал, что в этом доме вскоре будет совершено убийство. А знать об этом могли только Патриция Линч, если бы она действительно собиралась совершить самоубийство и по неизвестным нам причинам перевернула портрет, или... ее будущий убийца.

— Да, это разумно, — Паркер, который некоторое время улыбался, стал серьезным. — Это довод или почти довод того, что миссис Линч была убита. Поскольку портрет после ее смерти был повернут снова, ясно, что не она была тем лицом, которое не хотело оставлять отпечатки своих пальцев. Конечно, в нашем рассуждении могут быть некоторые небольшие пробелы... Но что вообще означает это идиотское переворачивание портрета?..

— Очень многое. — Алекс поднялся со стула. — Столь многое, что у меня даже мороз пробегает по коже, когда я об этом думаю. Вот это и есть наихудшее.

— Что именно?

— То, что ни этот поворот портрета, ни следы копыт в гроте и отпечаток одного из них на книге в комнате умершей пока ничего не значат.

— Ты не мог бы говорить чуть яснее? Я всего лишь скромный чиновник, и хотя по долгу моей неблагодарной службы вынужден разгадывать множество загадок, не хотелось бы, чтобы еще и мои друзья мне их загадывали.

— Это никакая не загадка, Бен. Просто мы должны обратить внимание на тот факт, что убийца сделал целый ряд непонятных ходов, которые были совершенно не нужны для убийства Патриции Линч. Мало того, он перевернул портрет уже после ее смерти и, пожалуй, преднамеренно вызвал немедленный всплеск подозрительности у Джилберна и Кемпта. Не забывай, что именно этот второй поворот портрета и явился непосредственной причиной их визита ко мне. Убийца, которому удалось внушить миру, что его жертва совершила самоубийство, добровольно отказывается от своей безопасности и как бы предупреждает окружающих, что он существует и что собирается нанести следующий удар. Зачем?

— Не требуй от меня ответа, — пробормотал Паркер, — думаю, что сейчас ты и сам от себя его не требуешь.

— Не совсем. Потому что, когда убийца совершает абсолютно ненужные поступки и возобновляет их после смерти жертвы, я вынужден прийти к выводу, что в его планы входит не только одно это убийство. Вот почему я сказал, что самое худшее — это с виду бессмысленное переворачивание портрета и появление следов копыт в гроте. Я уверен, что убийца действует необычайно точно и логично, а его бессмысленные на вид поступки окажутся в конце наиболее целенаправленными. Все как будто указывает на то, что удар будет нанесен уже в ближайшем будущем. Именно поэтому, хотя это и нарушает все мои планы на ближайшее время, я еду в Норфорд. И еду туда с очень тяжелой душой, потому что мне хотелось бы успеть вовремя и предотвратить удар. А между тем, это может оказаться вовсе не таким простым, тем более что убийца, похоже, не опасается никого и ничего. Это дьявольская история, Бен.

— Как и всякая история, в которой принимает участие Дьявол, — сказал Паркер. — А зачем ты приехал сюда? Тебе что-нибудь нужно от нас? Признаться, я уже несколько минут думаю, не должна ли полиция вмешаться во все это.

— Во что именно? — спокойно спросил Алекс. — В мои предположения? Патриция Линч покончила жизнь самоубийством. Так, по край-

ней мере, утверждает заключение властей, и вероятно, сейчас не удалось бы собрать достаточного количества доказательств для его пересмотра. А какие у тебя есть основания полагать, что один житель Норфорд Мэнор хочет убить другого жителя Норфорд Мэнор? Одни лишь мои гипотезы. На этом основании ты не только не можешь возобновить следствие по делу смерти Патриции Линч, но даже просто допросить кого-либо. Не потому, что ты не имеешь права это сделать, а просто потому, что, допрашивая людей, нужно их о чем-то спрашивать. А о чем бы ты их спрашивал? Что бы ты искал? Все пока серо, туманно и бессмысленно, а главное, совершенно друг с другом не связано. Чудовищность этого дела заключается в том, что факты могут сложиться в логичное целое лишь тогда, когда свершится следующее преступление. Но тогда, можешь быть уверен, — они сложатся так, как хочет того убийца. Ведь само то, что он не скрывает факты, а напротив, старается сообщить о них как можно большему числу лиц, может означать лишь то, что: а) они несущественны для дела и тогда не имеют никакого смысла или б) они существенны, но таким образом, что помогут убийце в его планах. Конечно, есть еще третья возможность: весь этот кошмар создан безумцем или кем-то симулирующим безумца и желающим создать полный хаос. Так что не говори, что полиция должна решительно вмешаться. Сам видишь, как сейчас трудно хоть приблизительно описать, что там произошло и происходит.

— Но ведь мы не можем допустить, чтобы убийца спокойно действовал рядом, а мы сидели сложа руки, Джо! Я отлично понимаю, что не могу приехать туда в полицейском автомобиле с воющей сиреной, наручниками в кармане и разработанной операцией по задержанию преступника. Но ведь можно установить негласное наблюдение и надзор за объектом, где действует возможный преступник. Иначе он может не только совершить преступление, но и навсегда остаться безнаказанным.

— Конечно. Но разве мое посещение Норфорд Мэнора не будет как раз таким негласным наблюдением и надзором над местом, где он действует? Неужели ты думаешь, что я принял бы приглашение Джилберна, если бы видел какой-нибудь иной выход из этой ситуации? Но главное, что поражает меня в этом деле уже с самого его начала, — это смерть человека, окруженная бессмысленными фактами, относящимися к давно минувшей эпохе. И отсутствие какого-либо ключа. Но корни этого дела находятся там, на месте, и я думаю, нет смысла говорить больше на эту тему, пока я не окажусь там и не сориентируюсь в ситуации. А пока хотел бы получить из архива Скотленд-Ярда все возможные данные о сэре Джилберне, Томасе Кемпте, Ирвинге Эклстоуне, Джоан и Николасе Робинсонах, а также, если это возможно, мне бы хотелось, чтобы вы тщательно изучили прошлое доктора Арчибальда Дюка и сестры милосердия Агнес Стоун. Если в биографии кого-нибудь из этих лиц есть что-либо, что покажется неясным или важным для нашего дела, прошу немедленно мне сообщить, хорошо? И наконец, последняя в списке, но отнюдь не последняя для нашего дела проблема: парализованная старушка, Элизабет Эклстоун. Я хотел бы знать о ней как можно больше. Быть может, вся эта история имеет свои корни где-то в прошлом. Может, это месть? Эклстоуны достигли богатства без больших скандалов и драматических конфликтов, но ведь не все попадает в печать. Кроме того, это времена довольно давние. Муж миссис Элизабет действовал главным образом в Малайзии. А ведь ты знаешь, сколько людской крови пролилось в битве за каучук и какие чудовищные вещи происходили на плантациях. У людей, сколотивших в колониях миллионы, не может быть чистых рук ни по отношению к туземцам, ни по отношению к конкурентам. Там все решал закон джунглей, и если Эклстоун победил,

то наверняка ему пришлось совершить пару поступков, которые не совсем совпадают с нашими представлениями о поведении джентльмена. Это все может иметь значение… хотя против этого свидетельствует тот факт, что человек этот умер много лет назад, а его вдова давно удалилась от дел... Я думаю, однако, что решение следует искать в другом месте, тем более что Дьявол, о котором я думаю, — фигура, весьма тесно связанная с окрестностями Норфорда. Но сейчас еще ничего не ясно, и мне хотелось бы иметь полную картину как можно скорее.

— Ты совершенно прав... — Паркер снял трубку и связался с архивом. Он сообщил невидимому собеседнику фамилии, записанные на листке, и попросил выполнить работу срочно. Потом положил трубку. — Если когда-нибудь кого-то из этих лиц хотя бы в минимальной степени коснулся уголовный кодекс или они оказались в кругу подозрений, касающихся какого-либо дела, связанного с преступностью, мы узнаем об этом через десять минут.

Они сели и закурили. С минуту Паркер молчал. Он был мрачен, и Джо с удовольствием думал, что его друг все же, наверно, очень хороший полицейский, если трудное дело смогло омрачить его радость по поводу столь значительного служебного повышения.

— Я все еще не уверен, хорошо ли это, что у меня нет никакой концепции по поводу того, как взяться за это дело, если исключить твое в нем участие, — сказал, наконец, Паркер. Движением руки он остановил Алекса. — Знаю, знаю, что это простейший выход, но я не могу сидеть спокойно, думая о том, что, быть может, в эту минуту Дьявол потирает руки и спокойно приближается к своей жертве. Твоей поездки туда недостаточно, тем более что ты хочешь скрыть свою фамилию и преступник даже не будет предупрежден о твоем присутствии. Значит, факт твоего приезда не остановит его. А ведь самое важное, мне кажется, не допустить следующего преступления, если, разумеется, твоя гипотеза верна, а надо признаться, я не вижу в ней слабых мест. Плюс ко всему, ты даже не будешь жить в этом доме.

— Тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь... — Джо развел руками. — Я сделаю все, что смогу, чтобы предотвратить удар. В то же время я не очень представляю, что может сделать полиция по отношению к еще не совершенному преступлению. Не зная при этом, кто и кого хочет убить. Даже если бы ты с сегодняшнего вечера приставил к каждому жителю Норфорд Мэнор ангела-хранителя в мундире, Дьявол подождет. Это мы проходили еще в воскресной школе: Дьявол всегда ждет, пока ангел-хранитель зазевается. Кроме того, у меня сложилось довольно необычное впечатление, что он хочет, чтобы в Норфорд Мэнор началось расследование, и очень заинтересован в том, чтобы полиция занялась смертью Патриции Линч.

— И это тоже совершенно непонятно, — сказал Паркер.

— А у меня есть одна маленькая гипотеза на этот счет... — тихо сказал Алекс. — Но она пока так же туманна, как и все мои остальные предположения. Я знаю точно лишь одно: приезд полиции в Норфорд Мэнор никого бы не уберег от Дьявола, а даже, в известной мере, помог бы ему в его замыслах. А знаю я это от самого Дьявола, который в воскресенье снова перевернул картину и снова оставил отпечаток своих копыт в гроте.

Паркер тряхнул головой.

— В таком случае мы имеем дело с исключительной личностью в преступном мире.

— А кто же тебе сказал, что Дьявол принадлежит к заурядным личностям? — Алекс мрачно усмехнулся.

В ту же минуту зазвонил телефон. Паркер снял трубку и некоторое время молча слушал. Наконец сказал:

— Благодарю, Питер, — и положив трубку, обратился к Алексу: — Ни одно из названных тобой лиц не фигурирует в наших архивах. Ты, конечно, понимаешь, что это значит:

— Понимаю. Это значит, что мы имеем дело с исключительно добропорядочными гражданами. Этого следовало ожидать. — Он встал. — Остается еще прислуга. Но о ней, пожалуй, лучше всего расскажет начальник местной полиции, верно?

— Верно, — Паркер тоже встал. — Будем надеяться, что ничего не случится. — Он вздохнул. — Меня беспокоит еще кое-что. Когда ты будешь на месте, тебе наверняка захочется выяснить, кто совершил первое преступление, ибо в таком случае мы автоматически сможем предотвратить второе, отправляя нашего Дьявола в ад при помощи столь надежных и определенных законом средств, как веревка и высокая поперечная балка. Но следует также принять к сведению и то, что такая перспектива покажется Дьяволу отнюдь не самой забавной и он может прийти к выводу, что ты должен оказаться в аду раньше него.

— Я еду туда под псевдонимом...

— Да, но, по крайней мере, двоим среди немногих действующих лиц этой истории известно, кто кроется за этим псевдонимом. А ведь кто-то из Норфорд Мэнор, согласно нашим предположениям, и является Дьяволом. Не говоря уже о том, что им может быть один из твоих сегодняшних гостей или кто-то из них может просто проговориться. Кроме того, Дьявол может знать тебя по твоим многочисленным фотографиям в газетах и на обложках твоих книг. Твой издатель имеет, к сожалению, привычку таким образом рекламировать своих авторов. Ты очень популярен. Следует об этом помнить.

— Я спокоен за себя. Даже если любая из этих возможностей реализуется, я не думаю, что Дьявол захочет нанести удар мне.

— Откуда ты можешь это знать?

— На основании того предположения, которое я уже высказывал. Если Дьявол хочет заманить полицию на место преступления, то ведь он это делает не затем, чтобы убивать полицейских, а для того, чтобы их руками совершить убийство какого-то ни в чем не повинного человека.

— Не выношу, когда ты с такой уверенностью говоришь о вещах, на счет которых у нас обоих нет пока даже самого туманного представления. — Паркер по-прежнему хмурился. — Я принимаю твою гипотезу потому, что она эффектна и может оказаться правдивой. Но ведь в действительности все может обстоять совершенно иначе. В конце-то концов, это же могло быть и самоубийство, верно?

— Если господа Кемпт и Джилберн обманули меня, что кажется совершенно невозможным, или скрыли от меня что-то, что более вероятно, хотя и не совсем правдоподобно, то, по моему скромному убеждению, Патриция Линч была убита.

— Тогда зачем преступник снова раскапывает это дело? — Паркер вытер со лба пот.

— Чтобы привлечь к нему внимание полиции, направить ее на ложный след и обвинить кого-то невиновного. Будь я Дьяволом, то всегда поступал бы таким образом. Извращение истины — основное развлечение властелина ада. Неслучайно его еще называли Князем Притворства.

— Кого? — спросил Паркер, тяжело опускаясь в кресло. — О ком ты говоришь?

— О Дьяволе. Все время только о Дьяволе. Но скажи мне еще: на территории какого отделения полиции находится Норфорд?

Паркер вздохнул, снова вытер лоб и усталым движением вынул из ящика большую, сложенную несколько раз, карту страны. Она была разбита на маленькие разноцветные поля. С минуту он двигал по ней пальцем.

— Блю Медоуз... Маленький городок. Сержант и четыре констебля. Как же этого сержанта зовут? — Он снял с полки толстую книгу, похожую на телефонную. — Так... Блю Медоуз... Вот. Сержант Хью Кларенс. Я его даже знаю. Это был наш человек из Ярда. Ему прострелили легкое, и начальство перевело его в деревню с хорошим климатом. Умный парень.

— Это хорошо. — Джо встал. — Я задержусь у него на пару минут по пути в Велли Хауз. Может, он расскажет мне что-нибудь об окрестностях, этот Хью Кларенс. — Джо полез в карман. — Этого удостоверения будет достаточно? Смотри-ка, оно начинает быть полезным, прежде чем я успел его хорошо разглядеть.

— Конечно. Только есть ли в Англии полицейский, который бы о тебе не слышал?

— Я совсем забыл, что придется сообщить ему настоящую фамилию. Я еще никогда не пользовался чужой.

— Привыкнешь... — угрюмо пробормотал Паркер. — Ко всему можно привыкнуть, даже к Дьяволу. Тогда он становится менее эффектным, но зато более опасным, потому что становится очень похожим на человека. — Он подмигнул Алексу, который протянул ему руку.

— Спасибо за добрый совет. — Джо задержался в дверях. — Старина Платон утверждал, что стремление судорожно держаться за чувства и невозможность оторваться от них является наибольшей помехой в поисках истины.

— Твой приятель Платон забыл, что в Афинах тоже была тайная полиция, не говоря уже об эринниях[1]. Это были добрые старые времена, когда преступников еще терзали угрызения совести... — Он снова стал серьезным. — Если я тебе там понадоблюсь — появлюсь через час. Звони сюда. Здесь всегда знают, где меня найти. Оружие взял?

— Ну разумеется. Буду стрелять без предупреждения во всех встречных граждан с рогами.

Они вышли. Паркер в молчании проводил его до самого выхода и, оглянувшись в дверях, смотрел вслед удаляющейся машине. И хоть, расставаясь, они шутили, Джо заметил в зеркальце заднего вида, что новый заместитель шефа Департамента уголовного розыска Скотленд-Ярда смотрел ему вслед озабоченным взглядом.

## Глава V

## Здравствуй, Дьявол!

Шоссе плавно наискосок поднималось вверх, а потом опускалось вниз и тянулось, словно асфальтовая рука, к виднеющемуся вдали сказочно красивому городку, который лежал в глубине зеленой долины, выделяясь четкими линиями белых и красных домиков.

БЛЮ МЕДОУЗ — 1 миля — прочел Алекс на указателе, мелькнувшем с левой стороны дороги. Он сбавил скорость и въехал в городок. Дорога привела его к маленькой чистой рыночной площади, вокруг которой стояли дома, построенные, вероятно, во времена открытия Америки.

[1]Эриннии (*гр.*) — богини проклятия, кары и мести. Преследуют и карают преступников.

«Здесь были повешены те четырнадцать женщин, — вдруг подумал Джо. — Именно здесь, на этой рыночной площади, в городе Блю Медоуз... Сэр Джон Эклстоун, несомненно, тоже присутствовал и, наверно, спокойно смотрел в лицо жертвам своего лжесвидетельства... А одна из женщин заявила, что она — любовница Люцифера, который отомстит за нее пусть даже в десятом поколении рода Эклстоунов... Итак, мы прибыли на неприятельскую территорию».

Он поглядел по сторонам и нашел на одном из новых строений надпись: «Отделение полиции». Джо медленно подъехал, остановил машину и вышел. Дверь оказалась открытой. Внутри, за деревянной перегородкой, стоял письменный стол, а за ним, в небольшом кресле, которое Джо с удовлетворением распознал как точную копию кресла в кабинете Паркера, сидел молодой человек в расстегнутой полицейской куртке с нашивками сержанта. При виде входящего Алекса сержант встал и подошел к перегородке.

— Добрый день, — сказал Джо. — Это вы сержант Кларенс?

— Да, это я. Чем могу служить?

— Я — эксперт Скотленд-Ярда, моя фамилия Алекс, — быстро и негромко сказал Джо. — Я хочу с вами поговорить, но желательно не здесь. Прошу вас выйти со мной. Я сяду в машину, а вы громко расскажете мне, как проехать в Велли Хауз.

— Я вас понял.

— Я проеду часть пути в указанном направлении и буду ожидать вас за первым же поворотом, который находится вне пределов видимости жителей городка.

— Хорошо, сэр, — ответил молодой человек так спокойно, будто поручения этого рода ему приходится выполнять каждые полчаса. — Я лишь должен подождать прихода моего заместителя... Вот как раз и он. — Сержант указал на приближающегося полицейского. — Сэр, сверните вон в ту улочку направо. Она выведет вас на проселочную дорогу и спустя примерно четыреста ярдов вы увидите рощу по обе ее стороны. Прошу вас подождать меня там, а я сейчас возьму велосипед и приеду через несколько минут.

Они вышли из помещения, и сержант начал громко объяснять приезжему, как нужно ехать. Джо так же громко поблагодарил его и двинулся в путь.

Миновав городок и оставив за поворотом последние дома, он увидел густой перелесок. Дорога утопала среди молодых деревьев. Джо остановил машину, вышел и, подняв капот, начал протирать тряпкой свечи.

Минуты текли медленно. Джо с радостью вдыхал чистый, насыщенный запахом листьев воздух. Наконец он услышал позади голос:

— Не нужна ли вам помощь?

Сержант, уже одетый в полную служебную форму, подъехал и сошел с велосипеда. Оба склонились над двигателем.

— Я хочу, чтобы вы сообщили мне всю имеющуюся у вас информацию о самоубийстве миссис Патриции Линч, которая лишила себя жизни месяц тому назад в Норфорд Мэнор. Вы, кажется, тогда уже были здесь, сержант?

— Так точно... — сержант снял шлем и нерешительно надел его снова. — Мне очень неприятно, сэр. Ведь именно я несу ответственность за это заключение, потому что вел расследование по этому делу. Предполагаете ли вы, сэр, что она была убита?

Джо внимательно посмотрел на него.

— Прошу меня извинить, — прибавил быстро сержант. — Вероятно, я не должен был об этом спрашивать. Но если я невольно допустил...

— Да, я предполагаю, что она была убита... — сказал Алекс. — Но это информация, которой вы, сержант, не поделитесь абсолютно ни с кем. Я, разумеется, не уверен полностью... Но сейчас я не хотел бы говорить с вами об этом. Возможно, позже...

— Самоубийство было столь очевидным! — сказал Кларенс. — Но несмотря на это, я все же вызвал эксперта по дактилоскопии и фотографа из нашего управления в графстве. Они лишь подтвердили то, что и так было очевидно. Эта дама потеряла мужа и находилась в состоянии психической депрессии...

— Насколько мне известно, она собиралась выйти замуж и отправиться в кругосветное путешествие... — Алекс выпрямился и вытер руки тряпкой. — Но я ведь знаю меньше вас. Не могли бы вы доставить мне завтра все данные о прислуге в Норфорд Мэнор и Велли Хауз?

— Разумеется, сэр.

— А также ваши заметки, относящиеся к самоубийству. И снимки, если это возможно.

— Хорошо, сэр.

— Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь видел нас вместе. Где бы мы могли встретиться, оставаясь никем не замеченными?

— Таких мест очень много вокруг Велли Хауз. Вся территория густо покрыта деревьями. Может, условимся встретиться на опушке леса? Это примерно полмили от дома сэра Александра Джилберна. Вы увидите этот лес сразу же, как выедете сейчас из рощи. Прошу вас ждать меня там, а я приеду на велосипеде. Мы часто здесь патрулируем, поэтому мое появление никого не удивит. Я буду в четыре часа дня, так как не знаю, удастся ли мне получить снимки раньше. Они находятся в графстве, в управлении полиции. Я уже послал за ними, но...

— Что? — Джо поднял брови. — Вы уже послали?

— Да, сэр. Перед вашим приездом звонили из криминального отдела в Лондоне и поручили мне конфиденциально подготовить все данные относительно этого происшествия. Когда вы подъехали, я как раз сидел и пытался набросать на бумаге все, что, помню. Разумеется, я сохранил и свои служебные записи, так что, если они вам пригодятся...

— Наверняка. Итак — завтра в четыре. И прошу вас, сержант, придумайте, как это все соответственно упаковать. Мне ведь придется вернуться с пакетом в дом, где я буду жить.

— Я все понял. До свидания, сэр.

Машина двинулась. Полицейский, неспешно нажимая на педали, направился в сторону городка.

Роща вскоре кончилась, и открылись зеленые пастбища с пятнышками пасущихся овец. Вдали Джо увидел темную полоску леса на склоне цепи гор. В центре этого пейзажа устремилась ввысь острая белая скала. Тут же, рядом, отделенная голубой пустотой неба, над лесом возвышалась другая скала, значительно ниже первой, едва видимая над кронами деревьев. И хоть автомобиль Алекса находился на расстоянии нескольких миль, оттуда внезапно сверкнул солнечный зайчик.

«Кто-то закрыл открытое прежде окно... — подумал Джо. — Это там находится Норфорд Мэнор, дом над пропастью. А высокая белая скала напротив — это и есть Дьявольская скала. Итак, мы на месте... Здравствуй, Дьявол!»

Дорога углубилась в лес, но вопреки ожиданиям, не стала подниматься вверх, а свернула к невидимой долине. Через минуту Джо увидел длинную стену и притормозил. В стене показались каменные ворота. Их охраняли два гранитных льва. Подняв поросшие мхом головы, они пристально гляде-

ли куда-то вдаль поверх крон деревьев. Старинная, рельефная, высеченная в граните надпись над воротами гласила: ВЕЛЛИ ХАУС.

Значит, это здесь. Ворота были открыты. Очевидно, в этом тихом, спокойном месте никто никого не опасался.

Алекс очень медленно повел свою машину по гравиевой дорожке со свежими следами колес. Временами ветви деревьев с обеих сторон почти смыкались, скользя с тихим шорохом по кузову автомобиля. Парк возле дома сэра Александра был не слишком ухожен, если им вообще кто-нибудь занимался.

Через некоторое время аллея плавно повернула, и Джо неожиданно оказался на широкой солнечной поляне, на другом конце которой стоял красивый старинный дом, вероятно, периода Реставрации, несущий в своих безупречных формах отпечаток идеи Иниго Джонса[1] или кого-нибудь из его наиболее способных учеников. Аллея пересекала лужайку и бежала прямо к дому, перед которым заканчивалась широкой петлей подъезда. Джо посигналил.

Вероятно, его ожидали, потому что двери дома тут же отворились и на дороге показался пожилой мужчина. И лишь спустя несколько секунд вслед за ним появился сэр Александр со своей неразлучной тростью.

Джо остановился напротив двери и легко выпрыгнул из машины.

— Приветствую вас в Велли Хаус, мистер Коттон, — сказал Джилберн, многозначительно улыбаясь в знак того, что не забыл фамилию своего гостя. — Надеюсь, ваша поездка была приятной?

— Просто чудесной! — воскликнул Алекс. — Какая восхитительная местность! Еще в пути я начал сожалеть, что никогда здесь не был.

— Знаю, знаю. Я сам приехал всего лишь час назад и уже успел немного отдышаться. — Джилберн жестом пригласил Джо в дом. — Прошу вас не беспокоиться о багаже и машине. Остин займется. Ваша комната уже приготовлена.

И пропустив гостя вперед, он вошел в прихожую. Джо задержался, слыша позади звонкий стук трости с металлическим наконечником. Пол прихожей был вымощен огромными, вытесанными из серого песчаника плитами, которые за многие годы постоянного мытья побелели и стали светло-пепельными. Прихожая оказалась темной, широкой и пересекала весь дом. На ее противоположной стороне, сквозь затейливую вязь решетки, покрывающей стеклянную дверь, виднелись густые зеленые заросли. Лучи низко стоящего солнца били оттуда и освещали великолепный камин, выдержанный в строгих пропорциях раннего английского барокко. Слева, исчезая во мраке, тянулась вверх узкая лестница. Стук трости прекратился, и Джо услышал за своей спиной дыхание Джилберна.

— Боже, как здесь тихо! — сказал Джо с внезапной, почти детской непосредственностью. Это было первое, самое острое впечатление. После тысячи разноголосых лондонских звуков тишина здесь сама по себе казалась преддверием тайны.

Он осмотрелся, прищурив глаза, ослепленный блеском сверкающего впереди солнца. Алекс был рад оказаться в деревне, но одновременно, почти автоматически, подумал: «Ничего удивительного, что эти тихие деревенские поместья видели и видят столько преступлений. Трудно отогнать ненависть, когда бродишь наедине с ней по огромным, пустым комнатам и темным безлюдным аллеям среди мертвой тишины. Ничто не отвлекает мысли и не дает

[1] Иниго Джонс (Inigo Jones; 1573 — 1652) — английский архитектор, дизайнер, художник и сценограф, который стоял у истоков британской архитектурной традиции.

забытья. В городе человек никогда не бывает столь одиноким. Кроме того, другой ритм жизни рождает другой ритм мышления. Долгие, бессонные ночи, тишина которых нарушается лишь боем часов и голосами невидимых хищных птиц... Ну и конечно, если здесь кого-то ненавидишь...»

— Сейчас мы осмотрим приготовленную для вас комнату. — Джилберн обогнал его и подошел к ступеням. — Надеюсь, она вам понравится. Если же нет, — мы, конечно, найдем другую... — Он улыбнулся грустной тихой улыбкой, и Джо с невольной симпатией взглянул на этого сильного, энергичного человека, который сделал столь блестящую карьеру, а по сути дела был всего лишь одним из несчастных обитателей этого мира, навсегда лишенным того, что любил.

Хозяин начал медленно подниматься по крутой лестнице. Джо шел за ним, размышляя о том, куда девался Остин с чемоданами. Лестница круто свернула на половине этажа, а затем протянулась к длинному темному коридору. По обе стороны коридора находились небольшие, разделенные на много прямоугольников окна. Здесь царил полумрак, а тишина была бы еще большей, не будь одно из окон приоткрытым. Сквозь щель проникали тихий легкий ветерок и шелест листьев растущего под окном каштана.

Джилберн остановился перед дверью, расположенной напротив лестницы. Дверь была распахнута. Внутри комнаты Алекс увидел старого Остина, который как раз ставил на пол его чемоданы. Посмотрев внимательно вглубь коридора, Джо только сейчас увидел, что там есть другая, еще более узкая лестница, некогда предназначавшаяся для прислуги. Очевидно, даже сейчас, когда большой старый дом был почти безлюдным, этот ритуальный маршрут для слуг оставался неизменно обязательным.

— Апартаменты далеки от великолепия, — сказал Джилберн, стоя на пороге, — но я надеюсь, что здесь вам будет удобно. Над кроватью и у стола расположены кнопки вызова. Если вам что-нибудь понадобится, нажмите кнопку, и к вам тотчас явится Остин или его жена, Кэтрин. Ванная находится вон там, — он указал на маленькую дверь в одной из стен комнаты. Ее каменный, увенчанный полукруглым орнаментом портал казался образцом совершенства.

Джо огляделся и вздохнул.

— Хотел бы я иметь хоть одну такую комнату, — сказал он искренне. — Я бы не выходил из нее. Наверно, эта мебель стоит здесь со дня постройки дома? — он указал на высокое ложе с поднятым вверх темно-голубым балдахином. Возле ложа стояли две скамьи, изготовленные примерно в середине шестнадцатого столетия; их мнимая легкость при явной массивности ножек и спинок из тонкого дуба с первого взгляда выдавали работу большого мастера. У окна стоял большой, тяжелый, прямоугольный стол на крестовинах. По всей вероятности, он был старше самого дома. Должно быть, за этим столом ели, а быть может, и писали, еще до того, как Вильям Шекспир закончил свой первый сонет. Внутри белого, мраморного камина, забранного черной решеткой, виднелся темный обожженный щит с гербом. Джо глянул вверх. Балки делили потолок на пять секций, что было характерно для периода первой половины семнадцатого столетия. Средняя, овальная секция представляла Дедала и Икара, летящих над морским побережьем. Стало быть, уже в те времена это был не просто деревенский дворянский дом, а дворец, принадлежавший людям, которые хотели подчеркнуть свою силу и богатство.

— Как интересно… — Алекс глянул на потолок, а потом на сэра Александра. — На фреске не видно даже тени трагедии, которая должна сейчас разыграться. Это большая редкость в средневековой живописи. — Он подошел к окну и выглянул. — Господи, как здесь красиво... — Он хотел

добавить, что лишь мысль о преступлении лишает его удовольствия от пребывания здесь, но успел прикусить язык. Старый Остин поставил его чемоданы и пишущую машинку возле кровати под балдахином и остановился в выжидательной позе.

— Нужно ли вам сейчас еще что-нибудь? — спросил Джилберн. — Остин может распаковать вещи и разложить их.

— Нет, нет! — Джо оторвал взгляд от деревьев недалекого леса и посмотрел на хозяина. — Я всегда сам забочусь о себе. Этому меня научила война. — Он улыбнулся Остину, который ответил ему улыбкой, но, как расценил Джо, это не было проявлением симпатии, а лишь рефлексом хорошего слуги.

— В таком случае мы вас оставляем, — Джилберн глянул на Остина, который легко поклонился и прежде, чем Джо успел его поблагодарить, исчез за дверью. — Когда примете ванну, прошу вас сойти вниз. Я буду ждать в холле. Думаю, что перекусим, а потом вы, вероятно, захотите задать мне какие-нибудь вопросы, не правда ли?

— Наверно, — Джо развел руками. — Я только не уверен — какие.

Хозяин удалился с улыбкой. Некоторое время Алекс слышал затихающее постукивание его трости. Затем все утихло, и Джо остался один.

Первым делом он извлек пишущую машинку из чехла и установил ее на столе. Потом подошел к ванной, открыл дверь и тихо присвистнул. Если комната была обставлена самой изысканной антикварной мебелью, которая могла бы украсить любой музей, то ванная являла собой подлинное чудо. Вся, от пола до потолка, она была выложена мелким белым голландским кафелем, на котором нежными голубыми линиями были изображены мифологические сцены, вероятнее всего, из Овидия. Каждая плитка кафеля изображала отдельную сцену, и это оказались самые красивые дельфты[1], какие Джо видел в своей жизни. С чувством легкого замешательства, почти растерявшись среди этой роскоши рисунков, он повернул кран с горячей водой и стоял, разглядывая каждую плитку, пока не наполнилась ванна.

Погружаясь в воду, Джо мельком подумал, что если сэр Александр Джилберн кого-нибудь убил или намеревался это сделать, то им никак не могла руководить жажда наживы. Самой обстановки одной лишь этой комнаты, если ее продать, хватило бы ему до конца жизни на вполне приличное содержание. Но факт, что столь ценные и красивые вещи находятся в безлюдном месте, почти не охраняемые, на попечении двух уже немолодых людей, сам по себе был поразительным.

Когда Джо, уже освеженный и переодетый, подошел к окну, завязывая галстук, он увидел далеко над лесом сверкающий в лучах заходящего солнца дом, словно повисший в воздухе. Отсюда был виден поднимающийся легким клином парк, а вернее, верхушки его деревьев. Направо, возле самой стены дома, земля обрывом шла отвесно вниз. Остальной вид закрывали деревья. Еще дальше направо, по другую сторону оврага, вырастала напротив Норфорд Мэнор высокая, остроконечная скала. Деревья подбирались к ее вершине, но в какой-то момент, как бы отказавшись удерживаться на отвесной стене, уступали место растительности. Вероятно, именно там много столетий назад стоял по ночам Дьявол и смотрел раскосыми, прищуренными глазами на раскинувшийся внизу мир, спящий под лунным светом. А в лес, на вершину горы, шелестя метлами, слетались на безумные танцы и дьявольские ласки норфордские ведьмы... Где-то, чуть ниже, должен находиться грот.

[1] Голландские керамические изделия XVII—XVIII вв. (Delft — город в Голландии).

Джо завязал галстук, глянул мимоходом в маленькое серебряное зеркальце, висящее на стене, и направился к двери, размышляя над происхождением шабашей ведьм. Скорее всего, это эхо древней греческой традиции. Вакханки и фавны... Сходство с козлорогими... Божок Пан... Мистерии во время праздников, посвященных богу Дионисию... Какие-то общины переносили их из века в век. А быть может, просто обаяние античной литературы повлияло таким образом на воображение людей эпохи Возрождения?

В многовековой истории все имели своего Дьявола, кроме эпикурейцев, но в средневековье его пока называли лишь черным или злым ангелом... Этот средневековый Дьявол бывал порой простаком, иногда глуповатым, он даже позволял себя обманывать. Это еще не был тот Дьявол, за связи с которым женщины потом горели на кострах или повисали на веревке, куски которой палач продавал в качестве талисмана против зла, а точнее — против Злого Ангела.

Алекс закрыл дверь комнаты и начал спускаться по лестнице, перебирая в памяти известных ему литературных Дьяволов: Веселый Дьявол из Эдмонтона... Мефистофель... Хромой Бес...

Он достиг поворота и посмотрел вниз. Хромая и постукивая тростью, к нему приближался сэр Александр Джилберн, тихий и спокойный, с грустной улыбкой на лице.

## Глава VI

## Джо Алекс начинает понимать

— Я чувствую себя родившимся заново, — сказал Джо весело.

Хозяин провел его в расположенную напротив лестницы большую столовую, где они сели по разные стороны огромного стола, за которым свободно могли пообедать три дюжины персон.

— Не зная ваших кулинарных вкусов, я велел приготовить пару гренок, фасоль и фруктовый сок. Крепкие напитки с некоторых пор всегда стоят на столе, ибо, признаюсь, — Джилберн улыбнулся с мнимой веселостью, — что в последнее время я пью несколько больше, чем следовало бы.

Он умолк. Алекс тоже не отзывался, ожидая, пока уйдет старый Остин. Как только двери за слугой закрылись, Джилберн сказал:

— Я постарался собрать все, что может вас заинтересовать. В библиотеке отложены все книги и документы, касающиеся деятельности Дьявола в этих краях, а также то, что я собрал после смерти Патриции. Здесь же находится та книга с оттиском копыта и снимки следов, которые появились в гроте месяц назад, а также в прошлое воскресенье.

— А как называется книга, которая... на которой Дьявол оставил свой след? — непринужденно спросил Джо, намазывая хлеб.

— Что? — Джилберн, казалось, на долю секунды растерялся, потом спокойно ответил: — «Пигмалион» Бернарда Шоу.

Алекс кивнул головой, потом указал взглядом на стоявшую посреди стола небольшую пузатую бутылку, в которой находилась совершенно прозрачная зеленая жидкость.

— Никогда в жизни не видел напитка такого цвета...

— Ах, это... — казалось, Джилберн снова был удивлен скачками мысли своего гостя. — Кэтрин, жена моего старого Остина, родом, как и он, из деревни Норфорд. Деревня, помимо того, что была родиной тех четырнадцати повешенных некогда несчастных, славится тем, что почти каждая местная женщина хорошо знает все лекарственные травы и умеет при-

готовить из них все, что пересказала по памяти и передала по наследству ее бабушка или мать. Между прочим, они делают изумительные настойки из трав, имеющие вкус и запах, совершенно неизвестные в других местах. Вот это, например, вытяжка из можжевельника и особого сорта шишек, собранных в строго определенную пору года. Я не могу сообщить вам точный рецепт, потому что Кэтрин, хотя и является верным и преданным мне человеком, никогда не говорит о своих рецептах ни с кем, кроме своей дочери. Впрочем, я и не настаивал.

Джилберн взял бутылку и наполнил рюмки.

— За успех ваших исследований и их счастливый исход.

Говоря это, Джилберн не улыбнулся. Алекс поднес рюмку к губам и выпил после секундного колебания. В первый момент он не почувствовал ни вкуса напитка, ни его крепости. Но спустя некоторое время слегка запекло во рту, и он ощутил аромат леса, отдаленно напоминающий тот, которым пахнут средства для приготовления хвойных ванн, только острее и менее косметический. «Более мужской», — как определил про себя Джо.

— Великолепный напиток! — сказал он. — Совсем не похож на обычную можжевеловую настойку. Надо полагать, что при таком совершенстве по традиции к ним перешли также несколько недурных способов травить своих врагов.

— Наверно. Хотя я никогда не слышал ни об одном случае отравления в нашей местности.

— Быть может, эти яды столь совершенны, что врачи выписывают обычные свидетельства о смерти, — улыбнулся Алекс. — Но прошу вас не думать, будто я постоянно говорю обо всем с профессиональным уклоном. Оставим этих добропорядочных женщин их отварам и ступкам. Наш маленький домашний Дьявол либо действует один, либо имеет куда более просвещенных сообщников, если вообще их имеет и если вообще действует.

— Я тоже так думаю.

— Вот-вот, — Джо поднял брови. — И именно это меня больше всего удивляет.

— Что? — спросил Джилберн с удивлением.

— То, что вы внутренне соглашаетесь с версией об убийстве, но не сказали мне ни единого слова о том, кого вы подозреваете в совершении этого убийства, или по крайней мере, у кого мог быть хоть какой-нибудь мотив.

— Но я не имею ни малейшего понятия, кто бы мог это сделать и действительно не знаю, кто бы мог иметь хоть какой-нибудь мотив.

— И тем не менее, вы думаете, что она убита. Следует помнить, что, убивая человека, преступник должен иметь то, что называется сильным мотивом, настолько сильным, что он заставляет его преодолеть страх перед наказанием. Многие люди, вероятно, убивали бы других по совершенно незначительным поводам, если бы не боялись, что, убив кого-то, они сами понесут суровую кару от руки общества. Каждый потенциальный убийца, будь он даже без всякой совести и морали, должен об этом подумать. Я сейчас говорю о преступлении с заранее обдуманным намерением. А ведь такого рода убийство, да еще с использованием предметов дьявольского реквизита, должно было быть тщательно и в деталях продумано, и действовал при этом разум быстрый, живой, ловкий, хотя и совершенно безнравственный. Поэтому я вас спрашиваю, видите ли вы какую-нибудь причину, ради которой кто-нибудь мог бы убить миссис Патрицию Линч?

Джилберн на минуту задумался.

— Нет, никакой, — сказал он тихо. — Я думал об этом уже сто раз. Здесь, в моем кабинете, сидя в одиночестве с карандашом в руке, я записывал всевозможные комбинации людей и мотивов, которыми они могли

руководствоваться. Нет, не знаю. Она не была богатой, у нее не было наследников, не было личных врагов и, насколько я знаю, она не совершила в своей жизни ничего такого, что заставило бы кого-нибудь желать ее смерти.

— «Насколько я знаю»... Значит, у вас нет стопроцентной уверенности. А что вы знаете о тех годах, которые она провела в Африке?

— Очень немногое. Из ее слов следовало, что она вела там скромную, бесцветную жизнь, а годы проходили без всяких потрясений до момента, когда он… ее муж умер. Впрочем, если бы вы знали Патрицию, вы сразу поняли бы, что у нее просто не могло быть смертельного врага. Она была необыкновенно доброй женщиной.

Джо подумал, что эта необыкновенная доброта не помешала ей когда-то бросить влюбленного в нее Александра Джилберна и сделать его несчастным на всю жизнь. Но вслух он, конечно, об этом не сказал.

— Возможно, она была несколько упрямой, как все Эклстоуны, — продолжал хозяин дома, — но это все. Впрочем, могу поручиться в одном: Патриция ничего не опасалась. Я слишком долго работаю в судебных органах и встречал слишком много различных людей, чтобы не заметить страха в поведении человека. Это чувство, которое труднее всего скрыть. А кроме того… должен признаться, что я рассматривал это дело и с такой точки зрения. Ведь даже если бы во время ее пребывания в Африке и случилось что-то вызвавшее чью-нибудь ненависть к ней, то умерла-то она в закрытом на ночь доме, стоящем над скальной пропастью, доме, куда никто чужой не имел доступа. Этот аргумент кажется мне решающим.

— Да... — Джо помолчал. — А не появился ли тогда в окрестностях кто-нибудь чужой? Ну, скажем, какие-нибудь туристы? Люди, производящие обмер земли? Собиратели бабочек? Бродяги? Странствующие ремесленники? Словом, кто-нибудь чужой, безотносительно причины его появления.

— Нет. Никто. Я проверил это самым тщательным образом, вместе с полицией. Никого чужого в окрестностях не было. А как вы, вероятно, заметили, это не то место, где чужой мог бы пребывать длительное время, необходимое для убийства, оставаясь при этом совершенно незамеченным. Впрочем, помимо отпечатков копыт в гроте, все, что случилось, произошло в доме, и притом ночью, когда дом всегда заперт. Когда вы увидите Норфорд Мэнор, вы сразу поймете, насколько неправдоподобно выглядит версия, будто кто-нибудь мог войти туда незамеченным. В отличие от почти всех сельских поместий, этот дом располагает входом лишь с одной стороны, — к этому архитектора вынудило его расположение. Для поставщиков продуктов много лет назад пробита маленькая дверь в стороне от главного входа, но она тоже крепко запирается на ночь, и чтобы попасть в дом, нужно пересечь комнату кухарки, которая тоже закрывает свою дверь на ночь. Кроме того, здесь же рядом, в гуще деревьев, находится домик садовника, у которого в то время была еще собака, всегда сидевшая ночью на цепи перед домом.

— Была? Значит, сейчас ее уже нет?

— Нет. Собака недавно издохла. Она съела крысиную отраву, которую тут постоянно разбрасывают, потому что крысы любят это древнее здание, и хотя война с ними продолжается уже триста лет, они держатся стойко.

— Но в день смерти миссис Патриции, или точнее, в ту ночь, собака была еще жива и находилась, как обычно, на цепи перед домом?

— Да... Я даже подумал о ней во время похорон Патриции. Вы знаете, бывает, что какие-то нелепые мысли приходят человеку в голову в самые трагические моменты, когда, казалось бы, человек не может думать ни о

чем другом, кроме своего несчастья. Так вот, я подумал тогда, что эта собака не выла, хотя Патриция умерла. Обычно считается, что собаки знают, когда кто-нибудь умирает, и своим воем дают об этом знать.

— Не обязательно... — Джо покачал головой. — Они ведут себя определенным специфическим образом, когда умирает их хозяин, а некоторые якобы даже проявляют беспокойство, находясь в это время на большом расстоянии. Эта особенность до сих пор недостаточно выяснена наукой. Собаки могут также выть при виде покойника или почуяв запах крови, но их вой и беспокойное поведение, когда они не могут увидеть, услышать или почуять нечто необычное, относится к суевериям вроде того, что если ветер воет, то кто-нибудь в округе повесился... Значит, потом эта собака издохла. Да, это бы указывало, что она погибла случайно, если только...

— Если только... что? — тихо спросил сэр Александр голосом, который вдруг показался Алексу слегка охрипшим.

— Если только смерть этой собаки не входит в план, разработанный убийцей с целью совершения следующего преступления.

— Но кто? Выходит, это может быть лишь кто-то из домочадцев?

— Вот именно. И тут мы возвращаемся к мотиву убийства. Миссис Патриция Линч, будучи дочерью такой богатой особы, как Элизабет Эклстоун, должна была стать обладательницей значительного имущества. Кроме того, ее касаются, вероятно, и наследственные права. Вы знакомы с завещанием миссис Элизабет Эклстоун, если оно вообще существует?

— Да. Существует. Я знаю его. Ведь я являюсь ее юристом. Но даже самого поверхностного знакомства с этими людьми и с этим завещанием достаточно, чтобы отбросить любые предположения. По воле случая завещание было засвидетельствовано именно в этой комнате. Впрочем, я являюсь его единственным хранителем и исполнителем.

— У вас есть его копия?

— Да.

— А я мог бы на нее взглянуть?

— К сожалению... — сэр Александр развел руками, — в завещании есть оговорка, требующая соблюдения абсолютной тайны до дня смерти старой леди, и я обязан ей следовать. У меня нет никаких моральных оснований для нарушения этой оговорки, ибо миссис Элизабет Эклстоун вызвала меня к себе, чтобы составить завещание, еще два года назад. Тогда она была в полном умственном и частично физическом здравии, и ничто не предвещало того страшного и полного паралича, который впоследствии превратил ее в живой труп и лишил возможности какого-либо контакта с миром и людьми. У нее осталось лишь зрение и ничего больше... Но вернемся к завещанию. Она вызвала меня и поручила составить документ с выражением ее последней воли. Затем она условилась со мной, что прибудет сюда на следующий день и подпишет этот акт в присутствии двух свидетелей, которые будут приведены к присяге о неразглашении. Я думаю, она не хотела, чтобы в Норфорд Мэнор знали даже о самом факте составления завещания. Сестра милосердия привезла ее сюда в кресле на колесиках. Между нашими домами дорога ровная и твердая, а миссис Элизабет тогда еще любила длительные прогулки по свежему воздуху. Я думаю, что эта девушка, Агнес Стоун, должна быть очень крепкой, чтобы целыми милями толкать впереди себя тяжелую коляску со своей госпожой. Старая леди прибыла сюда и подписала составленное мной завещание, которое я вскоре соответствующим образом оформил в Лондоне. Оригинал находится в ее банковском сейфе вместе с драгоценностями, а копия — у меня, в огнеупорном сейфе, стоящем в моей спальне.

— Я спросил о завещании, прежде всего потому, что, когда вы посетили сегодня утром мою лондонскую квартиру, то упомянули, что каждый месяц от имени миссис Эклстоун вы переводили определенную сумму денег ее дочери, которая находилась тогда в Африке. Это происходило уже после смерти Джекоба Эклстоуна, верно?

— Да.

— Так вот это меня удивило. Вообще-то, в нашей стране существует обычай, который, кажется, даже узаконен и по которому человек после смерти оставляет часть наследства своей жене, а остальную часть — своим детям, если только не входят в расчет особые права наследственного майората[1]. Поскольку из ваших слов вытекало, что дочь столь богатого человека, как Джекоб Эклстоун, оказалась после смерти зависимой от благосклонности матери, я предположил, что отец, по-видимому, лишил ее наследства из-за неудачного брака, заключенного без согласия родителей. Не так ли?

— Нет… — Джилберн решительно покачал головой. — Джекоб Эклстоун сильно переживал из-за такого поступка дочери, но он слишком любил своих детей, чтобы лишить кого-нибудь из них наследства, не будучи к этому вынужденным. А факт, что Патриция предпочла мне кого-то другого, трудно было бы посчитать преступлением. — Он горько усмехнулся. — Дело обстоит совсем иначе. Элизабет и Джекоб были очень хорошими, любящими супругами, они полностью доверяли друг другу. В то время, как он провел большую часть жизни в Малайзии, выжимая из несчастных каучуковых деревьев свое богатство, она занималась здесь домом, воспитывала детей и, в известном смысле, управляла всем имением, инвестируя капитал и даже нанимая людей, необходимых мужу в колониях. Словом, она была его правой рукой на территории Англии. Таким образом, они достигли значительно большего, чем если бы она была лишь домашней курицей, поглощенной кухней и детской комнатой, или дамой, транжирящей состояние мужа на наряды и драгоценности. Джекоб доверял ей настолько, что, умирая, оставил ей все свое состояние, поручив в нескольких словах ее рассудительности и доброй воле заботу о детях, их содержание и передачу им сумм, которые она сочтет необходимым, если кто-нибудь из них захочет посвятить себя бизнесу или работать в промышленности. Таким образом, Элизабет Эклстоун стала полноправной владелицей всего состояния, а ее взрослые дети трактовались как младенцы, которые станут совершеннолетними лишь в день смерти матери...

— А это не привело к каким-либо разногласиям в семье?

— Напротив. Патриция в момент смерти отца находилась далеко, а поскольку он умер от сердечного приступа во время инспектирования одной из плантаций и был похоронен в Куала-Лумпур, она даже не присутствовала на его похоронах. Впрочем, мать посылала ей вполне приличную сумму на содержание дома в Йоханнесбурге, а Патриция в той ситуации, в которой она находилась, по-видимому, не имела никаких причин для увеличения своих расходов. Лишь однажды, когда появилась надежда на результаты применения очень дорогого препарата для лечения мужа, она написала матери и немедленно получила от нее сумму, в два раза большую, чем просила. И если прибавить к этому ежегодные, весьма солидные чеки

[1] Майорат — законодательная норма, запрещающая раздел земельного надела между наследниками. Во избежание феодального дробления родовых земель в Средние века и в начале Нового времени во многих странах Европы действовали законы, требовавшие передачи земельного надела одному наследнику, а младшие были вынуждены идти на государственную службу, заниматься коммерцией, принимать постриг или становиться разбойниками.

на день рождения и на Рождество, то вы поймете, что Патриция не испытывала ни малейших денежных затруднений. Что касается ее брата, Ирвинга Эклстоуна, живущего сейчас в Норфорд Мэнор, то его вообще не интересуют деньги. Его не интересует даже дочь. У него лишь одна страсть, и этой страстью, как вы знаете, является Дьявол, а человек, который даст Ирвингу старинную рукопись, иллюстрированную хвостатыми и рогатыми фигурками, или пригласит выступить с лекцией на тему о галлюцинациях Люцифера во время его пребывания в Виттенбергском монастыре, окажет ему самую большую услугу, какую ему можно оказать.

— А его жена жива? Вы не упомянули о ней, говоря, что у Ирвинга есть дочь.

— Нет. Она умерла при рождении Джоан. Ирвинг женился, когда был очень молод. Он сделал это, как я полагаю, под давлением матери, обеспокоенной его одиночеством и фанатичным отношением к книгам. После смерти жены маленькой Джоан занялись гувернантки и бабушка, он же воспринял смерть жены и рождение дочери не более как два непредвиденных обстоятельства, отрывающие его от любимых древних рукописей. Если говорить о его финансовых делах на данный момент, то теперь, так же как и раньше, еще до смерти отца, счета его портных, стоимость проживания в Лондоне, зарплата прислуги и так далее немедленно оплачиваются. Миссис Эклстоун никогда и ни в чем его не ограничивала. В этом, впрочем, не было никакой нужды, ибо Ирвинг вообще не расходовал бы на себя деньги, если бы его время от времени не заставляли покупать новые башмаки или галстук. Он вообще не думает о таких вещах. Единственные его большие расходы — это книги. Он скупает старинные издания, иногда даже по очень высоким ценам, а его демонологическая библиотека относится к самым богатым в мире, если не самая богатая. Но даже если бы все эти книги были отлиты из чистого золота, состояние Эклстоунов не ощутило бы ни малейшего видимого потрясения. Кроме того, практичный ум старой леди подсказывал ей, что собирание столь значительной книжной коллекции является примерно тем же, что скупка акций, а быть может, чем-то даже более надежным, поскольку коллекция сама по себе стоит массу денег, и цена ее возрастает с каждым новым томом. Кроме того, Ирвинг ведь и сам имеет немалые доходы от своих книг и лекций. Он специалист с мировой известностью, и если даже, по моему мнению, ему и недостает чуточку артистизма, которым должен обладать каждый великий исследователь, то знания его все же очень велики, а учитывая, что ему еще нет и пятидесяти, — просто феноменальны. Но понятно, что человек, имеющий одно-единственное увлечение, конечно, легче может достичь совершенства в избранном предмете.

— А его дочь, миссис Джоан Робинсон, и ее муж Николас, они оба что — тоже испытывают непреодолимое отвращение к деньгам? — Джо улыбнулся. — Это странно, но мне кажется, что вы верите в полное безразличие всех людей к огромному богатству, лежащему на расстоянии их вытянутой руки.

— Когда я закончу рассказ, вы поймете, что я действительно так думаю и имею основания верить в это. Если речь идет о Джоан, то она не является наследницей до тех пор, пока живы ее бабушка и отец. А завещание содержит определенные условия, по которым наследницей она и вообще может никогда не стать. Но я не хотел бы говорить о завещании по причинам, о которых я уже упомянул. Джоан действительно не заботится о деньгах, хотя бы потому, что ее муж Николас зарабатывает их теперь очень много, и я думаю, что они имеют гораздо больше денег, чем могут истратить. Джоан добрая, искренняя и, быть может, даже слишком прямолинейная девушка,

и лишь тем похожа на отца, что у нее тоже есть только одно увлечение, которое превратилось в настоящую страсть, отодвигающую все остальное на задний план.

— Живопись?

— О, нет. Джоан интересуется живописью настолько, насколько хорошая молодая жена должна интересоваться тем, чем занимается ее муж. Сама же она обладает иным, дарованным ей природой талантом, если, конечно, можно это назвать талантом в полном смысле этого слова. Я имею в виду ее способность быстро бегать. Джоан — чемпионка нашей сборной по бегу на короткие дистанции и претендентка на золотую медаль на ближайших олимпийских играх.

— Что? — удивился Алекс. — Так это та самая Джоан Робинсон?! Имя и фамилия создают вместе такую распространенную комбинацию, что я никак не связал дочь мистера Ирвинга с девушкой, которую несколько раз видел на соревнованиях. Это прекрасная бегунья. Не знаю, лучшая ли она в мире, но наверняка одна из нескольких лучших. А что она тут сейчас делает? Ведь до Олимпийских игр осталось два месяца. Я думал, что перед столь важными соревнованиями спортсмены проходят специальные тренировки в каких-нибудь особых лагерях...

— Об этом вы должны спросить саму Джоан, — Джилберн развел руками. — Я, к сожалению, не специалист в этих делах и лишь иногда хожу на футбол, если хочу в субботу подышать свежим воздухом после какого-нибудь тяжелого судебного процесса. Но мне кажется, что у нее есть личный план тренировок, а эти леса действуют на нее очень благотворно. Бегает она очень много, и по дорожкам, и по лесу. Если вы захотите перед сном прогуляться со мной в сторону Норфорд Мэнор, мы наверняка ее встретим, потому что в это время она всегда бегает по аллее, где мы будем идти.

Сэр Александр Джилберн встал.

— Не могли бы вы теперь показать мне ту книгу и снимки оттисков в Гроте? — спросил Алекс, тоже вставая из-за стола. — Я хотел бы, наконец, как-то упорядочить для себя все эти детали. Вы уже обдумали какой-нибудь план моего появления в Норфорд Мэнор?

— Завтра утром я позвоню Ирвингу и скажу ему, что ко мне приехал знакомый адвокат, демонолог-любитель, мистер Джеймс Коттон, который просто мечтает с ним познакомиться и взглянуть на его коллекцию. Кстати, вы должны знать, что у него в доме есть три большие комнаты, доверху набитые всякими дьявольскими атрибутами, а некоторые из них потрясают даже дилетанта. Я убежден, что он проглотит крючок, не моргнув глазом, и немедленно вас пригласит... А теперь я покажу вам эту книгу и снимки. — Он снял трость со спинки кресла и, постукивая ею, двинулся в сторону широкой двойной двери, ведущей в библиотеку.

Джо отправился за ним. Лицо его выражало столь глубокую задумчивую отрешенность, словно он спал наяву.

## Глава VII

### «Я знаю лишь одного такого человека...»

Джилберн открыл большой, запертый на ключ шкаф, вынул оттуда книгу и подал Алексу, который осторожно взял ее и открыл там, где между страниц лежала узкая закладка. Книга была карманного формата, в мягком переплете, как и все дешевые издания «Penguin Books». Закладка находилась между страницами сто десять и сто одиннадцать. Там было очень

мало текста. Одну страницу частично занимали две иллюстрации, изображающие дам, а почти всю правую страницу занимал портрет джентльмена с тростью.

— Это иллюстрации Топольского, не так ли? — Джо глянул на титульный лист. — Да. Какой прекрасный художник... — Говоря это, он с интересом разглядывал полукруглый грязный след чего-то, похожего на оттиск небольшой лошадиной подковы заостренной формы, напоминающей готическую арку. Алекс поднял открытую книгу и посмотрел на свет: — Оттиск совершенно четкий, а это значит, что либо этот предмет был очень тяжел, либо его придавили с большой силой... Вы говорили, что, когда он был влажным, вместе с ним к бумаге прилипли крупицы песка?

— Да.

— И вы отдали их на экспертизу?

— Да. Вместе с образцами, собранными в Гроте, в тех местах, где мы нашли следы. Специалисты геологической лаборатории подтвердили полную идентичность образцов, причем песок однозначно определен ими как взятый из одного и того же места. Они проверяют это при помощи дополнительного анализа, определяющего химический состав веществ, сопутствующих крупицам песка, прилипшим к ним или связанным с ними каким-нибудь образом. После этого я собрал песок с целого ряда мест в парке и прилегающих зонах, там, где он больше всего напоминает по цвету и зернистости тот песок в гроте, но анализ оказался полностью отрицательным. Это еще больше убедило меня, что в лаборатории знают, что говорят...

Он передал Алексу несколько листков бумаги, содержащих лабораторные заключения. Джо посмотрел их и кивнул головой.

— Да, понятно... — сказал он. — Если следы найдены в гроте и на книге, это означает, что они являются результатом каких-то разумных действий. Кто-то ведь сделал все это, заранее предвидя, что заинтересованные лица будут вынуждены собрать пробы, образцы и тщательно проанализировать их. И следы эти возникли только ради этого. Других причин я не вижу.

— Но кто же?

— Дьявол, разумеется, — Алекс взял увеличенные снимки следов в Гроте. Здесь оттиски выглядели гораздо четче, а яркий свет вспышки, при которой были сделаны снимки, выявил каждую, даже мельчайшую деталь, оттиснутую в гладком мокром песке.

Джо сравнил их с оттиском на книге. Они были очень похожи, если не идентичны. Только сейчас он заметил, что в одном месте, прямо за краем отпечатка следа, текст «Пигмалиона» был как бы поцарапан чем-то острым. Алекс тихонько провел пальцем по бумаге.

— И я это заметил, — Джилберн показал место на фотографии. — Посмотрите: у него здесь сзади что-то вроде когтя, и этим он легко вминает землю, а в книге поцарапал бумагу.

— Вижу... — Джо вернул оба снимка. — Мы все время вынуждены рассматривать одну и ту же сторону проблемы. — Он подошел к окну и некоторое время смотрел на высокую пожилую женщину, которая шла, выпрямившись, с маленькой мотыгой на плече, огибая большую клумбу, усаженную дикорастущими кустами белых роз. Потом повернулся и посмотрел на хозяина, который уже закрыл шкаф и стоял неподвижно, ожидая следующих слов Алекса. — А продвигаясь дальше в рассмотрении этой стороны, мы должны неустанно задавать себе вопрос: зачем кому-то хотелось, чтобы мы видели в этих событиях руку... или точнее, ногу Дьявола? Он ведь не мог рассчитывать на то, что какой-либо современный

разумный человек со средним образованием поверит ему, правда? Тогда чего же он хотел?

Минуту оба молчали. Сэр Александр открыл рот, как бы желая что-то сказать, но не произнес ни слова.

— Есть еще одна возможность, — продолжал Джо спокойно, — которая объясняла бы все очень просто: не кто иной, а сама миссис Патриция Линч по неизвестной нам причине сделала оттиски в Гроте, потом в книге, а потом покончила жизнь самоубийством. Конечно, она должна была еще перевернуть портрет. А затем, после ее смерти, кто-то снова должен был сделать отпечатки в гроте и снова перевернуть портрет? Все так очевидно, не правда ли?

— Что вы этим хотите сказать?

— То, что миссис Линч, скорее всего, была убита. Но я ведь точно этого не знаю. Я не знаю также, почему ее должны были убить. Вы, по всей вероятности, не знаете никого, кто имел бы мотив ее убить. Я же, принимая во внимание известные мне неполные данные, знаю лишь одного такого человека... — Он помолчал. — Нет, не одного — двух. Но это всего лишь теоретические предположения, хотя в определенном смысле они мне очень нравятся, потому что одно из них, по всей вероятности, верно.

Джилберн побледнел.

— Неужели вы действительно, уже сейчас, в эту минуту знаете, пусть даже приблизительно, кто убил Патрицию и что вообще ее кто-то убил?!

— Если здесь не имеет места совершенно непредвиденное стечение обстоятельств, то, пожалуй, да... — тихо сказал Джо. — Но такое стечение обстоятельств все же возможно. И прошу поверить, я говорю это отчасти для того, чтобы не распыляться. В конце концов, я должен кое-что понять. Сейчас я стараюсь уточнить детали, которых не понимаю, потому что, как вы знаете, человек лишь тогда может ответить на вопрос, когда понимает суть этого вопроса, а в этом странном деле трудно даже задать кому-либо какой-то конкретный вопрос.

— Кого вы имеете в виду? — быстро спросил Джилберн.

— О, я не могу называть фамилий. Я ведь абсолютно ничего не знаю. У меня есть только определенная концепция...

— Вы имеете в виду меня? — спросил сэр Александр, явно стараясь скрыть охватившее его волнение.

Джо не ответил.

— Да! Вы имеете в виду меня! Вы приняли во внимание, что когда-то давно я мог поклясться отомстить ей, а потом, когда она вернулась, я разыграл комедию с моим предложением, для создания себе алиби... а потом убил ее... Но вы не имеете права так думать! Клянусь вам — я не убивал ее. Вы должны мне поверить, иначе вы никогда не найдете настоящего убийцу!

Он смотрел на Алекса глазами, в которых таилось столько же боли, сколько изумления.

— Я хотел бы обратить ваше внимание на две маленькие детали... — сказал Джо. — Во-первых, я не сказал ни одного слова о том, что подозреваю вас. Это вы так отреагировали, когда я высказал свою маленькую концепцию о двух подозреваемых. Во-вторых, если бы вы убили Патрицию Линч, желая отомстить ей за то, что она когда-то покинула вас, то... Однако не будем говорить об этом. В этом деле очень много вопросительных знаков. А моя концепция может оказаться бессмысленной. Мне не следовало затрагивать эту тему сегодня, в вашем присутствии. Я допустил ошибку...

Но Алекс сказал это таким тоном, словно сам не верил, что допустил ошибку. Однако сэр Александр не слышал его. Он стоял, вглядываясь в

лес за окном, а по его лицу пробежала легкая дрожь, которая внезапно показалась Алексу похожей на колебания земной коры, терзаемой в глубине сейсмическими катаклизмами, лишь слабый след которых достигает поверхности. Он мягко прикоснулся к руке хозяина.

— Пойдемте, — сказал он тихо. — Я здесь затем, чтобы выяснить правду, а мне кажется, что и вы говорили о своем желании ее отыскать.

Джилберн поднял голову.

— В конце концов, вы поступаете именно так, как я хотел. Вы с первой же минуты рассматриваете все возможности. А если иногда это мне неприятно, так ведь важна наша общая цель, а не мои мелочные эмоции...

Он взял трость и двинулся к двери.

Алекс пошел за ним. На лице его появилось то же мрачное выражение, что и тогда в полдень, когда он вел машину в сторону здания Скотленд-Ярда. И сейчас Джо боялся. Боялся за жизнь неизвестного ему человека, которого вскоре мог убить неизвестный убийца, потому что Джо Алекс знал, что нет никакого способа предотвратить надвигающееся преступление, если этот убийца решит нанести удар очень скоро, быть может, уже сегодня... И в эту минуту, впервые в жизни, он хотел ошибиться. Хотел, чтобы одна зловещая логическая конструкция, которую он успел выстроить, даже еще не приблизившись к Норфорд Мэнор и ни к одному из его обитателей, рухнула бы и заставила его посмеяться над самим собой. Но он боялся, потому что давно уже знал силу своих логических построений. Хотя, конечно, могло существовать и какое-то совсем иное решение.

## Глава VIII

## Графство, истерзанное ведьмами

Джилберн поднял трость и указал на отдаленную точку над кронами деревьев.

— Это Норфорд Мэнор. Нас отделяет от него ровно одна миля. Сейчас дом кажется далеким, но бывают дни, когда у меня возникает ощущение, что он за ночь придвинулся. Все зависит от поры дня, времени года и прозрачности воздуха. Там, справа, находится Дьявольская скала. Когда пойдем в ту сторону, мы не будем видеть ни ее, ни дома, потому что дорога идет через лес, и только когда окажемся у входа в парк, мы увидим ее снова. Вид будет несколько неожиданный, потому что парк заложен очень импозантно. В сторону дома ведет вверх террасами аллея могучих грабов, между которыми расположены клумбы и цветочные поля. Очевидно, сэр Джон хотел таким образом восполнить небольшие размеры резиденции, три стороны которой представляют собой обрывы над пропастью.

Они молча двинулись, обходя клумбу с розами. Джо еще раз взглянул в сторону дома на пригорке. Ему были видны второй этаж и остроконечная крыша, покрытая позеленевшей листовой медью. Он сосчитал маленькие, белые окна, в которых отражались вечерние облака, ползущие с юга. Да, дом действительно был невелик.

Они обошли клумбу и очутились на тропинке, пересекающей зеленый луг, поросший нестриженой травой и полевыми цветами. Луг тянулся до самой стены ограды. В конце тропинки Джо заметил в стене прямоугольник калитки.

— Моя мать любила этот луг... — сказал Джилберн, и словно не отдавая себе отчета в присутствии гостя, продолжал так, будто беседовал наедине с собой. — Она хотела, чтобы он всегда оставался таким, как сейчас. Только

здесь она сеяла разные полевые цветы, которые растут и поныне... Я тоже люблю этот зеленый простор — он дает дому дыхание. Впрочем, я бы и не смог здесь что-нибудь изменить… Патриция тоже любила этот луг. — И как будто спохватившись, что гость может быть удивлен этим его монологом, прибавил более деловым тоном: — Дикорастущие сады мне нравятся больше хорошо ухоженных парков. И этим я, вероятно, отличаюсь от большинства наших земляков, хотя на континенте английским парком называют парк в его естественном состоянии. Но англичанин не успокоится, пока не подрежет несколько веток и не испортит куска земли этим ужасным приспособлением, которое мы именуем машиной для стрижки газонов.

Джо произнес несколько общих фраз.

Солнце опустилось так низко, что его лучи не касались сада. Только Норфорд Мэнор и Дьявольская скала сверкали, как два белых пятна на темнеющем небосклоне.

Они шли молча, окутанные покоем предвечернего воздуха и затихающими голосами птиц.

— Здесь очень красиво, — вымолвил, наконец, Джо. — Я не удивляюсь тому, что Дьявол решил поселиться именно тут.

Они приближались к калитке, и когда оставалось всего несколько ярдов, она вдруг открылась, и Джо увидел высокую, красивую, темноволосую девушку в простом черном платье. В руке она держала плетеную ивовую корзину. Увидев Джилберна, девушка приостановилась и сделала реверанс. Алекс заметил, что, приветствуя сэра Александра, она успела и его окинуть коротким любопытным взглядом, но тут же опустила глаза.

— Добрый вечер, сэр, — сказала она тихо. — Уже созрели первые яблоки, и мистер Эклстоун посылает их вам с наилучшими пожеланиями, сэр... А здесь свежий салат. Филд спрашивает, не нужно ли вам еще что-нибудь из сада? — ее глаза на секунду встретились с глазами Алекса. Она покраснела и быстро отвела взгляд. Девушка теребила в руке корзинку движениями, подобными тем, которыми молодой актер, не зная, что делать со своими руками, теребит пуговицы на пиджаке.

Джо с интересом разглядывал ее. У девушки были густые, сросшиеся брови, и она скорее походила бы на итальянку, чем на англичанку, если бы не голубые глаза, красиво контрастирующие с черными волосами и смуглой кожей. Платье указывало на то, что девушка, очевидно, служит горничной в Норфорд Мэнор.

— Спасибо, Синди. Если я встречу сэра Ирвинга на прогулке, то сам поблагодарю его, а если нет, сделай это от моего имени. Относительно сада спроси у своей матушки. Она принимает решения о том, что будет на столе.

Он улыбнулся девушке и направился к калитке, а Джо последовал за ним. Девушка удалилась в направлении Велли Хауз.

Когда они прошли через калитку и оказались в аллее бегущих через лес, ровно высаженных каштанов, Джилберн сказал:

— Это была Синди Роуленд, дочь моего старого Остина и Кетрин. Она горничная у Эклстоунов.

— Это она оба раза первой заметила, что портрет перевернут?

— Да. Она первой встает и обычно сразу заходит в библиотеку, потому что там остаются чашки, стаканы и пепельницы после вечерних бесед.

— Красивая девушка. Не много же, однако, приезжает сюда посторонних, если горничные так краснеют при виде незнакомого мужчины.

— Вы правы. Вся ее жизнь проходит в районе наших двух домов. И лишь по воскресеньям слуги идут в церковь в Блю Медоуз. Тут насто-

ящее безлюдье. Но если речь идет о Синди, то, пожалуй, ей пора замуж. Такие молодые, здоровые девушки с черными волосами и блестящими глазами становятся немного безответственными, если долго живут в девичестве. Впрочем, Синди довольно странная девушка.

— Странная?

— Да. Родом она, как я вам уже говорил, из деревушки Норфорд, и род ее, вероятно, проживает в этих краях дольше, чем род Эклстоунов или мой. В году тысяча пятисотом был крещен в нашем приходе некий Остин Роуленд, а мой старый Остин является его потомком по прямой линии. Но вы спрашивали меня, почему Синди странная девушка? Вот, например: еще подростком Синди провела ночь в Дьявольском гроте, потому что хотела увидеть Дьявола. Мы все искали ее тогда до самого утра, так как опасались, что она упала с обрыва. Здесь есть несколько таких мест, где следует быть очень осторожным — можно свалиться с высоты многоэтажного дома. Утром Синди вернулась домой и спокойно заявила, что она его не встретила. Разумеется, Остин устроил ей хорошую трепку, но мне кажется, что в душе он гордился ее смелостью. Потом, когда она начала работать в Норфорд Мэнор, Ирвинг Эклстоун как-то сказал ей в шутку, что женщины со сросшимися бровями чаще всего бывали ведьмами. Не знаю, поверила ли она этому, но он рассказывал мне, что однажды застал ее в библиотеке погруженной в изучение какой-то древней рукописи. Щетка и пылесос без дела лежали рядом. Ирвинг, конечно, обрадовался, так как сам факт интереса к Дьяволу является, по его мнению, признаком выдающегося интеллекта. Он тут же начал рассказывать ей об истории деревушки Норфорд и о ведьмах из этих мест. Он говорил мне, что Синди выпытывала у него, в чем заключались те чародейства, в которых их обвиняли. Ирвинга это очень забавляло. Мне кажется, они с тех пор в большой дружбе, и он разговаривает с ней гораздо чаще, чем с Джоан, которая, как я подозреваю, в глубине души считает своего отца тихим, безобидным сумасшедшим.

— Боже мой! — вздохнул Джо. — Что ж это за место такое! Стоит лишь пройти мимо красивой девушки, как тут же оказывается, что она в когтях у нашего недоброго знакомца. Почему вы не рассказали мне об этом раньше?

— В Лондоне? Но, я полагаю, вы не придаете значения... такого рода нелепостям?

— Я, нет. Но мы мало знаем о том, что о них думает Синди Роуленд. Ведь она несла яблоки и салат...

Они шли в полумраке, под темной крышей каштановых ветвей над головами. Дорога мягко змеилась то влево, то вправо, все время постепенно спускаясь вниз.

— Ну и что из того, что она несла яблоки и салат? — Джилберн остановился и впервые посмотрел на своего гостя с подозрительным недоверием, но тут же двинулся дальше, тяжело втыкая трость в землю.

— О, ничего особенного, — Алекс сорвал растущий на краю тропинки одуванчик и дунул. Белые, едва видимые пушинки поплыли в воздухе. — Но раз уж мы находимся на территории достославного графства Саффолк, о котором уважаемый инквизитор Мэтью Хопкинс сказал, что «оно истерзано ведьмами», я должен сослаться на «Malleus maleficiarum», совместное произведение ведущих искателей ведьм в Европе. Они утверждали, что:

1. Дьявол имеет исключительную власть над яблоками, и чем раньше сорвано яблоко, тем хуже для того, кто его ест, если он перед этим не перекрестился.

2. Женщины со сросшимися, черными бровями имеют все шансы оказаться суккубами, то есть Дьяволами в женском обличье.

3. Женщины, имеющие такие брови, решительно склонны к ликантропии[1], то есть к вампиризму или превращению в вурдалаков. В этой книге подробно описан случай, когда одна из таких женщин, обернувшись волком, перегрызла весь скот своей соседки, с которой была в ссоре. К счастью, при этом она была ранена, а раненная в образе зверя ведьма сохраняет рану, возвратившись в человеческое обличье. Ее, разумеется, поймали и сожгли. Не знаю, сожгли ли также всех жителей городка Оссори в Ирландии, которые регулярно, раз в семь лет преображались в волков? Любопытно, что в Италии ведьмы всегда превращались в кошек. Вероятно, уже в то время там не было волков...

4. В довершение ко всему, такие девушки часто имеют красивые длинные черные волосы, связанные на затылке в большой узел. Это означает, что любая из них может даже стать царицей суккубов Лилит, у которой тоже были красивые черные волосы, которых она не прикрывала платком. Она может также стать любовницей Дьявола, поскольку, как известно, он ощущает особое влечение к женщинам с красивыми черными волосами. Поэтому святой Павел велел женщинам покрывать головы. В Италии до сих пор женщине нельзя войти в церковь с непокрытой головой... Ах да, еще салат! Святой Григорий Великий упоминает в своих «Диалогах» о несчастной монахине, которая забыла перекреститься перед трапезой и немедленно проглотила Дьявола вместе с листком салата. Впрочем, это поверье о проглатывании Дьявола, должно быть, возникло гораздо раньше, так как еще при Мессалине еретические сектанты возвели плевание в ранг религиозного действа, веруя, что они выплевывают Дьяволов, проглоченных во время вдоха.

— И люди, как общество, во все это верили? Я говорю не о церковной верхушке, а о большинстве обыкновенных людей.

— Конечно. Люди никогда не нуждаются в особых доказательствах, чтобы уверовать в то, во что они хотят поверить. И не только простой народ. Приблизительно около 1610 года, то есть как раз в эпоху сэра Джона Эклстоуна, венгерская графиня Элизабет Надасди, родным дядей которой был польский король Стефан Баторий, убила шестьсот пятьдесят молодых девушек, чтобы возвратить себе молодость, купаясь в их крови. И за это ее даже не постигла кара смерти, хотя исполнители ее приказов были сожжены... Поэтому над моей скромной гипотезой, о которой я пока не хочу с вами говорить, нависла тень деятельности неизвестного маньяка, который в этих дьявольских местах мог быть охвачен тихим безумием и действует вне всех правил современной логики. Эти жутковатые оттиски копыт как будто говорят в пользу такого взгляда, так же как и случай с портретом, меняющим свое положение ночью и при этом явно не тронутым человеческой рукой в процессе этого действия. Но скорее я готов предположить, что...

Он умолк.

— Случаи, о которых вы только что говорили, имели место много веков назад, — сказал Джилберн с некоторым колебанием. — Я не думаю, что современный человек мог бы настолько подвергнуться влиянию суеверий и предрассудков, чтобы совершить убийство.

— Я лишь хотел бы напомнить вам, что пять минут тому назад вы рассказывали мне о молодой девушке, которая как-никак ходила в школу, знает, что такое телефон, радио и телевизор, видит самолеты и автомобили

[1] Ликантропия (от др.-греч. λύκος — волк + ἄνθρωπος — человек) — мифическая или волшебная болезнь, вызывающая метаморфозы в теле, в ходе которых больной превращается в волка.

и пользуется электрическим холодильником. Вы мне говорили, что она провела ночь в гроте, желая встретить там Дьявола, который завладел ее умом до такой степени, что она забывает обо всем на свете, когда видит книгу о нем.

— Я мог бы еще к этому добавить, что Синди ухаживает за змеями Ирвинга Эклстоуна, — сказал Джилберн с улыбкой. — Она их кормит и даже выпускает по одной в сад, чтобы могли «немного погулять». Она в таких случаях не отходит он них ни на шаг, а потом сажает обратно в террариум. А эти существа, мне кажется, ее даже любят. Во всяком случае, совсем не боятся.

— Ах, так он еще и разводит змей? — на этот раз Джо улыбнулся.

— Да, но их всего две. Он держит их в кабинете. Ирвинг утверждает, что их созерцание помогает ему ощутить страх средневекового человека по отношению к существу, которое является символом Дьявола. Эти змеи, между прочим, совершенно безвредные создания, не ядовитые и могут обидеть максимум лягушку или ящерицу. А возвращаясь к Синди, у меня сложилось впечатление, что это очень порядочная, хотя и немного эксцентричная девушка. Все, вероятно, закончится тем, что явится к ней какой-нибудь робкий деревенский парень в воскресном костюме и поведет ее под венец. А через десять лет она станет толстой добродушной крестьянкой, окруженной кучей детей. Я знаю ее с пеленок и не могу представить, чтобы она была способна на какой-нибудь скверный поступок.

— Да-а-а... — Джо взглянул на него в густеющих сумерках. — А ведь вы приехали ко мне сегодня утром, опасаясь, что Дьявол может снова нанести удар. В воскресенье портрет опять повернулся, и появились следы копыт в гроте, где эта барышня отважно проспала некогда всю ночь. Я не утверждаю, что именно она является маниакальным убийцей, но она может им быть. А я ничего не знал об этом еще полчаса назад. И если я узнаю о существовании еще нескольких здешних обитателей, у которых такое же слабое алиби, то дело еще больше осложнится. Потому что — поймите, сэр Александр, — я должен быстро изолировать человека, которого мы все боимся. Если мне это не удастся, еще очень много недоброго может произойти в этом графстве, истерзанном ведьмами.

***Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО.***

***Окончание следует.***



Сюзанн Ричардсон ХАРВИ

# *Щит юмора верней, чем рвы и стены*

## От переводчика

*Трудно измерить пропасть, лежащую между языками, пока не начнешь переводить поэзию. Оказывается, различия в грамматическом строе провоцируют столь сильные различия в строе поэтическом, что сделать стихотворный перевод тождественным оригиналу не представляется возможным. Дотошные знатоки могут предъявить уйму претензий и Маршаку, и Пастернаку, благодаря которым большинство из нас приобщалось к творчеству Шекспира. Когда от общепризнанных гениев спускаешься на ярусы современной литературы — та же головная боль. Пробуешь переводить как можно точнее — неизменно теряешь саму поэзию. Добавляешь своих красок — «убиваешь» авторский дух.*

*Органичные нам ритм и рифма уже давно не востребованы в западной поэзии. Нет их и у американской поэтессы Сюзанн Ричардсон Харви. Ее стихи — это мир тонких негромких вещей, полутонов, которые обычно остаются вне фокуса внимания поэтов, обуреваемых страстями. Ни сентиментальности, ни надрыва. Она ничего не драматизирует, драма — в самой жизни, в ее ходе. Ее поэтический язык, смыслово насыщенный, лексически намеренно безыскусен и прям... И моя попытка перевести ее стихи свободным стилем, вполне соответствующим авторскому, в некоторых случаях оказывалась чревата примитивом. Как ни странно, мне удалось приблизиться к стихам Харви, когда перевела их не просто на другой язык, но и в другую поэтическую систему. Когда дала себе волю следовать не букве, а духу. И в этом стремлении меня поддержал сын Сюзанн — Брайан Дэниэл Харви. По роду занятий он историк кино и, кстати говоря, знает русский язык. Для меня это не эксперимент, а повторение опыта. Точно так же, рифмуя, я перевела и часть стихов в книге Сэма Окленда «Улыбки за чашкой чая», причем автор воспринял это с большим энтузиазмом. Может быть, двух частных случаев мало, чтобы делать какие-то выводы. Во всяком случае, это прецедент. Просто рада, что у меня есть возможность познакомить нашего читателя с миром Сюзанн Ричардсон Харви, жившей за океаном в наши дни. Пусть и посредством всего семи коротких стихотворений.*

## Легкое ремесло переносного смысла

Род экзорцизма — извлеченье слов,
Свидетельство греха иль неудачи.
Тут и рабочий день тебе готов,
И занятость надежная в придачу.
Неделя сокращенная не ждет,
И что тебя уволят, нет забот.

Зато переработки — до зари,
Пока подушку пот не окропит,
Пока не заурчит живот пустой…
И ты, забывшись в сонном мираже,
Несешься по проспекту неглиже
Со щелкающим стробом под пятой.

## Урок фехтования

Щит юмора верней, чем рвы и стены.
Однажды то, что было сокровенным,
Покажется наружу из ворот —
И замок крепостной не упасет.
Тогда готовься к выпаду нахала.
Его ты одолеешь без кинжала,
И если в точку словом ты попал,
Оценит остроумие толпа.
Пускай врагу пощиплет шкуру разум —
Укол остро́ты сбережет от сглаза.
А если у тебя расквашен нос —
Тогда ты до оваций не дорос.

## Ящерица-хамелеон

Ее собратья сетуют на порывы ветра,
на перепады воздушных потоков,
меняя окраску — то с резвостью калейдоскопа,
то с медлительностью компасной стрелки,
лавинообразно подпитываясь яростью, страхом, желанием
победить в рейтинге качества, вроде того, что публикует
«Домашний очаг»…
Никто б и подумать не мог,
что она перед лицом обычного бедствия
взметнется небоскребом на пустыре…
А когда она исчезла, никто и не заметил
тех пустот, что она населяла,
ни в одной не задерживаясь подолгу.

## Любимый сын

Ты — чуткой настройки антенна…
Удильщик с крючком наживленным,
Чтоб отсвет заката ловить…
С отточенной кромкой стамеска,
Чтоб сердце изрыть гравировкой
Во имя мечты о любви…
Ты — камень пробирный, и чудо
Откроет тебе тишина.

## Пятьдесят за бортом

Мачта треснула,
Корпус худой…
Самый раз паковать сухари
И наполнить канистру водой…
Будто бы радиатор вскипел
Посредине пустыни Мохейв
Или шины проколотой «бум»
На заглохшем шоссе в Туолумн.
В ход теперь сухофрукты пошли,
И уже наплевать на Шабли,
И уже за твоею спиной
Больше, чем у тебя впереди…
И шрифты покрупней по душе,
Да и сносок не видишь уже.

## Лыжный склон на закате

Гора в этот час — будто море несметных алмазов.
Долг мой — бережно вклиниться и,
то углы гравируя, то скобки,
покатить в направленьи сосны
или ели вон той голубой,
соскользнув по параболе внутрь, в середину столетья.

## Элегия

Назойливою гостьей наша память
Является без всяких приглашений,
Груженная сомнительною кладью —
Негодным хламом шансов и свершений.
Когда она гибрид своих сокровищ
По бледной пелене распростирает,
То все в ее виденьях несинхронно,
К тому же, и звучит оно раздраем.
Надеясь на дары, что неделимы,
Мы ухватить пытаемся мгновенья —
Хотя бы мимолетную улыбку
Иль, может быть, руки прикосновенье.
Но молнией сражает нас различье:
Пускай в одном ковалось все горниле,
Там был металл, тут — камень философский,
Лишь миг — и эликсир его бессилен.
Он для всего сезон слишком короткий…
Он отзвук эха, что безвестно тает,
Он — цвет опавший, пылью погребенный,
Бессмертья нить накала золотая.

***Предисловие и перевод с английского***
***Татьяны ШПАРТОВОЙ.***

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

# *Пантеон женских сердец*

## Сэй-СЁНАГОН
(около 966—1017?)

***Промчались годы,***
***Старость меня постигла,***
***Но только взгляну***
***На этот цветок весенний,***
***Все забываю печали…***

Фудзивара-но Есифуса (804—872 г.)

Легко рассказывать о человеке, чья биография строится преимущественно, если не исключительно, на одних гипотезах, догадках, домыслах, вымыслах и всякого рода мифах. В самом деле! Какой с тебя спрос, если ты что-нибудь там ненароком переврешь, перепутаешь или вдруг забудешь. А то и вообще возьмешь и сам присочинишь пару-тройку забавных историй, ради красного словца, так сказать, приумножив общее число небылиц, сотворенных еще до тебя. Словом, обширное поле деятельности открывается перед тем, кто вознамерился писать о таком человеке. Есть где разгуляться неуемной фантазии, есть!

Вот и наша героиня, коей посвящен сентябрьский очерк, то ли она родилась в 966 году, то ли в 967-м или в 968-м. То ли она отошла в мир иной в 1017-м, то ли в 1018-м… А быть может, и в 1020-м. Бог весть! То ли она умерла в нищете, забытая современниками, то ли купалась в лучах славы и роскошествовала до самого смертного часа… То ли была счастлива в личной жизни, то ли страдала, непонятая никем и брошенная всеми. Никто ничего толком не знает и не может сказать ничего определенного. Доподлинно известно лишь одно: наша героиня написала книгу. Представьте себе, за всю свою жизнь одну-единственную книгу, но зато какую! Ведь любой мало-мальски сведущий в истории мировой литературы уверенно скажет вам, что сегодня труд Сэй-Сёнагон входит в первую сотню, если не в первую двадцатку, самых знаменитых и значимых книг всех времен и народов.

А дальше снова начинаются разночтения и многочисленные интерпретации. Литературоведы, востоковеды и просто знатоки японской культуры сходятся во мнении, что название книги — «Записки у изголовья» — не принадлежит автору. Оно появилось гораздо позже, уже в последующие века, когда книга Сэй-Сёнагон вошла, в полном смысле этого слова, в каждый японский дом, обитатели которого умели читать и писать. К слову говоря, точно такая же история приключилась в свое время и с бессмертным творением великого Данте, которое сам автор поначалу назвал, если вы помните, очень скромно, просто «Комедией». Это уже потом благодарные потомки и почитатели итальянского гения наградили его поэтический труд выспренним эпитетом «Божественная», и ни у кого — представьте себе! — ни тогда, ни потом, название «Божественная комедия» не вызвало

никаких отторжений или критических замечаний. Или тем более желания заменить этот эпитет на какой-нибудь другой, менее восторженный.

С книгой Сэй-Сёнагон та же история. С учетом тех обстоятельств (факторов, как принято выражаться сегодня), которые поспособствовали появлению книги на свет, скорее всего, автор тоже поначалу назвала ее очень незаметно: «Записки» или «Макура-но соси», если по-японски. Вообще-то исходное значение словосочетания — это тетрадь для личных заметок. Но позже так стали именовать и сами заметки. Ничего не скажешь! Любил образованный японец и в те далекие времена побаловаться на досуге размышлениями о прекрасном, а то и заняться сочинением философичных трехстиший (хокку) или пятистиший, которые, как всем известно, именуются танками. Одна из них, принадлежащая перу (точнее, кисти) Фудзивара-но Есифуса, вынесена в качестве эпиграфа к данному эссе.

А чтобы все необходимое для таких творческих медитаций всегда было под рукой, в твердом изголовье японского ложа устанавливали специальный выдвижной ящичек, в котором хозяин (или хозяйка) хранили свои тетради для записей, тушь и кисточки. Вот из такого незамысловатого атрибута японского быта и родился, наверное, окончательный вариант заглавия книги Сэй-Сёнагон: «Записки у изголовья». Дескать, проснулся поутру и быстренько, на свежую голову набросал (точнее, начертал) сколько-то там штук иероглифов, воспевающих гармонию окружающего мира. Или напротив, снедаемый бессонницей, осторожно выдвинул в глухую полночь ящичек, извлек из него свою заветную тетрадь и при тусклом свете чадящего ночника стал наспех записывать теснящие голову мысли, причем не только о вечном. Обо всем на свете. Например, вот об этом.

**То, что пролетает мимо**

Корабль на всех парусах.
Годы человеческой жизни.
Весна, лето, зима, осень.

(Здесь и далее по тексту все цитаты приводятся в переводе со старояпонского, выполненного Верой Марковой для первого издания книги Сэй-Сёнагон на русском языке, увидевшего свет в издательстве «Художественная литература» в 1975 году.)

Как бы то ни было, но зато события, которые описала в своей вечной книге эта удивительная женщина, происходили точно с 986 по 1000 годы: самая середина так называемой Хэйанской эпохи, продлившейся с начала IX века вплоть до конца XII века. На языке историков этот период в жизни Японии именуется Ранним средневековьем. Кстати, Фудзивара-но Есифуса, стихи которого мы цитировали выше, — самый что ни на есть типичный представитель знати этой самой Хэйанской эпохи. Могущественный царедворец, регент при малолетнем императоре, сумевший на целых три века вперед закрепить за своим семейством все рычаги управления государством, попутно обеспечив всех членов клана Фудзивара, включая потомков, не только властью, но и богатством, он одновременно был и прославленным японским поэтом, которого еще при жизни включили в так называемый список «36 бессмертных поэтов». Вот такие вот госчиновники подвизались при императорском дворе в эпоху Раннего средневековья в Стране восходящего солнца, как принято ныне именовать Японию во всяких журналистских очерках.

Итак, зачин нашей истории положен. Двигаемся дальше. Да, но почему вы решили заговорить о прославленной японской писательнице именно в сентябре? — задастся резонным вопросом иной читатель.

В самом деле, почему? Почему, обладая правом свободного выбора (ведь точная дата рождения нашей героини не известна), предпочли, скажем, не свой любимый апрель или унылый декабрь с его бесконечно долгими ночами, утопающими в кромешной тьме? Почему не март, предвестник грядущего весеннего пробуждения? Или не роскошный май с цветением садов и благоуханием окружающей природы, радующей глаз пиршеством красок и оттенков?

Да, наверное, потому, что, говоря словами самой Сэй-Сёнагон, *«У каждой поры своя особая прелесть в круговороте времен года. Хороши первая луна, третья и четвертая, пятая луна, седьмая луна, восьмая и девятая, одиннадцатая и двенадцатая. Весь год прекрасен — от начала до конца»*. А потому без излишних колебаний выбираем сентябрь и учимся видеть красоту окружающего мира в любое время года. Как видела и запечатлевала ее в своих заметках Сэй-Сёнагон.

А вот и пример к месту! Привожу полностью 42-й дан из «Записок». Кстати, японское слово «дан» означает не только уровень (или ступень) мастерства человека в овладении всякими восточными единоборствами, но и законченный по смыслу отрывок или фрагмент текста, написанный в соответствии с правилами японской орфографии и каллиграфии, то есть, во-первых, сверху вниз, а во-вторых, справа налево. И вот он, этот дан.

**То, что утонченно-красиво**

Белая накидка, подбитая белым, поверх бледно-лилового платья.
Яйца дикого гуся.
Сироп из сладкой лозы с мелко наколотым льдом
в новой металлической чашке.
Четки из хрусталя.
Цветы глицинии.
Осыпанный снегом сливовый цвет.
Миловидный ребенок, который ест землянику.

Или внимательно перечитаем дан, которым открываются «Записки у изголовья». Итак, дан номер 1, кстати, очень известный, можно сказать, самый знаменитый, на который неизменно ссылаются все пишущие о Сэй-Сёнагон.

## Весною — рассвет

*Весною — рассвет.*

*Все белее края гор, вот они слегка озарились светом. Тронутые пурпуром облака тонкими лентами стелются по небу.*

*Летом — ночь.*

*Слов нет, она прекрасна в лунную пору, но и безлунный мрак радует глаза, когда друг мимо друга носятся бесчисленные светлячки. Если один-два светляка тускло мерцают в темноте, все равно это восхитительно. Даже во время дождя — необыкновенно красиво.*

*Осенью — сумерки.*

*Закатное солнце, бросая яркие лучи, близится к зубцам гор. Вороны, по три, по четыре, по две, спешат к своим гнездам, — какое грустное очарование! Но еще грустнее на душе, когда по небу вереницей тянутся дикие гуси, совсем маленькие с виду. Солнце зайдет, и все полно невыразимой печали: шум ветра, звон цикад…*

*Зимою — раннее утро.*

*Свежий снег, нечего и говорить, прекрасен, белый-белый иней тоже, но чудесно и морозное утро без снега. Торопливо зажигают огонь, вносят пылающие угли, — так и чувствуешь зиму! К полудню холод отпускает, и огонь в круглой жаровне гаснет под слоем пепла, вот что плохо!*

А ведь красиво, правда?

Что ж, с датой рождения определились, более или менее. Самое время очертить, хотя бы абрисно, некоторые факты из биографии писательницы, те, что можно считать на сто или хотя бы на девяносто девять процентов достоверными и точными. Увы-увы! Таких фактов до обидного мало.

Точно известно, что Сэй-Сёнагон происходила из древнего, но обедневшего рода Киехара. Историки даже раскопали сведения (на уровне преданий), согласно которым отец будущей писательницы и ее прадед были в свое время довольно известными поэтами, правда, явно не столь знаменитыми, чтобы претендовать на место в списке «36 бессмертных поэтов». Во всяком случае, до сего дня образчики их творчества не сохранились.

Настоящее имя писательницы тоже не известно, так как в те далекие времена в семейные родословные вписывали только имена мальчиков. Сэй-Сёнагон — это дворцовое прозвище, которое писательница получила, поступив на службу к императрице, вначале в качестве младшей фрейлины, позже — придворной дамы. Буквально иероглифы, составляющие это прозвище, обозначают самую мелкую государственную должность, нечто вроде «младшего государственного советника», а применительно к женщине так и вовсе носят откровенно уничижительный характер. Дескать, так, мелкая сошка, и ничего более.

Правда, прежде чем появиться при императорском дворе, Сэй-Сёнагон успела побывать замужем. Ее выдали замуж, когда ей едва минуло шестнадцать лет, за чиновника невысокого ранга. В этом браке у молодой женщины родился сын. Но вскоре брак распался. Легенда гласит, что Сэй-Сёнагон порвала со своим первым мужем, потому что он оказался плохим поэтом. Суровая женщина! Впрочем, это всего лишь легенда. Потом был еще и второй брак, ознаменовавшийся рождением дочери. Некоторые биографы утверждают, что якобы был еще и третий.

Но как бы то ни было, а к моменту своего появления при дворе Сэй-Сёнагон состояла в разводе и была свободной женщиной. Случилось сие событие в 993 году, когда Сэй-Сёнагон было уже около тридцати лет. А юной императрице Тэйси (Садако) едва-едва исполнилось семнадцать, император же Итидзе, ее муж, был и вовсе на четыре года младше своей жены. Совсем еще дети, оба! Что и понятно. Всесильные правители из клана Фудзивара предпочитали видеть на императорском троне совсем еще юных, послушных им во всем монархов, при которых они исполняли функции регентов. Такими императорами ведь легче манипулировать, их всегда можно заставить, уговорить, запугать. Ну, а со строптивыми тоже не особенно церемонились. Процедура отречения от престола с последующим принятием иноческого сана была разработана во всех мелочах. Так что механизм отрешения от власти был отлажен и доведен до совершенства и в случае чего никогда не давал сбоев.

Как и положено в высших эшелонах власти, выражаясь современным языком, страсти при императорском дворе кипели почище, чем в любых кровавых трагедиях Шекспира. Интриги, сплетни, заговоры, заказные убийства, словом, типичный джентльменский набор, благополучно сохранившийся и до наших дней. Полный комплект всех инструментов, необходимых для того, чтобы разделаться с неугодными и продвинуть на нужные места своих людей. И в этом смысле атмосфера при дворе императора

Итидзе и его супруги Садако ничем не отличалась от того, что творилось, скажем, при дворе Клеопатры или царицы Савской. Или, если взять времена поближе, в мрачных покоях Виндзорского замка и в роскошных галереях версальских дворцов. Ибо, как известно, там, где власть, всегда кипит борьба за место поближе к рычагам управления этой самой властью.

Придворная служба Сэй-Сёнагон оказалась на поверку безрадостным и тяжелым занятием. Начнем с того, что более знатные дамы и фрейлины встретили новенькую, затрапезную провинциалку из захудалого дворянского рода откровенно неприязненно. К тому же, на свою беду, Сэй-Сёнагон была умна, имела острый глаз, все подмечала и замечала, на все и про все имела собственное мнение, что и вовсе не приветствуется в дворцовых покоях.

«Я люблю глядеть, как чиновники, вновь назначенные на должность, выражают свою радостную благодарность», — писала она в своих «Записках».

Вопрос в другом: нравилось ли такое пристальное внимание, окрашенное легкой иронией, самим чиновникам или другим придворным. Неудивительно, что товарки по службе невзлюбили Сэй-Сёнагон и немедленно начали строить ей всяческие козни. К несчастью, шаткое положение молодой фрейлины стало еще более неустойчивым после того, как при дворе начались гонения уже на саму императрицу Садако.

Вначале ее попросту выжили из дворцовых покоев мужа, потом при невыясненных обстоятельствах кто-то устроил поджог ее собственного дворца, после чего императрица, превратившись в погорелицу, вынуждена была какое-то время скитаться вместе со своей свитой по всяким временным пристанищам. Фрейлины тут же поспешили обвинить Сэй-Сёнагон в сговоре с врагами императрицы. Несправедливые наветы сделали свое черное дело, и Сэй-Сёнагон была изгнана из покоев императрицы.

«Самое печальное на свете — это знать, что люди не любят тебя. Не найдешь безумца, который пожелал бы себе такую судьбу».

Думается, Сэй-Сёнагон хорошо прочувствовала человеческую неприязнь на собственном опыте, прежде чем сделать это горькое признание. Впрочем, через какое-то время правда и добродетель, как писали раньше во всяких романах, почти восторжествовали, злые домыслы и обвинения в адрес несправедливо обвиненной фрейлины были признаны клеветой, и она снова появляется при дворе, но вскоре императрица Садако умирает от родов. Это случилось в 1000 году. После чего Сэй-Сёнагон окончательно уходит с придворной службы и якобы постригается в буддийские монахини. Но документальных подтверждений этому факту нет. В любом случае, как полагают ученые, свои «Записки» Сэй-Сёнагон написала уже после того, как покинула двор, то есть где-то в период с 1001 по 1010 годы. Последнее достоверное упоминание о ней самой датировано 1017 годом. Именно этот год и принято считать годом смерти Сэй-Сёнагон, хотя нигде об этом не сказано напрямую. Кстати, точное место захоронения прославленной японской писательницы тоже неизвестно. Зато — повторюсь еще раз! — полно всяческих преданий и легенд, связанных с ее именем.

Так, в некоторых биографиях Сэй-Сёнагон на полном серьезе приводится история, которая, если подумать хорошенько, скорее похожа на курьезный анекдот. Судите сами! Якобы один путник, странствуя по провинции, набрел на жалкую заброшенную хижину. Когда он подошел побли-

же, оттуда выглянула изможденная скрюченная старуха и хриплым голосом поинтересовалась у путника:

— Почем нынче в столице торгуют связками старых костей?

С большим трудом мужчина узнал в старой карге великую писательницу.

Лично мне эта история представляется чистейшей воды вымыслом от первого и до последнего слова. Почти тысячу лет тому назад «какой-то путник запоздалый», выражаясь высоким поэтическим штилем, узнает женщину, которую раньше, скорее всего, никогда и нигде не имел возможности лицезреть лично. Или в те далекие времена проселочные дороги Японии тоже были обставлены на современный манер многочисленными билбордами с портретами всяких знаменитостей, начиная от борцов сумо и кончая самыми известными столичными гейшами?

Не говоря уже о том, что вряд ли японская женщина, учитывая климатические особенности островного государства и своеобразие национальной кухни, может превратиться в дремучую старуху, едва достигнув пятидесяти лет. Как раз-то именно моложавость или, как любят говорить иные, неувядаемая молодость японок издревле считается их коронной фишкой. Недаром и сегодня глянцевые журналы всего мира охотно печатают на своих страницах всяческие восточные рецепты сохранения собственной привлекательности, адресованные, в первую очередь, читательницам. А ведь секреты большинства таких рецептов тщательно оберегались японскими красавицами на протяжении многих и многих столетий.

И наконец, последний аргумент в пользу признания абсурдности подобной версии. Он, кстати, содержится в 296-м дане книги «Записки у изголовья». Называется дан весьма многозначительно: «Правда ли, что вы собираетесь уехать?» И вот ответ на сей сакраментальный вопрос, который привожу целиком.

*— Правда ли, что вы собираетесь уехать в деревенскую глушь? — спросил меня кто-то.*

*Вот что я сказала в ответ:*
*И в мыслях я не держу*
*Уйти в дальние горы,*
*Где вечно шепчет сосна.*
*Молва ли вам нашептала?*
*Привиделось ли со сна?*

Что ж, как говорится в таких случаях: без комментариев. И тем не менее, если строго придерживаться официальной версии (а именно так мы и поступим), то земная жизнь Сэй-Сёнагон оборвалась в 1017 году. Вполне возможно, в провинциальной глуши. После чего началась уже ее посмертная слава, навечно вписавшая имя незаметной придворной дамы, каковой она была при жизни, в скрижали имен самых великих и знаменитых представителей мирового искусства и литературы. Что лишний раз подтверждает мудрость старинной японской пословицы: знаменитым делается не то имя, что выбито на камне, а то, что произнесено вслух обычным прохожим.

Кажется, самое время поделиться с читателем, как и когда произошло уже мое личное знакомство с Сэй-Сёнагон и ее книгой. Случилось сие нетривиальное для меня событие, причем даже с некоторым флером восточной экзотики, летом 1975 года, аккурат в год появления «Записок у изголовья» на русском языке. Сразу же оговорюсь. Я не большой знаток и ценитель восточного искусства. Как и любитель! Причем это в равной

степени относится ко всем восточным культурам, как к ближним, так и к дальним. Наверное, на мои эстетические вкусы изрядно повлияла знаменитая фраза Киплинга, прочитанная слишком рано и сказанная им совсем по другому поводу. Помните?

*Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и вместе им никогда не сойтись.*

Или, если по-английски, то:

*Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet…*

То есть умом-то я понимала, что Восток — дело тонкое, как не уставал повторять наш любимый киногерой товарищ Сухов. Вот и искусство восточное, оно тоже такое же тонкое и многомерное, и его надо обязательно и понять, и полюбить. Но увы! Сердцу, как известно, не прикажешь. А потому все восточное оставляло меня по жизни совершенно равнодушной. Или индифферентной, если вспомнить современную тягу ко всяким заумным словам.

Не то чтобы у меня сформировалось какое-то стойкое предубеждение против японской культуры конкретно. Отнюдь! Помнится, в ранней юности я даже в какой-то момент увлеклась литературой Страны восходящего солнца. Особенно мне тогда нравился Нацумэ Сосэки, а его роман «Ваш покорный слуга кот», мой любимый в те годы, и до сего дня пылится среди прочих книг, терпеливо дожидаясь того момента, когда я снова сниму его с полки для того, чтобы перечитать заново. Да вот все руки как-то не доходят…

Более того, с прилежностью завзятого библиофила я скупала альбомы наиболее известных японских живописцев. Утамаро, Хокусай с его бесконечным повторением одного и того же сюжета — «Сто видов» многоликой горы Фудзи, запечатленной прославленным художником в разные поры года и время суток, и прочее… Покупались и редкие сборники японской поэзии, выходившие, как правило, в серии «Литературных памятников». Иными словами, все «восточные» новинки исправно отслеживались с помощью газеты «Книжное обозрение», потом в обязательном порядке приобретались и тут же складировались на книжных полках, не находя при этом ни капли живого отклика в душе. И тут случилось одно незначительное, на первый взгляд, событие, которое...

Но предварительно следует пояснить, что в те далекие годы я жила, можно сказать, на два дома. Частые и довольно длительные командировки в Москву, иногда затягивавшиеся на десять и более дней, четко разделяли мое тогдашнее бытие («Бытие мое!», как восклицал один известный герой из одной известной всем кинокомедии) на жизнь в Минске и на столичное времяпрепровождение в Москве. Несмотря на страшную занятость по работе (ведь не ради же туристических красот меня регулярно отсылали в эту самую Москву!), я, тем не менее, с неуемным рвением провинциала, изголодавшегося по культуре мирового, так сказать, уровня, набросилась на изучение и постижение этих самых культурных ценностей, коих в Москве пруд пруди. Одна «Третьяковка» чего стоит! Я методично, буквально по списку, обходила все музеи города Москвы, как большие, так и малые, выкраивая для этого каждую свободную минуту командировочного времени. Ну, а в выходные дни стала осваивать ближнее и дальнее Подмосковье: Абрамцево, Коломенское, Клин, Кусково, Сергиев Посад с его знаменитой лаврой (впрочем, тогда это был еще город Загорск). Ну, и так далее, и тому подобное.

Но вот первоначальный «культурный голод» был, наконец, утолен, постепенно стало наступать пресыщение, и я даже почувствовала себя настоящим гурманом, то есть человеком, могущим уже не просто набра-

сываться на очередной культурный объект, но и смаковать каждое мгновение пребывания в нем. Отныне мои музейные хождения стали строго целенаправленными. *Dedicated*, как говорят в таких случаях англичане. Я появлялась в залах «Третьяковки» и своего любимого Музея изобразительных искусств имени Пушкина исключительно для того, чтобы полюбоваться одной определенной картиной или несколькими полотнами одного художника. И только! Скажем, сегодня вечером я иду смотреть картины Нестерова, а завтра буду созерцать свои обожаемые «Красные рыбки» на Волхонке.

Вот и в очередной приезд в столицу я в первый же свободный вечер устремила свои стопы на Волхонку с одной-единственной целью: полюбоваться пейзажами Альбера Марке (я им очень тогда увлекалась), а заодно и сравнить оригиналы с качеством репродукций в недавно приобретенном альбоме этого художника. Бодрым шагом ступала по раскалившемуся за день и еще не успевшему остыть асфальту тротуара («…жара, июль», как поется в одной популярной песенке), предвкушая, как и положено настоящему гурману, всю аппетитность предстоящего действа. Но уже на подступах к музею взор мой непроизвольно уперся в огромный транспарант, трепещущий на ветру над проезжей частью улицы. На белом полотнище большими черными буквами было написано следующее объявление: «Выставка современной японской живописи».

Подойдя ближе к музею, я увидела еще один транспарант уже непосредственно на самом здании, правда, с некоторыми добавлениями в виде непонятных японских иероглифов, под которыми красовалось маловразумительное слово, написанное уже кириллицей: «Нихонга». Что за «нихонга»? С чем ее едят и чем запивают? Одному Богу известно. Это уже потом, пару лет спустя, когда предприятие отправило меня подучиться основам японского языка, чтобы уметь хотя бы подписи под чертежами переводить на русский язык, кое-что стало проясняться и в этой абракадабре тоже. Два первых иероглифа, составляющих слово «Нихон», однозначно переводятся как «Япония, японский» и тому подобное. Иероглиф «га» более многозначен: это и рисунок, и эскиз, и чертеж, и много чего еще. Почему устроители выставки решили ограничиться транслитерированным вариантом перевода этих иероглифов, сказать трудно. Скорее всего, потому, что в искусствоведении на тот момент уже существовал термин «нихонга». Так в Японии принято именовать всю национальную живопись, выполненную в традиционном японском стиле. В отличие, скажем, от йоги-ка, то есть живописи уже в западной манере исполнения. Получается такой симпатичный искусствоведческий термин, вроде тех, которыми любят щеголять европейцы. Всякие там «фовизмы», «пуантилизмы» и прочее. Словом, посвященная публика понимает, о чем идет речь, а все остальные посетители… Что ж, пусть подтягиваются до уровня избранных. Видно, именно такими резонами руководствовались и кураторы выставки современного японского искусства, решив не ломать шапку перед всякими там непосвященными, а попросту привлечь их внимание экзотикой японских иероглифов.

Судя по всему, фокус не совсем удался. Ибо, несмотря на обилие уличной рекламы, никакого столпотворения на входе в сам музей не наблюдалось. Ни тебе ажиотированных толп любителей изящных искусств, штурмующих ограды музея под присмотром нарядов конной милиции, как это бывало, скажем, на выставке из сокровищ Тутанхамона, или когда в музее экспонировались полотна из Метрополитен. Не говоря уже о том, что творилось вокруг, когда москвичам доставили для ознакомления портрет дамы №1 всех времен и народов, имея в виду Джоконду. А какие очереди клубились вокруг Манежа, когда там выставлялся кумир тогдашних лет

еще совсем молодой Илья Глазунов! Здесь же тишь да гладь и Божья благодать.

Та же картина повторилась и внутри здания, уже непосредственно у самих касс. Скучающего вида кассирша, разомлевшая от жары и отсутствия наплыва посетителей, молча протянула мне два билетика: один для осмотра основной экспозиции, второй — для прохода в залы, где демонстрировались полотна этой самой выставки «Нихонга». На мой робкий вопрос о том, имеются ли в продаже буклеты, посвященные выставке, мне было коротко сообщено, что буклеты уже давно распроданы. Из чего сам собой напрашивался вывод, что отпечатали их в крайне ограниченном количестве. Озадаченная невозможностью потратить свой скромный, но честно заработанный рубль на нужды мирового искусства (редкий случай!), я потащилась на второй этаж, благоразумно решив пожертвовать на сегодня Марке ради созерцания японцев. Нельзя же, в самом деле, в течение одного вечера свести воедино эти самые Запад и Восток!

В залах, где была развернута экспозиция (два или три), тоже было немноголюдно, зато прохладно и очень комфортно по сравнению с летним зноем снаружи. Я извлекла из сумочки записную книжку и ручку, чтобы сделать по ходу кое-какие пометки на память, и двинулась вслед за немногочисленными посетителями знакомиться с экспозицией. Медленно брела по кругу, ничем особенно не восторгаясь и не прельщаясь. Так, обычный восточный формат: цветущая сакура на фоне вездесущей горы Фудзи, бурлящие водопады, срывающиеся вниз с поросших мхом скал, точеные профили японских красавиц. И вдруг…

Ох уж это набившее оскомину «вдруг»! Но ничего не поделаешь. Потому что именно «вдруг» я непроизвольно замедлила шаг и остановилась как вкопанная перед скромного размера полотном с таким же скромным и непритязательным названием «Ветка хурмы». На среднего размера чистом белом холсте было абрисно прорисовано черной тушью открытое настежь окно, за которым краснела ветка со спелыми плодами хурмы. И ничего более! Полное отсутствие фона. Никакой прорисовки перспективы, никаких подробностей внутреннего убранства жилища, никаких облаков на небе и солнечных бликов на стене комнаты. Ничего! Только распахнутое в никуда окно и ярко-оранжево-алые плоды хурмы.

Какое-то время я молча разглядывала полотно и вдруг поймала себя на мысли, что уже своим внутренним зрением сама дорисовала пейзаж за окном. С трудом оторвавшись от созерцания картины, двинулась дальше, осмотрела оставшуюся часть экспозиции и снова вернулась к ветке с хурмой. Достала ручку и аккуратно пометила в своей записной книжке фамилию художника и год написания картины. (Только не спрашивайте меня, кто и когда! Спустя какое-то время записную книжку благополучно вытащили у меня из сумочки прямо в троллейбусе. Видно, вор-карманник покусился на ее плетеный кожаный переплет, решив, что ему страшно повезло и он разжился по случаю пухлым бумажником.) После чего снова погрузилась в созерцание.

Честное слово, картина завораживала! Она не отпускала от себя, притягивала к себе, как магнит. Ну, какие еще избитые сравнения стоит привести, чтобы описать мои тогдашние ощущения? Да почему тогдашние? И сегодня, спустя более сорока лет, я вижу эту картину так же явственно и четко, будто снова стою перед нею в одном из залов Музея Пушкина. И тот же чистый холст, и ветка хурмы, и те же собственные фантазии по поводу того, что именно творится за окном. Полагаю, что это полотно есть высшее проявление художественного вкуса и творческого минимализма, коль скоро оно способно вызвать такое огромное количество самых разных эстети-

ческих ассоциаций у потенциального зрителя. Во всяком случае, ничего лучшего по этой части лично мне лицезреть не приходилось. И боюсь, уже и не придется.

Озадаченная таким необычным итогом своего очередного хождения в музей, я даже решила отказаться от посещения театра (с обязательной ловлей лишнего билетика на входе), а просто прогуляться по вечерней Москве с заходом в несколько моих самых любимых книжных магазинов. Судьбоносная встреча с Сэй-Сёнагон состоялась у меня в тот же вечер в книжном магазине «Москва», что на улице Горького. Кстати, моя московская подруга, недавно гостившая у меня, сказала, что магазин этот — слава Богу! — процветает и по сей день, по-прежнему привлекая в свои торговые залы толпы посетителей. Правда, теперь это уже не улица Горького, а Тверская.

Наверное, в другое время я благополучно проплыла бы мимо скромной книжицы в белом переплете (Снова в белом! Просто мистика какая-то!) с неизвестным мне именем на обложке. Какой-то там Сэй-Сёнагон… Или какая-то? Согбенная фигура женщины в лиловой накидке, подбитой белым (видно, художники решили обойтись без утонченного образа красавицы в бледно-лиловом платье, который описала сама Сэй-Сёнагон), однозначно указывал на то, что книга имеет отношение к женскому полу. Взяла ее в руки, полистала. Книга вдруг сама собой распахнулась на странице 273, и я прочитала:

**То, чего человек обычно не замечает**

Дни зловещего предзнаменования.
Как понемногу стареет его мать.

Я тут же представила маму, для которой каждая моя московская командировка была нескончаемым мучительным ожиданием того момента, когда дочка целой и невредимой возвратится обратно в Минск, под крышу дома своего, и подумала: «А ведь действительно, не замечаю! Маме-то уже скоро семьдесят!» И тут же решила: «Все! Беру!»

Да и цена смехотворная! Всего лишь семьдесят шесть копеек. Правда, народ, видно, нацеленный на поиск более злободневных или раритетных (впрочем, куда уж раритетнее?) книжных новинок, равнодушно скользил взглядом по опусу неизвестной мне японки и так же равнодушно следовал далее. Но что с них взять, с этих непосвященных, горделиво подумала я. Разве они знают, какой прекрасной может быть ветка хурмы, висящая за окном! Вот так в моем сознании навечно слились впечатления от посещения выставки современного японского искусства и купленная в тот же вечер совершенно случайно книга Сэй-Сёнагон.

Вернувшись поздно вечером в гостиницу и наспех перекусив стандартными сосисками в буфете внизу, я поднялась к себе в номер, разобрала постель и, включив ночник уже у своего изголовья, погрузилась в чтение только что приобретенной книги. И почти сразу же забыла о времени. Неспешно скользила глазами по тексту, переворачивая страницу за страницей, не в силах оторваться от незамысловатых, но таких сердечных и понятных до последней буквы медитаций неизвестной мне японки. В этой связи позволю себе одно коротенькое отступление.

Пару лет тому назад, ползая по сети в поисках какой-то нужной мне на тот момент информации, натолкнулась на страничку, озаглавленную предельно коротко: «Сэй-Сёнагон». Движимая любопытством (а вдруг там сообщается что-то новенькое о моей любимице?), зашла на сайт и невольно улыбнулась, прочитав подзаголовок. «Страница посвящена философам и

хорошему вкусу». На тот момент таковых в наличии оказалось только двое, ибо именно столько читателей было зарегистрировано в качестве официальных пользователей сайта. Красиво оформленный, с обилием цветных репродукций с полотен японских художников и бесконечными цитатами и афоризмами всяких знаменитых людей, он, к сожалению, не содержал ничего принципиально нового о судьбе самой Сэй-Сёнагон. Помнится, я еще тогда подумала, что при всей своей любви к писательнице не рискнула бы отнести Сэй-Сёнагон к разряду философов. Да, по части хорошего вкуса (и не просто хорошего, а утонченно-изысканного) все правильно.

Что же до философии, то никаких философских умопостроений ни при первом чтении книги, ни при последующих многочисленных обращениях к «Запискам» я не обнаружила. Забавные бытовые сценки, анекдоты, короткие новеллы и даже стихи, красочные картины природы, подробные описания всяческих придворных церемоний и торжеств, поэтические раздумья о жизни, мимолетные зарисовки обычаев и нравов, психологические портреты людей, да! — все это в книге есть. Что и сделало ее, кстати, богатейшим источником информации в том, что касается эпохи Раннего средневековья в Японии. Но при этом никакой философии! И полное отсутствие назидательности, которое порой так раздражает в книгах западных философов-моралистов. Все-то они про нас знают и уж больно горазды поучать, как именно стоит жить по всем правилам. Что и понятно. Раздавать советы ведь всегда гораздо проще, чем самим следовать им.

Совсем иное дело Сэй-Сёнагон. Легкая ирония, но при этом неизменная доброжелательность, и я бы даже сказала, сердечность в понимании чужих проблем, снисходительное отношение — опять же! — к чужим недостаткам, здоровое чувство юмора и несомненный заряд оптимизма на каждой странице. Словом, все те качества, которые обычно присутствуют в хорошем и добром человеке. Впрочем, разве сама Сэй- Сёнагон не сказала об этом так:

*Сострадание — вот самое драгоценное состояние человеческой души.*

Бесспорно, этим качеством природа наделила писательницу сполна!

Где-то уже далеко за полночь раздалось недовольное ворчание с соседней койки. Постоялица, делившая со мной двухместный номер, справедливо попеняла мне, что приличные командировочные приезжают в столицу вовсе не за тем, чтобы ночами книжки читать, и что хотела бы она посмотреть своими собственными глазами, как я завтра стану трудиться после бессонной-то ночи. Пришлось подчиниться законным требованиям соседки и выключить свет. Утром, трясясь в вагоне подземки, я с полным правом и на всех основаниях влилась в дружные ряды тогдашних московских книгочеев, не расстававшихся с книгой даже в метро, и, получив вожделенное сидячее место, тоже немедленно уткнулась носом в книгу Сэй-Сёнагон. Я читала ее урывками весь день: в обед, в короткие паузы между многочасовым сидением за электрофотом, с которого считывалась нужная для разработчиков зарубежная научно-техническая информация (при работе с этими приборами полагался пятнадцатиминутный перерыв для отдыха глаз после каждых двух часов глядения на экран). К вечеру «Записки у изголовья» были дочитаны мною до конца.

Какая необычная книга, размышляла я, возвращаясь после работы к себе в гостиницу, слишком уставшая после минувшей ночи почти без сна, чтобы тащиться еще куда-то в поисках культурных развлечений. Совершенно не похожа ни на одну из книг, тем более, написанных женщиной, из числа тех, что мне приходилось держать в руках ранее.

Подкупала некая особая исповедальность стиля, присущего разве что личным дневникам. Но «Записки» трудно было назвать дневником в привычном понимании этого слова. К тому же, дневники, как правило, бывают слишком многословными, слишком подробными, а то и чересчур жалостливыми по отношению к самому себе. Ничего этого здесь нет и в помине! Предельно лаконичный текст (*«Немногословие прекрасно»,* как писала сама Сэй-Сёнагон), минимум деталей, подкупающая незлобивость в описании людей и их поступков и полное отсутствие пиетета по отношению к собственной персоне. Вот она, проекция «Ветки хурмы», но уже в литературной плоскости, помнится, подумала я тогда. Дескать, сама дорисовывай недостающие подробности, сама додумывай отсутствующие морально-этические выводы и давай свои оценки всему тому, о чем написала эта поистине необыкновенная женщина почти тысячу лет тому назад. Удивительно! И вдвойне удивительно, потому что все эти записки писались исключительно и только для себя, без всякого стремления к паблисити и надежде на собственную славу.

Позднее критики окрестят такой стиль повествования «дзуйхицу», что буквально означает «вслед за кистью», то есть когда пишут, подчиняясь собственному потоку сознания и запечатлевая на бумаге пером (ну, а в Японии кистью) все, что пришло тебе на ум.

При всем своем желании я так и не сумела обнаружить или вспомнить никакой аналогии подобного стиля с образчиками уже западноевропейской манеры письма. Ни стандартные эссе с их якобы свободным полетом мысли, а на самом деле очень запрограммированные и выверенные до последней запятой, ни традиционные мемуары с их всегда завышенной оценкой собственной роли в описываемых событиях явно для подобного сравнения не годились. Разве что записные книжки писателей. Вот они уж точно пишутся для себя и только для себя, а потому всегда содержат много неожиданных открытий, когда их предают огласке, естественно, много-много лет спустя уже после смерти автора.

Я вдруг вспомнила, сколько нового в характере и образе мыслей любимого мною Чехова открылось мне при чтении записных книжек Антона Павловича. Кстати, поразительная вещь! Некоторые мысли Сэй-Сёнагон почти дословно перекликаются с записями, сделанными Антоном Павловичем, уже не кистью, а обычной перьевой ручкой, спустя девять с лишним столетий. Вот, к примеру, цитата из дана № 119. (Между прочим, общее число данов, точно принадлежащих кисти самой Сэй-Сёнагон, тоже неизвестно. Исследователи ее творчества сходятся во мнении, что их порядка трехсот. В самой же книге в ее русском переводе насчитывается 306 данов.) Итак, цитата.

*Двое любят друг друга, но что-то встало на их пути, и они не могут следовать велению своих сердец. Душа полна сочувствия к ним.*

А теперь, глубокоуважаемый читатель, восхитись тому, как одинаково думали эти двое великих людей. Вот уж воистину, как тут не вспомнить исполненные глубинного смысла слова Александра Сергеевича Пушкина: «Бывают странные сближенья»! Поразительно странные, добавила бы я уже от себя.

*Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастливы.*

Кстати, в литературных кругах конца девятнадцатого — начала двадцатого веков ходила легенда, что Чехов якобы долгие годы работал над

текстом своего большого романа, но постоянно что-то вычеркивал, правил, сокращал. И в результате от всего романа осталась только одна эта фраза из записной книжки, как наглядное доказательство того, что замысел у писателя был, но он так и остался нереализованным.

Что ж, пора подбивать итоги и отсылать читателя уже непосредственно к самой книге, благо, после 1975 года она переиздавалась несчетное число раз. Но коль скоро я полностью процитировала дан № 1, то закончу свое повествование тоже развернутой цитатой и полностью повторю заключительный дан № 306, в котором, кстати, сама писательница подробно рассказывает об истории появления на свет своих «Записок» и об их дальнейшей судьбе. Итак, вот он, этот последний дан, который в переводе коротко назван «Послесловием».

## Послесловие

*Спустился вечерний сумрак, и я уже ничего не различаю. К тому же, кисть моя вконец износилась.*

*Добавлю только несколько строк.*

*Эту книгу заметок обо всем, что прошло перед моими глазами и волновало мое сердце, я написала в тишине и уединении моего дома, где, как я думала, никто ее никогда не увидит.*

*Кое-что в ней сказано уж слишком откровенно и может, к сожалению, причинить обиду людям. Опасаясь этого, я прятала мои записки, но против моего желания и ведома они попали в руки других людей и получили огласку.*

*Вот как я начала писать их.*

*Однажды его светлость Корэтика, бывший тогда министром двора, принес императрице кипу тетрадей.*

*— Что мне делать с ними? — недоумевала государыня. — Для государя уже целиком скопировали «Исторические записки».*

*— А мне бы они пригодились для моих сокровенных записок у изголовья, — сказала я.*

*— Хорошо, бери их себе, — милостиво согласилась императрица.*

*Так я получила в дар целую гору превосходной бумаги. Казалось, ей конца не будет, и я писала на ней, пока не извела последний листок, о том о сем, — словом, обо всем на свете, иногда даже о совершенных пустяках.*

*Но больше всего я повествую в моей книге о том любопытном и удивительном, чем богат наш мир, и о людях, которых считаю замечательными.*

*Говорю я здесь и о стихах, веду рассказ о деревьях и травах, птицах и насекомых, свободно, как хочу, и пусть люди осуждают меня: «Это обмануло наши ожидания. Уж слишком мелко…»*

*Ведь я пишу для собственного удовольствия все, что безотчетно приходит мне в голову. Разве могут мои небрежные наброски выдержать сравнение с настоящими книгами, написанными по всем правилам искусства?*

*И все же нашлись благосклонные читатели, которые говорили мне: «Это прекрасно!» Я была изумлена.*

*А собственно говоря, чему здесь удивляться?*

*Многие любят хвалить то, что другие находят плохим, и наоборот, умаляют то, чем обычно восхищаются. Вот истинная подоплека лестных суждений!*

*Только и могу сказать: жаль, что книга моя увидела свет.*

*Тюдзе Левой гвардии Цунэфуса, в бытность свою правителем провинции Исэ, навестил меня в моем доме.*

*Циновку, поставленную на краю веранды, придвинули гостю, не заметив, что на ней лежала рукопись моей книги. Я спохватилась и поспешила забрать циновку, но было уже поздно, он унес рукопись с собой и вернул лишь спустя долгое время. С той поры книга и пошла по рукам.*

P. S. Уже приготовилась поставить финальную точку. Но вовремя спохватилась. Ибо будет верхом неблагодарности и полным отсутствием благородства, как внешнего, так и внутреннего, если я ни словом не упомяну ту, благодаря титаническим усилиям которой книга Сэй-Сёнагон стала полноценным и полноправным фактом русскоязычной культуры. Речь, конечно же, о переводчике. Вера Николаевна Маркова (ибо именно она является автором первого и по сей день единственного — а потому что лучше не сделаешь! — перевода «Записок у изголовья» на русский язык) поистине необыкновенная женщина, заслуживающая гораздо большего внимания к своей персоне, чем обычный постскриптум. Когда-нибудь я соберусь с силами и напишу о ней большой и обстоятельный очерк, благо, и повод есть. Весомый повод! Ведь она — наша соотечественница и землячка. Родилась в Минске, в 1907 году, в семье инженера-железнодорожника. Правда, после окончания в 1931 году Восточного факультета Ленинградского университета вся дальнейшая жизнь Веры Николаевны оказалась связанной с Москвой и Ленинградом. И все же отправной точкой в ее биографии был и остается Минск. А потому развернутый и обязательно сердечный очерк о судьбе этой талантливой женщины за мной. Ну, это потом, а пока же…

А пока скажу лишь, что мое полноценное знакомство с творчеством Сэй-Сёнагон началось с внимательного прочтения «Предисловия» к ее книге, написанного на тот момент совершенно не известной мне Верой Марковой. Это уже потом, много позже, узнала, что Вера Николаевна всегда сама пишет предисловия ко всем своим переводам. Именно у нее я и позаимствовала эту хорошую привычку: самой рассказывать читателю о только что переведенной книге. В конце концов, кто лучше (и глубже!) переводчика может погрузиться в мир неизвестного всем автора? Кто лучше способен понять и прочувствовать все особенности его манеры письма, его вкусовые пристрастия, услышать общую тональность его произведения?

Прямо скажем, все это в полной мере продемонстрировала читателю Вера Николаевна Маркова. Из-под ее пера вышел не просто вдохновенный текст, а по-настоящему блистательный перевод, сопоставимый с лучшими образчиками переведенных на русский язык шедевров мировой литературы.

*Пробую слово бережно, бережно,*
*На вкус, на зрение, на осязание.*

Эти строки, принадлежащие перу самой Веры Николаевны, как нельзя лучше характеризуют ее творческий метод в области художественного перевода. Что ж, скажу так: бережное отношение к слову чувствуется в переводах Марковой с первых же строк. Ее слово не просто звенит чистым серебром, оно поет. Не перевод, а песня, подумала я, когда взялась впервые читать «Записки у изголовья». Свободно льющееся повествование, никаких отторжений по части стиля, никаких цепляний к непонятным реалиям или событиям. Частично и потому, что обо всех этих реалиях подробно и со знанием дела написано все в том же Предисловии, которое с полным правом можно назвать самым полным и самым компетентным изложением

всех известных на сей день биографических подробностей жизни Сэй-Сёнагон. И самым вдохновенным, повторюсь я еще раз.

Возможно, здесь сработал пресловутый гендерный принцип, размышляла я когда-то на эту тему. Все же хорошо, что женщина переводит женщину. Да, но не менее вдохновенно звучат по-русски в переводах Марковой и знаменитые хокку Басе, в чем читатель сможет сам убедиться, если обратится к творчеству этого прославленного японского поэта. Нет, здесь дело в другом! Высочайшего уровня профессионализм, помноженный на собственное поэтическое дарование, плюс безукоризненная нравственная составляющая самой личности этой женщины. Вот все это вместе и составило феномен под названием «Переводчик Вера Николаевна Маркова». Недаром ее вклад в популяризацию японской культуры, и в частности литературы, правительство Японии отметило высочайшей государственной наградой, вручив ей незадолго до смерти (в 1993 году) Орден Священного сокровища — награда, которой удостаиваются за исключительные заслуги перед Страной восходящего солнца.

Ну, а я хочу закончить свои медитации о творчестве великой японской писательницы Сэй-Сёнагон словами все из того же Предисловия Веры Николаевны Марковой, которые в полной мере можно отнести не только к героине нашего очерка, но и к переводчику, сделавшему «Записки у изголовья» доступными каждому, кто любит читать хорошую литературу.

*Книга Сэй-Сёнагон — полифонический оркестр, в котором каждый инструмент имеет свой тембр, свою окраску, свою партию, но вместе они исполняют единое произведение. Многие части в нем звучат празднично, мажорно.*

*Но снова и снова повторяется и варьируется на разные лады приглушенный лейтмотив недолговечности счастья, неотвратимой беды и людской несправедливости.*

Однако же не будем завершать наш рассказ на столь пессимистичной ноте. Цитируя Кобаяси Исса, которого тоже переводила Вера Маркова, скажем так: «Пусть лишь капля росы наша жизнь — и все же…»



Леонид ЛЕВАНОВИЧ

# Самородок

## *Жизнь и творческая судьба Масея Седнева*

*Эссе*

## I

«Долблю кайлом породу. Кровь из носа — норму надо дать. Мороз лютый. А по спине, между лопаток, пот ручьем. Не выполнишь нормы... Называлась — техническая норма. Так вот, не дашь нормы — не дадут есть. Даже баланды. Совсем околеешь. А если мороз обжигает? Колыма. Это, братка ты мой, не шуточки! И вдруг долбанул — блеснуло что-то. Тускло-желтое. Еще удар. И выкатился самородок. По форме как подкова. Сплюснутый по бокам. Ну, думаю, счастье привалило... Оглянулся, видит ли кто? Взял на ладонь. Прикинул. Граммов триста. А то и целый фунт. Богатство! Но куда с ним денешься? Приказ суров — все найденные самородки сдавать бригадиру. А бригадиром у нас был Сабуров. Зверь, а не человек. Вынужден был отдать ему. И отвалил он мне двенадцать рубликов... Пошел в ларек. Был на территории лагеря. Хотел купить сахару. Нет. Взял три пачки печенья. И то хоть душу отвел».

Мы стояли на берегу Атлантического океана. Точнее, это был залив, который подковой врезался в материк. Вдали, на противоположном берегу, смутно проступали туманные небоскребы Нью-Йорка. День был ветреный. Пенистые волны накатывали на прибрежные зеленые круглые камни. Соленые брызги взлетали вверх и доставали до гранитных плит парапета набережной.

Слушал я собеседника и не мог поверить, что этот сухонький, седенький старичок — мой земляк: наши деревни разделяют река Беседь и семь верст лесной дороги. Но на родине мы не встретились. Мне пришлось перелететь половину Европы, затем Атлантику — всего более семи тысяч верст, — чтобы здесь, на краю света, отыскать своего земляка Масея Седнева.

Подошел мой зять Алесь, предложил сфотографироваться.

— Пожалуйста. Пусть будет на память, — Масей Ларионович подвинулся ко мне ближе. — Ой, холерочка, мог ли я подумать, что мы встретимся!

— Может, пойдем в парк? Там сфотографируемся, — предложил уже я, поскольку ветер усилился и меня беспокоило здоровье земляка — как-никак ему шел восемьдесят восьмой год.

Седнев не возражал, и мы понемногу стали подниматься вверх по гранитным ступеням. Поднимались, отдыхали. Когда останавливались на ступеньках, Седнев тяжело дышал, но не умолкал, рассказывал об истории этого парка.

Когда-то богач Морган дал денег, чтобы посадить деревья на скалистом берегу океана. Деревья прижились, выросли — парк раскинулся на большой территории. В нем полно серых белок, диких гусей. И белки, и гуси не боятся людей — лакомства берут из рук. Но как только в парк пришла женщина с маленькой собачкой, гусак подал сигнал — и стая гусей поднялась в воздух.

— Люблю я этот парк. Летом мы с женой почти ежедневно бываем здесь. Садимся в машину — и сюда. Езжу нелегально, — скупо усмехнулся Масей Ларионович. — Медики не дают разрешения. Говорят: где вы видели, чтобы человек в восемьдесят семь лет водил машину? А я без машины как без рук. Пеш-

ком ходить не могу. А руль держать — пожалуйста. Глен-Коу — тихий городок. Чистый воздух. Это радует...

Городок Глен-Коу входит в административный район Лонгайленд — Длинный Остров. Район этот считается привилегированным, здесь живет много богачей. Масей Седнев прожил большую жизнь, много в ней всего было: каторжная работа, творчество, он издал много книг, но богатства не нажил, виллы не приобрел. Снимает квартиру в небольшом доме.

Мы сфотографировались в парке. Масей Ларионович старался улыбаться, как это любят делать американцы.

Было это 20 ноября 2000 года.

Масею Седневу оставалось жить два с половиной месяца. Он хотел жить, хотел дождаться выхода новой книги на родине.

— Как хорошо, что отыскали меня здесь... А то прочел я ваш рассказ «Одинокий боровик» в «ЛіМе», пожалел, что не имею ваших книг. Но рассказом вы меня порадовали. Особенно последней фразой: «Живите долго...» Значит, будем жить...

Наверно, и в том счастье человека, что он не знает о своем завтрашнем дне.

Слушая земляка, я припомнил наш первый разговор по телефону.

## II

Разговор произошел в Америке. В обществе «Бацькаўшчына», в Минске, мне дали много адресов и телефонов наших знаменитых земляков. Дали и адрес Седнева. Позвонил ему самому первому. И к своей радости, сразу попал на него:

— Хэллоу, — послышался глуховатый голос.

— Масей Ларионович! Добрый день!..

Я представился, сказал, откуда звоню.

— О, мне очень понравился ваш рассказ. Прислали мне «ЛіМ» из Гданьска. Так вы остановились в Бостоне? — на французский манер произнес он название города. — О, холерочка, не был я в Бостоне. Живу в Америке и не знаю ее. Некогда было ездить...

Расспросил, как я добирался, сколько буду гостевать.

— Мы уже много наговорили, — вдруг спохватился Масей Ларионович. — Дайте запишу ваш номер. Завтра позвоню. Договоримся, как нам увидеться...

Поразили открытость и внимательность Седнева и то, как он спохватился, что много наговорили, — моему зятю придется платить.

На следующий день позвонил он и буквально засыпал меня вопросами: где работает мой зять, как зовут дочку и внука?

— У меня трое детей. Две дочери и сын. Сын живет в Вашингтоне. Работает поваром. Захотел человек получить такую профессию... Когда вы сможете приехать?

Этот вопрос мы обсуждали на семейном совете. Сначала предполагали выехать в субботу 18 ноября, в Глен-Коу переночевать. Дорога неблизкая: до Нью-Йорка верст четыреста и после него около сотни. Потом суббота отпала: у Миколки занятия в студии карате, урок математики. Поэтому отъезд перенесли на воскресенье. На понедельник Алесю придется на работе брать отгул.

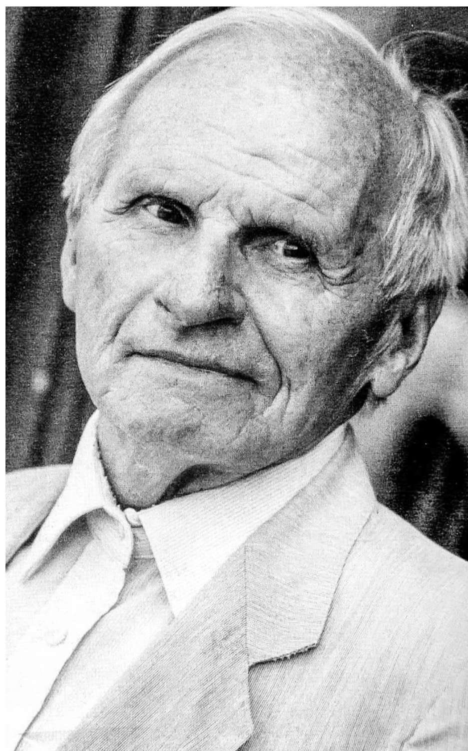
Я высказал эти соображения и добавил:

— Нет ли у вас поблизости какого-нибудь отеля? Чтобы переночевать. Поскольку в Америке не принято ночевать в гостях.

— Что вы? Какой может быть разговор об отеле! Действительно, у американцев это не принято. Но мы же не американцы! Переночуете у меня. Места хватит. И поговорить больше будет времени.

Беседовали долго. Я уже начал тревожиться, что много придется платить земляку. Но Седнев успокоил:

— Ничего. Такое редко бывает. Разговоры по телефону здесь стоят копейки. Это если из Минска звонить сюда, то слишком дорого. Я позвоню завтра вечером. Чтобы ваш зять был дома. Расскажу, как лучше к нам ехать.



*Масей Седнев*

Во время наших разговоров я отметил исключительную ясность мысли Седнева. Я все время помнил, что человеку идет восемьдесят восьмой год. Кстати, на этот раз он спросил:

— Вы же знаете, что в календаре ошибка. По моей вине...

Здесь надо кое-что пояснить. Мой рассказ-быль «Одинокий боровик», посвященный Седневу, кончается так: «Последним августовским утром приехал я в город, чтобы поздравить с Днем знаний, с началом занятий внука-школьника и жену-учительницу. Перевернул листок календаря, и сразу бросилось в глаза: 1 сентября — 85 лет со дня рождения М. Л. Седнева... Значит, вспомнился земляк неслучайно. Как он там, один, в далекой Америке?

Живите долго, Масей Ларионович!»

Номер еженедельника «ЛіМ» я не посылал специально: решил, приеду и вручу с автографом, и книгу «Возвращение в радиацию», потому что там есть очерк «Радуница в мертвой деревне» — о наших родных местах, о Беседи.

Назавтра зять Алесь приехал с работы пораньше. Я позвонил Седневу, что мы готовы записать точный маршрут.

— О, хорошо, что позвонили. А то сижу и думаю: звонить или еще рано? А раз водитель уже дома, то я вам сейчас перезвоню.

Услышав это, Алесь включился в разговор — он слушал беседу с другого телефона. Масей Ларионович поздоровался с ним и решительно сказал:

— Нет, нет. Положите трубку. Я позвоню...

Алесь уже узнал маршрут в интернете, разложил на столе бумаги, уточнял. После переговоров он позвал к телефону меня:

— Так вот что, дорогой земляк. Скажите своим, чтобы ни о каком отеле и не думали. Мне будет приятно и с вашей дочерью познакомиться, и с внуком, — сказал Седнев.

Кажется, обо всем договорились. Распрощались. На следующий день мы вернулись из города, Оля взглянула на приставочку возле телефона и сказала:

— Звонил Седнев, сообщения никакого не оставил.

Набираю номер. Слышу голос его жены:

— Сейчас позову. Не терпится человеку. Масейка!..

— Вы уж меня простите. Вот сижу. Дай, думаю, позвоню. Может, планы ваши изменились...

— Нет, Масей Ларионович. Завтра в семь утра выезжаем.

— Ну, ладненько. Только скажите дочери, чтобы никаких там припасов не брала. У нас все есть. И выпьем, и закусим. Или как у нас в Мокром говорили: заедай, а не закусывай, — в голосе земляка послышались веселые нотки.

Дорога до Нью-Йорка и после него, поездка по этому уникальному мегаполису — тема отдельного разговора. Здесь самое время рассказать о жизненном пути моего земляка.

## III

Масей Седнев родился в деревне Мокрое. Теперь это Костюковичский район на Могилевщине. Официальной датой рождения принято считать 1 сентября 1915 года. На самом деле он появился на свет на два года раньше —в 1913 году. Учился в Мокрянской начальной школе, потом в Самотевичской семилетке. Эту школу окончил и Аркадий Кулешов, а позже — Иван Чигринов.

В 1930 году М. Седнев поступил в Мстиславльский педтехникум. Перед этим там занимались Змитрок Астапенко, Аркадий Кулешов и Юлий Таубин. Но учился М. Седнев недолго, потому что ему там не понравилось. Позже он признавался: «Тогда в педагогике господствовал так называемый лабораторно-бригадный метод, и я сидел в бригаде этой, как дурак: кто-то за меня отвечал, а мне ставили оценки. Да еще голод начался». Масей Седнев бросил учебу, даже не закончив первого семестра.

Вернулся домой, к родителям. Работал в колхозе, потом устроился учительствовать в соседнюю деревню Кавычичи. В этой деревне я бывал много раз, особенно в 1957—1958 годах. Тогда я работал заведующим сельским клубом в деревне Гавриленка и почти каждую неделю ходил домой. И путь мой проходил через Кавычичи. В войну лесной поселок был сожжен вместе с людьми. С этого события, с описания зарева над лесом, начинается мой роман «Щеглы». К сожалению, о Седневе я тогда ничего не знал. И в его деревню Мокрое приехал впервые в сентябре 1995-го с «Масеевой книгой» в кармане. И диву дался: на каждом шагу росли ядреные боровики. Но никто их не собирал. Во-первых, нельзя — радиация, а во-вторых, некому — деревня отселена. Эта поездка и легла в основу рассказа «Одинокий боровик».

В 1933 году с надеждой выбиться в люди Масей Седнев едет в Минск, поступает в Высший педагогический институт. Но получить диплом учителя ему не удалось — в 1936-м, когда был студентом последнего курса, его арестовали и выслали на Колыму. Пять лет без вины виноватый отгрохал в сталинском лагере. Валил лес, добывал золото. В конце 1940 года его вместе с другими бывшими студентами привезли в Минск на пересмотр дела. Вскоре началась Великая Отечественная война. Когда Минск стали бомбить, арестованных повели под конвоем на восток. Довели до Червеня, там охрана разбежалась — и Масей Седнев оказался на воле.

Вернулся в родную деревню, занимался хозяйством. В 1943-м, когда немцы отступали с восточной Могилевщины, выехал в Белосток: боялся снова оказаться на Колыме. Началась бесприютная эмигрантская жизнь. Берлин, Прага. Работал учителем белорусской гимназии в Михельсдорфе (Германия), на фабриках и заводах США, на радиостанции «Свобода», преподавал русский язык в университете штата Индиана. И вот уже много лет он на пенсии, живет в тихом Глен-Коу.

## IV

Ноябрьский день короток, как воробьиный клюв. Из цепких объятий Нью-Йорка выбрались, когда начало темнеть. Навстречу по четырехполосному хайвею слева мчался сплошной поток машин с включенными фарами, словно катились блестящие шарики огня или ртути. Впереди было море красных огоньков, точь-в-точь миллион алых роз — светились габаритные огни машин. Ехали медленно — едва ползли в общем стаде разнообразных авто.

— Почему столько машин едет из города? — удивился я. — Это же не пятница и не суббота. Воскресенье. Что в город едет много людей — понятно. А почему из города?

— Здесь каждый день так, — печально вздохнул Алесь.

— Скоро экзит на аэропорт. Может, будет свободнее, — подала голос Оля. Она сидела рядом с Алесем, с развернутым на коленях атласом дорог.

— В Нью-Йорке три международных аэропорта. Не только на земле тесно. В небе тоже.

Я уже знал, что экзит — буквально выход, а на автостраде — съезд с дороги. Вскоре и правда череда машин начала жаться к правой полосе и на экзите съезжала с хайвея-автострады.

Поехали и мы быстрей, но на улице было уже совсем темно. Мимо проносились ярко освещенные дома — бесконечные нью-йоркские пригороды. На указателях Глен-Коу не встречался. Мы начали беспокоиться, туда ли едем, и потому обрадовались, когда на огромном щите среди прочих названий мелькнуло и желанное — Глен-Коу.

При въезде в город свернули на заправку, а потом Алесь стал вглядываться в карту. Подошел полицейский, вежливо поинтересовался:

— Есть проблемы? Чем могу помочь?

Алесь объяснил ситуацию, показал адрес, но такой улицы на карте нет. Полисмен пригласил в магазинчик-кафе, здесь же на заправке. В уголке стояли книги, на полочке много разных карт. Он взял какую-то свою, особенную, долго изучал, о чем-то переговаривался с Алесем по-английски. Высокий, представительный, уверенный и очень доброжелательный. Посоветовал ехать в центр города: ориентир — пожарная вышка, а там спросить.

Поехали дальше. Вот и пожарная. Интуитивно Алесь повернул направо, немного проехал, увидели небольшую площадку, длинную постройку, на ней вывеску — паблик лайбрари. Местная библиотека.

— Не хочется тревожить стариков. Но выхода нет. Звони Масею, — посоветовал я Алесю.

По мобильнику он дозвонился быстро и успокоил нас: сейчас приедут. Минут через десять около нас развернулась синяя легковушка, старик в шляпе помахал рукой, показал жестами ехать следом. Рядом с ним сидела преклонного возраста женщина в берете. Несколько поворотов, и мы на тихой улице Алекс, поднялись на второй этаж невысокого дома, разделись, потом стали обниматься.

Было уже около семи вечера. Сели за стол. Хозяин — в центре, супруга Ольга Филипповна — напротив.

— Вы, земляк, садитесь сюда, — показал на кресло справа от себя. — Так нам будет удобнее говорить...

Стол красиво сервирован. Беленькая скатерть, чудесный букет в высокой вазе, хрустальные бокалы, две бутылки красного вина. Сперва ели «Масеев суп» — несоленый куриный бульон с редкой вермишелью, мелкими кубиками моркови. Все ели и хвалили. Даже Миколка, который не очень любит супы, осушил свою тарелку. Потом хозяйка предложила по большому куску говядины.

— И куру, и мясо покупали в органик-магазине. Должно быть вкусно. Дочь меня консультировала по телефону, как жарить, чтобы мясо было мягкое, сочное, — рассказывала Ольга Филипповна.

Органик-магазин — примета американской действительности. Хочешь есть натуральный, вкусный продукт, без разных добавок, — плати вдвое, а то и втрое дороже. Такие продуты не каждой американской семье по карману. Из того, что мать консультировалась с дочерью, когда готовила мясо, я сделал вывод: услугами органик-магазина Седневы пользуются нечасто.

— Масейка, что же ты о вине забыл? — подсказала хозяйка.

— О, холерочка, и правда. Надо же выпить за встречу, — спохватился хозяин, начал откупоривать бутылку. — Вино французское. Марочное. Должно быть хорошее.

Но пробка не поддавалась сухощавым старческим рукам Седнева.

— Отдай тем, кто моложе. Пусть откроют, — посоветовала Ольга.

— Нет, я сам, — не согласился хозяин.

Наконец он вытащил штопором толстую пробку, налил густое красное вино в высокие бокалы. Руки его вздрагивали, и бутылка тихо звякала о хрусталь. Масеевы руки меня поразили сразу, как только мы сели за стол. Худые, тонкие пальцы, узкие ладони, обтянутые тонкой кожей, — были видны синие прожилки. Эти руки ясно свидетельствовали, что им пришлось тяжко потрудиться. С кайлом, с топором и лопатой. Забегая вперед, скажу одну фразу из рассказа Масея о жизни:

— Довелось тяжело работать не только на Колыме. В Америке сначала попал на фабрику. Делали крышки для банок. Я паковал и вывозил обрезки металла. Утром давали новые спецовки-рукавицы. К вечеру они разлетались в клочья. Не выдерживали. И так восемь лет...

Беседа за столом продолжалась. Из магнитофона лилась классическая музыка (особенно любит Седнев Моцарта). Часто вступала в разговор и хозяйка. Они познакомились в Германии. Ольга Филипповна родом с Витебщины, дочь священника. Она на три года моложе мужа. Спасаясь от репрессий, подалась на Запад.

— Люди добрые, давайте выпьем за нашу Родину. За Беларусь! — дрожащим от волнения голосом предложил хозяин.

Все поднялись, чокнулись, выпили. Я невольно подумал: здесь, в далеком американском Глен-Коу, есть белорусская территория. Это сердце Масея Седнева.

Было уже довольно поздно. Хозяин заметил, что Миколка зевнул, и тут же забеспокоился:

— Устал, Миколка? Наверно, ребенка надо уложить. Дорога дальняя. Рано выехали. Ольга, организуй, пожалуйста...

Поднялись обе Ольги — хозяйка и мать Миколки.

— Пока женщин нет, давайте выпьем, — озорным блеском сверкнули глаза Седнева, — чтобы хорошо жилось, пилось, елось и еще хотелось...

Мне не терпелось повернуть разговор на литературные темы. Особенно — о белорусской поэзии в эмиграции. Но вышло не так.

— О, холерочка, доброе винцо! Французы умеют делать... — Он взял бутылку, разлил остатки вина. Пустую бутылку поставил в угол стола, потом чокнулся с ней бокалом, послушал глуховатый звук и вдруг помолодевшим голосом продекламировал: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?»

«На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ», — вспомнил я начало строфы.

— Вы помните?! — обрадовался Масей Ларионович.

В ответ я прочел: «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят — что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь...»

— Гениальные строки! Маяковский — уникальный поэт. Его влияние на мировую поэзию очень велико. Даже Купала и Колас это влияние изведали на себе. — Седнев поднял бокал: — За поэзию!

Разговор о Маяковском на этом не закончился. Седнев вспомнил, как читал его стихи студентам университета штата Индиана. Начал декламировать «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Некоторые строфы припоминал я, потому что когда-то читал Маяковского со сцены. А кончается это стихотворение словами: «Очень правильная — эта наша советская власть...» Услышать это на американской земле из уст «антисоветчика» Седнева я не ожидал.

Потом мы читали стихи Павла Васильева, которого, оказалось, очень любил Масей Ларионович. И вдруг он с улыбкой сказал:

— Вы могли бы преподавать литературу где-нибудь в Америке. Даже в университете.

— А что, оставайтесь, — подхватил Алесь. Раньше он никогда не слышал, чтобы я читал Маяковского.

Наконец Седнев заговорил о белорусских поэтах в эмиграции. Выше всех он поставил Наталью Арсеньеву.

— К сожалению, ее уже нет... Мы, белорусы, не совсем дружно живем. Здесь, в эмиграции. Я ощущаю серьезную изоляцию...

Голос моего земляка дрогнул, глаза увлажнились. Я молчал, потому что не знал, как утешить, что сказать. За столом мы были уже вдвоем.

— На родине вас помнят. Любят. «Мастацкая літаратура» планирует вашу книгу. В серии «Белорусская проза XX столетия».

Нет, я не кривил душой. Сам составлял перспективный план издания книг в этой серии, включил «Избранное» Седнева. Но отношение к эмиграции у некоторых чиновников не очень доброжелательное: посоветовали книгу перенести на 2003 год — к 90-летию, мол, серьезный повод. Пришлось сказать все как есть.

— Ой, холерочка, долго ждать, — вздохнул Масей Ларионович.

— Вернусь в Минск, пошевелю. Если отыщется какой-нибудь спонсор, то книга выйдет быстро... Масей Ларионович, вы же и сейчас пишете стихи. Может, прочли бы что? Если вам не трудно. А может, вы устали?

— Ничего, ничего. Такие вечера случаются нечасто. Что же вам прочесть? Так, дай бог памяти.

Он откинулся на спинку кресла, выпил чистой воды из высокого хрустального бокала, облизнул тонкие губы, тихо начал:

Я цэлае жыццё аддаў слову.
Дзеля яго пакутваў за кратамі.
На алтар слова склаў ахвяры.
І як жа балюча ўсведамляць,
што яно цяпер непатрэбнае.
Яго зракліся браты-беларусы.
О, ты, маё неспазнанае слова,
навошта я мучыўся табою?

Это было не стихотворение. Это был крик души. Это был стон исстрадавшегося сердца сына Беларуси. Сердца, которое болит за судьбу родного языка, родного слова, которому отдана вся жизнь. Трудная, страдальческая, долгая.

Последние слова своего стихотворения Седнев произнес со слезами в голосе. Я почувствовал, что мой земляк очень разволновался, и больше вопросов не задавал.

## V

Спал я на одной кровати с внуком. Кровать широкая, одеяло у каждого свое, так что места нам хватило. Как только рассвело, я поднялся, а Миколка дальше блаженствовал один. Потихоньку вышел на просторный широкий балкон — на него вели двери из кухни и из столовой. Небо было чистое, на зеленой траве газона серебрился иней.

Сделав короткую зарядку, заглянул в небольшой кабинет хозяина, двери которого были открыты. На полках много белорусских книг: Купала, Колас, Богданович. На столе старенькая пишущая машинка, рядом с ней книжка Алеся Письменкова, которую я привез Седневу с теплым автографом поэта-земляка. Книга вышла в серии «Белорусская поэзия XX столетия». Еще лежал томик Жени Янищиц, сборник Леонида Голубовича с короткой, емкой надписью: «Поэту Масею Седневу от поэта — как напоминание о мимолетности жизни. 10 июля 1993».

На полках должны стоять и мои «Щеглы», которые я давно подписал Седневу, но они не «долетели». Тут произошла такая история...

В издательство «Мастацкая літаратура», где я тогда работал, приехал Седнев с дочерью Ириной. Это был первый его приезд в 1990 году. Поговорили, выпили чаю. О том, что будет встреча, я не знал, расстроился, что у меня нет книги. «Принеси завтра. Я передам», — сказал Василь Хомченко. Кстати, благодаря его приглашению Масей Седнев приехал на родину. Я сделал так, как и договорились. Шло время. От Седнева никаких вестей не было. После смерти Хомченко меня назначили председателем комиссии по его наследию. Как-то раз вместе с Геннадием Шупенько — членом комиссии — мы наведались к вдове Хомченко познакомиться с оставшимися рукописями. Гостили долго. В шкафу под стеклом я увидел своих «Щеглов», раскрыл и не поверил глазам — это была книга с автографом Седневу. Молча поставил книгу на место. Видно, в суете перед отъездом Хомченко забыл передать ее Седневу. Позже я пожалел, что не забрал книгу. Особенно сожалел перед отъездом в США. Несколько раз звонил на квартиру вдовы, но никто не отвечал. О подписанных когда-то «Щеглах» ничего не сказал Масею Ларионовичу. И не потому, что не хватило времени...

После завтрака мы опять вспоминали родные места.

— Родители мои — Ларион и Меланья. Оба неграмотные, трудолюбивые. Но жили бедно. Даже от налогов освобождались, — рассказывал Седнев. Спросил о моих родителях.

— Мой отец окончил до революции три класса. А мать Анна Ларионовна была совсем неграмотной. Родилась не в Клеевичах, а в деревне Рвенск. Это к северу, а Мокрое от нас к югу.

— Так ваш дед по матери и мой отец — тезки, — удивлялся Седнев.

Стали собираться в парк Моргана. Масей Ларионович вместе с женой сели в старенькую голубую «хонду» и поехали впереди нас. На аллеях парка, когда мы медленно прогуливались вдвоем, земляк признался, что Дуся — любимая девушка героя романа «И тот день настал» — первая его жена, живет в Толочинском районе. У нее есть сын, у него взрослые дети — внуки Седнева. Правда, они носят другую фамилию. Масей Ларионович все время помогал первой жене. Когда был в Беларуси, встречался с ней. До последних дней жизни помогал внукам, и тем, которые в Америке, и тем, на белорусской земле. Сын, колхозный механизатор, сейчас уже на пенсии.

На прощание Масей Ларионович подписал мне три свои книги, которые увидели свет за границей. Автографы все разные...

## VI

По возвращении в Бостон взялся за книги земляка. Многие стихи, главы из романов читал в журналах, а здесь были книги, которые родились далеко от Беларуси. И чтение это было своеобразным. Ощущалась авторская грусть, ностальгия — самая светлая и самая черная хворь, от которой страдает человек, если суровая судьба забрасывает его далеко от родины. Влияла и моя тоска по родине, потому что никогда так далеко не был от своего края. Однако же у меня имелся билет на самолет домой, купленный еще в Минске, — без него не выпускают.

Через день позвонил Седнев, горевал, что мало поговорили, сообщал, что читает мою книгу. Сборник Письменкова прочел.

— О, холерочка! Прекрасный поэт вышел из нашего Прибеседья, — радовался Масей Ларионович.

Прочитав все три книги, решил написать письмо земляку. Пусть не сочтет читатель нескромностью, но это уже история: письмо написано 4 декабря 2000 года в Бостоне. Кстати, его прочла дочь Ольга, сказала: «Вот пошлем. А если оно затеряется, то ничего не останется. Надо сделать ксерокопию...» Благодаря ей имею копию и могу привести здесь одну выдержку:

«Дорогой Масей Ларионович! После встречи с Вами, чтения Ваших книг, вчерашней беседы по телефону думаю о Вашей судьбе. Вы — своего рода символ, высокий пример талантливости, жизнестойкости белорусской нации. Сожалею, что Ваши романы целиком прочел здесь, в Америке, а не раньше, что они были исключены из литературного процесса. Книги “И тот день пришел”, “Роман Корзюк” — уникальны по содержанию, по своему мастерству, психологической глубине, образности, языковому колориту. Думаю, никто в нашей литературе так не передавал чувства любви, человеческой страсти, ни в романах Чигринова, ни в моих — а ведь мы из одного региона, из Прибеседья — нет такого колоритного языка. Такое произведение, как “Роман Корзюк”, могли написать только Вы, потому что оно выстрадано всей Вашей жизнью. Господин Борис Кит прав — это произведение воистину уникально...»

В Минске я сразу взялся за исполнение обещанного земляку: встретился с главным редактором издательства «Беларускі кнігазбор» Кастусем Цвиркой. Тот поддержал предложение:

— Давно думаю, что надо издать солидный том Масея Седнева. Вернуть его белорусскому читателю. В книге дадим и поэзию, и прозу, и эссеистику. И дневники — тоже.

Обрадовавшись, я написал Седневу, чтобы он представил свой план будущей книги и искал спонсора. Ясное дело, поздравил его с Новым годом. А в Минск летело его поздравление. Об этом можно было бы и не писать, но поразила открытка: большая, сложенная гармошкой в три слоя, на ней мужчина и женщина в санях мчатся по заснеженной деревне. Старые хаты, поваленные заборы, заиндевевшие деревья. Сказка! Казалось, что это снято в родной деревне Седнева на Могилевщине. Открытка украшена сверкающими звездочками-блестками, рукописный текст на английском языке. Внизу старческие неровные буквы: поздравление с Новым годом и Рождеством.

А вскоре пришло письмо — ответ на мое послание. Седнев не скрывал своей радости, что книга может выйти на любимой родине. Он предложил два варианта компоновки произведений. Но на этом не остановился. Вот что он пишет далее:

«Дорогой Леонид Киреевич, наворотил я здесь всего всякого, а мысль моя перескочила на мою другую книгу, “Исповедь перед Отчизной” — рукопись ее в Минском архиве-музее». И далее третий вариант книги.

Оканчивается письмо так: «Простите, что втягиваю Вас в эту работу. Если Вам все это слишком трудно, можем тогда и отложить. Но это ведь Ваша идея: поддержать меня — издать книгу к моему 90-летию. Но как я Вам говорил, Бог не дает мне столько времени — надо, чтобы книга вышла быстрее...»

Масей Седнев чувствовал, что времени у него мало. К большому сожалению, книги он не дождался. Но обратите внимание, какая деликатность: если Вам все это слишком трудно, можем тогда и отложить. В письме есть и постскриптум. Первый раз я прочел приписку с улыбкой. А потом, когда читал после страшной вести, в горле застрял ком, хотелось волком выть...

Эту приписку стоит привести целиком, потому что она характеризует Масея Седнева как человека, как личность.

«П. С. (Именно так, а не латинскими буквами, обозначил он постскриптум.) Замучила совесть: когда Вы, наконец, добрались к нам и когда мы уже сидели (сначала было *сели*, это слово зачеркнуто) дружной семьей за столом, выпили и вина, я как-то почувствовал, что мы “не допили”, а вина у меня больше не нашлось, память не подсказала, к сожалению, что вы приехали со своим вином (Оля уже успела поставить его в рефрижератор), которое и надлежало поставить на стол. Сегодня нет у меня вина (я привык бокальчик вина выпивать), а купить не могу (замело нас снегом), страдаю, а жена: так вот же вино в холодильнике, вино Левановича. Но я не открываю этой бутылки, пока Вы не приедете к нам, тогда и “допьем”. М. С.»

## VII

Первые стихи Масея Седнева опубликовал журнал «Полымя» в 1934 году. А первый сборник поэзии «В океане ночи» увидел свет в 1946 году в маленьком немецком городке Регенсбурге. Через год вышла вторая книжка «Надежды». В том же году в Михельсдорфе, где Седнев работал преподавателем белорусской гимназии имени Янки Купалы, появилась книжка «На краю света», в Ватенштате — «Тень Янки Купалы».

На то время пришелся очень плодотворный период в творчестве Седнева. «Я жил поэзией, поэзия давала мне крылья, глушила боль, — признавался Масей Ларионович позже. — Как, кстати, и в сталинских тюрьмах, на Колыме. Если бы, казалось, не стихи — не жил бы».

Калыма ты, Калыма,
дзіўная планета:
дванаццаць месяцаў зіма,
астатняе — лета.

Эти строки Седнева были популярны среди заключенных и считались «народными».

Жизнь заставила искать прибежище в Америке. Первое время было не до поэзии, не до книг. Довелось много работать, чтобы прокормить семью. Свободнее вздохнул, когда стал преподавателем русского языка в университете штата Индиана. Опять начали появляться стихи:

Цяпер тое ўсё далёка,
як звон за хатай калосся.
Пісаліся вершы лёгка,
Калі мне цяжка жылося.

Один из самых любимых образов поэта-изгнанника — белорусская жалейка. В стихотворении под названием «Жалейка» Седнев будто исповедуется:

Спрабую зноў крануць маю жалейку
пасля бясплодных столькіх год... —
У час выгнанніцкі яна была мне лекам
і вызначала думак маіх ход.

Я з ёю йшоў сібірскімі шляхамі,
туліў яе за пазухай ад сцюж на Калыме.
Дзяліўся з ёю згадкамі і снамі—
І з ёю было цёпла мне.

Главная, сквозная тема поэзии Седнева — родина:

Засумаваў я па табе, радзіма,
па недаступнай па тваёй красе.
Кудысьці адыходзіш ты ўсё міма
і забываешся, даруй мне, пакрысе.

Странная эта родина. Где еще на земле есть край, за любовь к которому надо платить жизнью? А если удастся уцелеть, то доживать надо на чужбине. Родина-Кассандра, родина-мачеха, а не ласковая мать. Но стала такой не сама по себе. Люди, вершившие ее судьбу, пришельцы то ли с востока, то ли с запада, перетягивали ее лучших сыновей на свою сторону. А если это не удавалось, лишали жизни.

Нет, забыть свою родину Масей Седнев не мог. Как не мог и не писать о ней, хотя стихи не доходили до Беларуси, словно письма без адреса. Не приносили они ни славы, ни денег — издавал поэтические сборники за свой счет. И все же, как каждый творец, не мог не думать и о славе:

Я да славы чужое зусім не зайздросны,
але славы зрачыся не схацеў бы ні мала,
хацеў бы хоць так уваскроснуць,
як Максім Багдановіч, Колас, Купала.

Да багацця зямнога я не зайздросны,
хоць хацеў бы займець сваю хату,
каб над ёю шумелі сосны,
гналі спёку ценем кашлатым.

Поэзия Масея Седнева напоминает письма к любимой. Да вот беда — любимая, желанная молчит, не отвечает. Но он знает, что она есть, живет. Надеется, что однажды она вспомнит о нем.

Он творит, будто заклинание шепчет: «Падружыся са мной, шчэ нікім не ўжытае слова». И находит такие слова: «Масты ўзняліся радугай зялезнай». Именно так — зялеза, зялезны — говорят в Прибеседье.

А любимая была, ждала. После войны Масей Седнев отыскал Дусю, которая растила их сына. Ту самую Дусю, любовь к которой он описал в романе «И тот день настал». Описал с невероятной откровенностью и искренностью, без литературных преувеличений и выдумок. Даже имя любимой не стал менять.

Роман «И тот день настал» — это гимн любви, гимн вечной человеческой страсти. Я полностью согласен с оценкой этого произведения, которую дал Б. Саченко в предисловии к книге «Погашенные зори» («Мастацкая літаратура», 1992): «Роман написан от первого лица, очень искренно, лирично и таким богатым, свежим языком, как теперь уже редко пишут многие наши прозаики. “И тот день настал” — удача М. Седнева, это, пожалуй, едва ли не самый лучший роман, созданный и изданный в белорусском зарубежье».

А первое крупное прозаическое произведение, которое увидело свет в 1985 году в Нью-Йорке, уникально по своей фактуре: довоенный Минск, жизнь студентов, тюрьмы, репрессии, допросы. Есть в нем много ярких, мастерски выписанных сцен. Но автору не удалось крепко связать этот разноплановый материал. Писалось произведение долго, с перерывами целых 27 лет. Но и при определенных недостатках это уникальный художественный документ времени.

Специально акцентирую внимание на Седневе-прозаике, потому что о нем чаще писали как о поэте. Впрочем, нашим критикам и литературоведам во многом еще предстоит открыть и осмыслить прекрасный поэтический талант Масея Седнева. «Стихи М. Седнева — это настоящая поэзия, они отличаются новизной художественных средств, неожиданной метафоричностью, лиризмом, свежестью мысли, в некоторых из них он поднимается до значительных поэтических обобщений», — резонно отмечал Борис Саченко.

Книгу поэзии М. Седнева «А часу больш, чым вечнасць», подаренную автором, я читал в американском Бостоне, и вышла в свет она в Нью-Йорке, и писались стихи на американской земле, но воспевал в них поэт свою далекую родину. Когда читал, казалось, что пью родниковую воду из моей и его, Седнева, родной Беседи. А потом в Минске я с радостью прочитал в статье белоруса из Белостока Яна Чиквина о творчестве М. Седнева («Нёман», № 3, 2001) такую оценку: это книга «редкой лирической чистоты».

Таким образом, в лице Масея Седнева мы имеем замечательного поэта, талантливого прозаика, тонкого, вдумчивого критика, переводчика, страстного, оригинального публициста и эссеиста. Этот вывод подтверждает известная читателю «Масеева книга», изданная «Мастацкай літаратурай» в 1994 году, и еще неизвестные «Дневники», «Мои сомнения», которые я читал в рукописи.

Многоплановое творчество М. Седнева раздвигает горизонты нашей изящной словесности, поднимает ее на европейский уровень. Здесь не могу не сослаться на Яна Чиквина. Вот что он пишет в уже упоминавшейся статье: «В прозе М. Седнева, как и в его стихах, слышатся высокие примеры европей-

ской литературы — то же гетевское ощущение полноты жизни, неукротимое жизнелюбие, плотские радости. Выразительное эхо вечно живого мифа улавливается в образе самого главного героя — Микола, как и легендарный поэт Греции Орфей, все-таки не смог вывести на свет божий из подземелья свою Дусю-Эвридику».

5 февраля 2001 года в далеком Глен-Коу перестало биться сердце белоруса, пустившего корни на чужой земле, чтобы славить там любимую, незабываемую Отчизну. Понятно, сделал он не все, что мог, не все свои задумки и планы осуществил, не почивал на лаврах:

Жыву высокаю журбой,
тугой па тым, што не збылося.
Як толькі быць незадаволеным сабой —
нічога болей мне не засталося.

Высокая печаль. Тоска по Родине. Грусть, раздумье — эти слова в заглавиях его статей. Ну вот, например, заметка из «Масеевой книги» «Грусть по духовному Пантеону». Автор пишет: «Дух — это то, что активизирует созидательную деятельность нации, более того, дух формирует нацию... Есть ли у нас, белорусов, такой дух, такое поветрие, которым бы мы причащались? Есть, безусловно, есть. Он дан нам свыше...»

## VIII

В некрологах, сообщениях о смерти Масея Седнева писалось кратко и скупо. Короткое сообщение в «Звяздзе»: «Белорусский поэт Масей Седнев умер 5 февраля в США. Об этом сообщила его дочь Татьяна, для которой очень важно, чтобы на любимой родине отца помнили о нем». Тронуло заглавие: «В чужой стране — теперь навсегда».

Разве не парадокс: человека с фамилией Седнев, которому бы сидеть в родной деревне, судьба швыряла то в один конец света, то в другой. Из Минска на Колыму, из Колымы в Минск, затем в Германию, оттуда в Америку, потом опять в Германию и снова назад, в Америку. Где остался навсегда.

Может, наши потомки, осмыслив все написанное Седневым: поэзию, прозу, переводы, эссеистику, литературоведческие исследования, в том числе и написанные на русском языке «Чехов как драматург», «Философские отступления в романе Л. Толстого “Война и мир”», за которые наш земляк стал в Америке магистром и ассистентом-профессором, решат перенести на родину и его прах.

А наша задача, наша святая обязанность — вернуть Отечеству, которое он так любил, все, что написал Масей Седнев.

Прибеседский край — колыбель известных творцов: Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова, Алеся Письменкова, Алексея Русецкого, Василя Хомченко. Недалеко от Беседи — и родная деревня замечательного поэта Алексея Пысина.

В созвездии этих имен ярко сияет звезда Масея Седнева, талантливого самородка, которого взрастила наша благодатная земля.

***Перевод с белорусского Ирины КОЧЕТКОВОЙ.***



Эмануил ИОФФЕ

# Кто заменил генерала Поскрёбышева?

Многие читатели журнала «Нёман» могут спросить: «А кто такой Поскрёбышев?

При жизни Сталина такой вопрос не возникал. Очень многим было известно имя партийного деятеля, генерал-лейтенанта Александра Николаевича Поскрёбышева. Без этого лица ни один человек не мог проникнуть в кабинет «вождя всех народов». Почти три десятилетия он был его бессменным помощником. Более 21 года — с 1931-го — Поскрёбышев был личным секретарем Сталина и его наиболее доверенным лицом. Именно через Александра Николаевича Сталину поступала вся информация любого характера. Многие из тех, кто был близок к вождю, называли Поскрёбышева «глаза и уши товарища Сталина». К каждому документу он прикладывал листок с предложением конкретного решения, в большинстве случаев Сталин соглашался с его рекомендациями.

Что мы знаем об этом человеке?

А. Н. Поскрёбышев родился в городе Вятка 7 августа 1891 года, как и Сталин, в семье сапожника. По профессии он был фельдшером. В марте 1917 года Поскрёбышев вступил в РСДРП(б). С 1922 года работал в аппарате ЦК, в 1923—1924 годах был заведующим Управления делами ЦК РКП(б), а с 1924-го по 1929 год — одним из помощников Сталина. Разные люди работали в секретариате Сталина, одних он выдвинул на повышение, от других избавился. Только одного Поскрёбышева он постоянно держал возле себя, хотя должность Александра Николаевича называлась по-разному.

В 1929—1934 годах Поскрёбышев работал заместителем заведующего, а затем и заведующим секретным отделом ЦК (делопроизводство Политбюро ЦК ВКП(б0 и личная канцелярия Сталина). В соответствии с новым уставом ВКП(б), который был принят на XVII съезде партии в 1934 году, секретный отдел ЦК переименовали в особый сектор. Поскрёбышев был назначен заведовать этим сектором решением Политбюро от 10 марта 1934 года.

Если в 1934—1952 годах Александр Николаевич был заведующим особым сектором ЦК ВКП(б), то с августа 1935 года он стал еще и заведующим канцелярией генерального секретаря ЦК ВКП(б). Поскрёбышев выполнял личные задания Сталина, готовил ему документы.

С 1934 года он был кандидатом в члены, а в 1939—1956 годах членом ЦК партии. С 1946 года Александр Николаевич являлся депутатом Верховного Совета СССР.

Он был неутомим, точен и надежен. Поскрёбышев оказался идеальным помощником. Его преданность вождю была абсолютной. Жену Александра Николаевича посадили, а он продолжал служить вождю.

Поскрёбышев отличался поразительной работоспособностью (его рабочий день был не менее 16 часов) и исполнительностью.



*Иосиф Сталин и Александр Поскрёбышев.*

Профессор Наумов, который разбирал личные документы вождя, отметил: «Когда говорят, что Сталин не заботился о своем здоровье, гнал докторов и лечил его Поскрёбышев, это не соответствует действительности. Поскрёбышев отвечал за приглашение врачей. И он первым глотал таблетки, которые прописывались товарищу Сталину!..»

Н. С. Хрущев рассказывал: «Поскрёбышев писал под диктовку Сталина. Сталин обычно расхаживал при диктовке. Ему не сиделось, когда он думал. Он ходил и диктовал, но никогда стенографисткам, а Поскрёбышеву. Поскрёбышев же записывал. Он приспособился к диктовке Сталина и научился записывать за ним. Потом он тут же прочитывал записанное. Если он неточно уловил слова или же у Сталина вырисовывалась более четкая формулировка, то Сталин передиктовывал, рукой Поскрёбышева внося исправления или добавления. Я отдаю здесь должное Сталину. До самой своей смерти, когда он диктовал или что-нибудь формулировал, то делал это очень четко и ясно».

С внешним миром Сталин общался через своего главного помощника, поэтому Поскрёбышев обрел такую власть, что перед ним заискивали и члены Политбюро.

Без разрешения Поскрёбышева нельзя было добраться до кабинета Сталина.

Вот что вспоминал сотрудник аппарата правительства СССР Михаил Сергеевич Смиртюков: «Нужно было позвонить Поскрёбышеву, рассказать, зачем идешь, и только тогда он давал распоряжение охраннику на входе в приемную пропустить тебя. Обязательно нужно было показать документы. И так по нескольку раз в день».

Александр Николаевич Поскрёбышев рассказывал, как он руководил всей сталинской канцелярией: «Все документы, поступившие в адрес т. Сталина, за исключением весьма секретных материалов МГБ, просматривались мною и моим заместителем, затем докладывались т. Сталину устно или посылались ему по месту его нахождения.

Просмотренные тов. Сталиным материалы частично возвращались или передавались им непосредственно тому или иному члену Политбюро, а остальные оставлялись у него. По мере накопления материалов он вызывал меня для разбора этих бумаг. При этом давал указания, какие материалы оставить у него, а остальные — увозить в Особый сектор ЦК. Возвращенные материалы поступали в архив, где на них составлялась опись.

Часть бумаг, требующих решения, направлялись или вновь докладывались т. Сталину или направлялись членам Политбюро, секретарям ЦК, в зависимости от характера вопросов, на соответствующее рассмотрение.

Весьма секретные материалы МГБ с надписью министров «вскрыть только лично» направлялись непосредственно т. Сталину без вскрытия их в Особом секторе ЦК…»

По ряду воспоминаний и исследований (правда, не подтвержденных источниками), Поскрёбышев был причастен к большинству преступлений сталинского режима, в том числе к убийству Серго Орджоникидзе, организации политических процессов 1936—1938 годов, «делу врачей» и т. д.

После Великой Отечественной войны арестовали жену Поскрёбышева — Брониславу Соломоновну, которая была дальней родственницей Льва Троцкого. Александр Николаевич умолял Сталина спасти ее, но тот отказал. Б. С. Поскрёбышева три года провела в тюрьме, а затем была расстреляна по обвинению в шпионаже.

А сам Поскрёбышев продолжал верно служить Сталину. После XIX съезда партии он предложил переименовать особый сектор ЦК КПСС в секретариат бюро Президиума ЦК КПСС (составил новое штатное расписание) и стал именовать себя с октября 1952 года секретарем Президиума и Бюро Президиума ЦК КПСС. Пышное название должности льстило самолюбию Поскрёбышева, который любил щеголять в генеральском мундире.

В ноябре 1952 года Берии удалось убедить Сталина убрать Поскрёбышева из Кремля. Одним из его аргументов был такой: «Возможно, Поскрёбышев связан с делом врачей».

Характеризуя состояние здоровья Сталина после XIX съезда партии, всемирно известный английский историк Аллан Буллок в своей книге «Гитлер и Сталин. Жизнь и власть. Сравнительное жизнеописание» писал: «После партийного съезда, впервые, он не поехал в свой обычный отпуск на юг.

Признаком его психологической разбалансированности было то, что ни с того ни с сего он накинулся на двух своих самых давних и самых преданных прислужников, Власика и Поскрёбышева. Первый работал с ним с 1919 года как телохранитель и дослужился до звания генерал-майора (правильно — генерал-лейтенанта. — Э. И.), отвечал за его охрану, резиденции, питание и обслуживающий персонал. Теперь, ни слова не говоря, его сняли, арестовали, и больше его никто не видел. Поскрёбышев стал помощником Сталина вскоре после его избрания генеральным секретарем. Он был посвящен в большую часть его секретов, контролировал поток информации, которая поступала Сталину. Ведал допуском к нему посетителей. Такой же жестокий, как его хозяин, но бескорыстный в своей преданности ему, он перенес такое унижение, как и Молотов, наблюдая, как арестовывали его жену. Потом его обвинили в разглашении государственной тайны и в два счета уволили, и пока Сталин не умер, он просидел дома, поджидая, когда за ним придут».

Вскоре Александр Николаевич был уволен на пенсию.

Александр Трифонович Твардовский в ноябре 1963 года отдыхал в Барвихе. Он записал в дневнике: «Отдыхает здесь на правах персонального пенсионера маленький, лысый почти до затылка человек с помятым бритым старческим личиком, на котором, однако, как и в форме маленького, почти плашмя от бровей лба, проступает сходство с младенцем и мартышкой. Нижняя часть лица более всего определяет это второе сходство — тяжеловатая, выдвинутая вперед.

Голос неожиданно низкий, с небольшой хрипотцой. Походка старческая, мелкими шажками, почти без отрыва ступней движком — шмыг-шмыг-шмыг… Зад осаженный, сбитый кверху, как это бывает у стариков.

Это — всего десяток лет тому назад — владыка полумира, человек, который, как рассказывают, со многими из тех, чьи портреты вывешивались по красным дням и чьи имена составляли неизменную «обойму» руководителей, здоровался двумя пальцами, не вставая с места. Это А. Н. Поскрёбышев, многолетний первый помощник И. В. Сталина, член ЦК в последние годы этой своей службы, генерал-лейтенант.

Имя его в аппаратных (высоких) кругах звучало как знак высшей власти, решающей инстанции. Такому-то позвонил Поскрёбышев — означало, что позвонил почти что Сталин. Собственно Сталин, вещающий плотью его голоса.

Вспоминаю, как я имел наивность и отчаянную решимость позвонить ему по вертушке с просьбой о передаче Иосифу Виссарионовичу рукописи романа Гроссмана на прочтение, где была (навязанная автору нами) глава о Сталине…

— Да. Ну? Нет, — слышались в телефоне односложные низкие, но такие тихие-тихие отзвуки его голоса. Голоса знающего, что его должны слушать и слышать.

В этом голосе была и величественная, запредельная усталость. И даже скорбь. И законное, само собой разумеющееся полувнимание (меньше того!) человека, который занят чем-то несравненно более значительным и серьезным, чем то, о чем ты ему «вякаешь». Помнится, он не отказал прямо, но сказал, что лучше отдать «аппарату».

Этот человек ходит в столовую. Принимает процедурки. Играет в домино, смотрит плохие фильмишки в кино, — словом, «отдыхает» здесь, как все старички-пенсионеры. И как бы это даже не тот А. Н. Поскрёбышев, ближайший Сталину человек, его ключник и адъютант, и может быть, дядька, и раб, и страж. И советчик, и наперсник его тайного тайных.

Высшая школа умения держать язык за зубами, не помнить того, чего не следует, школа личного отсутствия в том, к чему имеешь (имел) непосредственное касательство, и полная свобода от обязательств перед историей. («Это не я — это партия в моем ничтожном естестве была на моем месте и выполняла свою задачу. И могла избрать для этой цели чье-либо другое столь же ничтожное естество».)

Пытаться к нему подступиться с разговором на тему о его исключительных, единственных возможностях и единственном в своем роде долге — дело безнадежное.

— Что вы. Что вы, зачем это? Ни к чему. Да и не знаю ничего, — затрепыхался он в ответ на прямую постановку вопроса Леонидом Кудреватых (по словам последнего).

И даже будто бы сказал:

— Я боюсь.

Но дело не в страхе, хотя, конечно, страх над ним, денный и нощный, не может не висеть, а в том, пожалуй, что, как говорит Кудреватых, он вблизи производит впечатление прежде всего человека не только малообразованного, неначитанного, но просто недалекого и почти малограмотного. Таков этот полубезвестный, но могущественный временщик. Выходец из деревни Сопляки».

Своему заместителю по журналу «Новый мир» Алексею Ивановичу Кондратовичу Твардовский сказал о Поскрёбышеве: «Старшина, но без солидности. Пожалуй, даже ефрейторишко с простонародным лицом. — А потом добавил: — Судя по лагерным рукописям, именно такие были в охране — невзрачные, незаметные, но злобные».

Сталин избавился от своего помощника, боясь, что Поскрёбышев тайно служит Берии, хотя это предположение, как потом стало ясно, было лишь плодом сталинской паранойи.

В своей речи на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев назвал Поскрёбышева «верным оруженосцем Сталина». Последним днем его жизни было 3 января 1965 года. А. Н. Поскрёбышев похоронен на Новодевичьем кладбище.

В Кремле занялись поисками замены Александру Николаевичу, точнее, нового личного секретаря вождя. В конце концов выбор сузился до двух человек с одним и тем же именем «Владимир»: ответственного работника «секретариата т. Сталина» Владимира Наумовича Чернухи и первого секретаря Ленинградского горкома партии, кандидата наук Владимира Никифоровича Малина, который работал в аппарате ЦК КПСС на должности инспектора.



*Владимир Малин*

Зарубежный историк А. Авторханов — автор работы «Загадка смерти Сталина» — высказал такое мнение: «Однако пока Поскрёбышев стоял во главе «внутреннего кабинета», а Власик во главе охраны, Берия не так уж легко было бы использовать охрану Сталина «для своих целей». Но поддавшись провокации, Сталин разгромил весь свой «внутренний кабинет». Это был с его стороны самоубийственный акт.

Легко представить, какое важное значение придавала четверка (Маленков, Берия, Хрущев, Булганин. — *Э. И.*) тому, чтобы место Поскрёбышева занял человек, способный изолировать Сталина от внешнего мира и информации, и сам не знающий, почему это надо делать (у заговорщиков было много таких невольных исполнителей). Временно должность Поскрёбышева занял старший после него в «кабинете» — Владимир Наумович Чернуха, сибиряк, член партии с 1918 года, активный участник Гражданской войны, вместе с которым Поскрёбышев начал свою большевистскую карьеру в Уфе и которого он притащил в «Секретариат т. Сталина» в 1925 году. Чернуха был хотя и лояльным, но ограниченным аппаратчиком из породы канцелярских крыс. Он явно не подходил к роли нового Поскрёбышева, а других около Сталина не было. Вероятно, поэтому Сталин решил искать себе нового помощника вне аппарата ЦК. От нового шефа «кабинета» Сталина требовались кроме волевых качеств и преданности всестороннее знание функционирования партийно-чекистской системы, военного порядка и основательная теоретическая подготовка. И такой человек очень скоро нашелся: первый секретарь Ленинградского горкома КПСС Владимир Никифорович Малин. Это был кандидат с самыми высокими связями — его по прежней работе знали по крайней мере следующие члены Президиума ЦК КПСС: Андрианов, Пономаренко, Игнатьев, Маленков и Берия.

Малин был из числа тех маленковцев, которые пришли в аппарат партии в результате «великой чистки». К началу войны Маленков сделал его секретарем ЦК Белоруссии, во время войны он был назначен сначала членом Военного совета армии в ранге генерала, потом заместителем начальника Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (начальником штаба был Пономаренко). Весьма вероятно, что в этой должности Малин соприкасался со Сталиным во время очередных докладов о партизанских делах, но зато несомненно, по роду своей службы Малин имел тесный контакт с Берия. После войны он вновь был назначен вместе с Пономаренко и будущим министром госбезопасности Игнатьевым одним из секретарей ЦК Белоруссии. Когда в 1948 году Пономаренко был назначен секретарем ЦК ВКП(б), Малин попросился на учебу в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК. Он окончил ее в 1949 году досрочно, получив ученую степень кандидата наук. В том же году, когда начался разгром ждановцев, Маленков отправил в Ленинград своих самых проверенных людей: Андрианова — первым секретарем Ленинградского обкома,

и Малина — первым секретарем Ленинградского горкома (по другим данным, секретарем Ленинградского горкома партии по пропаганде и культуре. — *Э. И.*). Вот с этого поста в конце 1952 года Малин перебрался в кресло Поскрёбышева, разумеется, без его репутации грозного временщика, но достаточно властный, чтобы сыграть предназначенную ему роль — аккуратно докладывать Маленкову каждое распоряжение и движение Сталина. И достаточно умный, чтобы не претендовать на самостоятельность в данных условиях.

Как только Сталин опубликовал знаменитую статью от 13 января 1953 года об аресте кремлевских врачей, всякие гадания о замыслах диктатора кончились».

И тогда выбор Сталина остановился на кандидатуре в какой-то степени малоизвестного окружению вождя и широкой общественности Владимира Никифоровича Малина, который с нобря 1952 года формально стал именоваться «инспектором ЦК КПСС» и имел звание генерал-майора.

В повествовании об этом человеке нам помогут фонды архивов Республики Беларусь и Российской Федерации, особенно Национального архива Республики Беларусь.

Он родился 24 июля 1906 года в поселке (теперь деревня) Яконово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии (Вышневолоцкого района Тверской области). С двенадцати лет — в 1918—1919 и 1921—1925 годах Владимир Малин работал баночником Яконовского стеклозавода, в 1919—1920 годах — баночником Хватовского стеклозавода Вольского уезда Саратовской губернии.

С сентября 1920-го по июль 1922 года работал переписчиком кузнецовского волостного исполнительного комитета Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, а с июля 1922-го по январь 1928 года — мастером-стеклодувом Яконовского стеклозавода.

В декабре 1926 года Малин вступил в ряды ВКП(б), а с июня по октябрь 1928 года был секретарем коллектива ВКП(б) Яконовского стеклозавода.

С октября 1928-го по октябрь 1930 года Владимир Никифорович служил в Красной Армии курсантом, помощником командира 142-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии, который дислоцировался в городе Ржеве.

С октября 1930-го по сентябрь 1931 года он являлся студентом 2-го Московского областного комвуза, который находился в городе Рязани, а с сентября 1931-го по июнь 1933-го — студентом Ленинградского комвуза.

В 1933 году Малин окончил Ленинградский Коммунистический университет, а с июня 1933-го по сентябрь 1934 года работал секретарем парткома Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы им. Кирова в Ленинграде.

С сентября 1934-го по сентябрь 1936 года он был слушателем отделения подготовки кадров, а в 1936—1937 годах историко-партийного отделения Института красной профессуры в Ленинграде.

С ноября 1937-го по 10 октября 1938 года В. Н. Малин был заведующим Отделом печати и издательств ЦК КП(б)Б, а с октября 1938 года — первым секретарем Могилевского обкома партии. С 6 июня 1939-го по 26 марта 1941 года работал секретарем ЦК по пропаганде и агитации, с 26 марта 1941-го — секретарем ЦК по промышленности, а с 26 августа 1943-го — третьим секретарем ЦК Компартии Беларуси.

С 7 марта до 1 декабря 1947 года Малин был секретарем ЦК Компартии Беларуси по промышленности.

Характеризуя деятельность В. Н. Малина накануне и в начале Великой Отечественной войны, бывший начальник Управления НКГБ по Белостокской области С. С. Бельченко вспоминал: «Особенно часто нам, руководящим работникам Белостокской области, оказывал на месте помощь и давал советы первый секретарь ЦК КП Белоруссии П. К. Пономаренко. Нередко мы встречались и с секретарем ЦК КП Белоруссии В. Н. Малиным и другими работниками. Именно они и секретари обкома партии, работавшие после товарища Игаева, товарищи

Киселев и Кудряшов, помогали нам разобраться в сложном политическом переплете, сложившемся там…

Несколько позже (вечером 21 июня 1941 года. — *Э. И.*) из других погранотрядов доносили, что на сопредельной стороне слышны шумы моторов, усиленный лай собак и другие необычные явления. Я связался по телефону с находившимся в это время в Белостоке секретарем ЦК КП Белоруссии товарищем Малиным, с первым секретарем обкома товарищем Кудряевым и доложил об этих данных. Мы с ними условились, что я по телефону переговорю со всеми начальниками районных и городских аппаратов НКГБ и дам указание, чтобы они всю секретную переписку партийных, советских органов и органов госбезопасности упаковали в мешки и направили под охраной в Белосток» (Попов А. 15 встреч с генералом КГБ Бельченко. М., 2002. С.105, 125).

Владимир Никифорович вместе с П. К. Пономаренко, Г. Б. Эйдиновым, Л. Ф. Цанавой и другими руководителями БССР был одним из организаторов партизанского движения в 1941 году на территории Беларуси. Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси П. К. Пономаренко вспоминал: «В период пребывания в городе Могилеве вопросами организации и руководства партизанским движением и подпольной борьбой занимались непосредственно секретари и члены бюро ЦК П. З. Калинин, Г. Б. Эйдинов, В. Н. Малин, Н. Е. Авхимович, И. П. Ганенко, И. И. Рыжиков… и другие товарищи» (Пономаренко П. К. Во главе обороны // Солдатами были все. — Минск, 1972. С. 42—43).

О деятельности В. Н. Малина в начале войны убедительно свидетельствуют фонды Национального архива Республики Беларусь.

13 июля 1941 года группа во главе с Малиным была направлена в город Климовичи для связи и руководства районами БССР.

Из воспоминаний бывшего секретаря ЦК Компартии Беларуси Т. С. Горбунова, написанных для Института истории партии при ЦК КПБ 29 сентября 1969 года, видно, что 16 июля 1941 года по распоряжению Военного совета Западного фронта ЦК КП(б)Б переехал в Гомель, тогда еще не занятый немцами. Секретари ЦК Малин и Эйдинов организовали беседы с секретарями ОК и РК КПБ оккупированной части республики, принимали конкретные меры по организации партизанского движения и подполья. Они также расспрашивали коммунистов и советских работников, прибывших из захваченных врагом районов, о политике гитлеровцев, об отношении к ним местного населения.

18 июля 1941 года Бюро ЦК Компартии Беларуси, заслушав вопрос о работе редакции газеты «Звязда», постановило:

2. Поручить т. Малину (секретарю ЦК КП(б)Б по промышленности. — *Э. И.*) договориться с командованием фронта о заброске газет «Звязда» в тыл врага.

5. Поручить тт. Малину, Горбунову (секретарю ЦК КП(б)Б. — *Э. И.*), Озирскому (зав. отделом ЦК КП(б)Б. — *Э. И.*) оказать помощь редакции газеты в улучшении работы.

30 июля 1941 года по предложению Бюро ЦК КП(б)Б постановлением Политбюро ЦК ВКП(б), секретари ЦК КП(б)Б тт. Ванеев, Ганенко, Калинин, Власов, Малин были назначены членами Военных советов армий.

Именно в тот же день — 30 июля, ЦК Компартии Беларуси принял очень важное и жесткое постановление «Об обороне города Гомеля», которое подписали секретари ЦК КП(б)Б Эйдинов и Малин, председатель Президиума Верховного Совета БССР Наталевич и первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Пономаренко.

1 августа 1941 года секретари ЦК КП(б)Б Эйдинов и Малин опрашивали немецких пленных солдат и офицеров.

12 августа 1941 года под грифом «Строго секретно» за подписью Пономаренко, Эйдинова, Малина, председателя СНК БССР Былинского и заместителя председателя СНК БССР Крупени Бюро ЦК Компартии Беларуси приняло поста-

новление «О подготовке кадров для диверсионной работы в тылу противника из женщин».

На основе анализа фондов Национального архива Республики Беларусь установлено, что с утра 19 августа 1941 года секретари ЦК Компартии Беларуси Эйдинов, Малин, уполномоченный КПК Захаров и заведующий отделом ЦК КП(б)Б Гласов находились в городе Гомеле и руководили эвакуацией Полеспечати. В 5 часов, в связи с вхождением немецких войск в окрестности города, Полеспечать и элеватор подожгли.

Есть основания полагать, что в первые дни войны, а точнее, в ночь с 24 на 25 июня, состоялось первое, хотя и заочное знакомство В. Н. Малина с И. В. Сталиным.

В его воспоминаниях, написанных в Москве 25 января 1973 года, есть такие строки: «Война застала меня в Белостоке, где я возглавлял комиссию ЦК КП(б)Б по проверке Белостокского обкома партии.

Центральный Комитет КП(б)Б предполагал заслушать на своем Пленуме отчет этого обкома. С этой целью перед самой войной была создана бригада (комиссия) из 18 человек. В нее кроме меня входили: секретарь ЦК КП(б)Б Т. С. Горбунов, секретарь ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин и другие. Мы свою работу по проверке Белостокского обкома закончили. В основном, в субботу 21 июня 1941 года.

В 3 часа 20 минут в ночь на 22 июня началась бомбардировка Белостока. В связи с военной обстановкой я съездил в расположение 10-й армии в Ломжу и в некоторые другие места. 22—24 июня я находился в Белостокской области и в самом Белостоке.

24 июня 1941 года я был вызван телеграммой в ЦК КП(б)Б и в этот же день вернулся в Минск. По пути из Белостока нам удалось вырваться из полуокружения. Столица Белоруссии 24 июня была объята пламенем пожара после сильной вражеской бомбежки.

В ночь с 24 на 25 января в ЦК КП Белоруссии раздался звонок — на проводе был помощник Сталина Поскрёбышев. Он заявил, что Сталин вызывает к телефону первого секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко. Но П. К. Пономаренко в это время находился в штабе Западного фронта. Со Сталиным пришлось разговаривать мне. У нас произошел следующий диалог:

— Что делается в Минске?

— Минск горит.

— Где Пономаренко?

— Находится в штабе фронта, но связи с ним нет.

— Где немецкие войска?

— На подступах к Минску, между Барановичами и Минском.

— Передайте руководящему составу, что вам разрешается переехать в Могилев. Не допускайте растерянности. Отступление есть тоже элемент войны.

В эту же ночь нам пришлось решать очень сложный вопрос — эвакуировать архив (в том числе учетные карточки наших коммунистов) Центрального комитета КП Белоруссии. Мы останавливали машины, грузили в них документы. Отправляли за город и оттуда дальше в Могилев. Мы помогали тогда Минскому обкому партии направлять людей на различные объекты для их эвакуации.

После полуночи мы сами направились в сторону Могилева. Вместе со мной в первой машине ехали секретарь ЦК КП(б)Б Г. Б. Эйдинов, И. П. Ганенко, секретарь ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин и специальный корреспондент «Правды» по Белоруссии Петр Лидов. Мы выбрались из горящего города на Могилевское шоссе. Вскоре наша машина была повреждена, и нам пришлось пройти до места расположения нынешнего автозавода. Там мы взяли другую машину и двинулись на Могилев. В Могилев приехали утром 25 июня. Этот город тоже бомбили фашистские самолеты.

В Могилев прибыли маршалы Ворошилов и Шапошников. Они занимались не только вопросами обороны, но также проводили инструктаж групп, которые засылались в тыл врага. Здесь, затем в Лиозно и Гомеле Центральный Комитет КП(б)Б провел большую работу по засылке в тыл врага многих организаторов партизанского движения… После оставления нашими войсками Гомеля и выбытия оттуда ЦК КП(б)Б и правительства Белоруссии я вместе с некоторыми другими руководящими работниками убыл в ряды Красной Армии. Меня назначили членом Военного совета 13-й армии. В это время я имел воинское звание бригадного комиссара.

Наша 13-я армия отступала из-под Гомеля через Чернигов и вышла к Курску. Это происходило в сентябре—декабре 1941 года. В Курске 13-я армия дополнительно сформировалась, и мы заняли здесь оборону. Путь нашего дальнейшего отхода лежал через Щигры, Елец, Задонск, станцию Касторная. Мы занимали оборону между Тулой и Воронежем. В задачу армии входило не допустить танковые войска Гудериана в обход Тулы на Ногинск и Каширу. Вместе со всем составом Военного совета я лично участвовал в боях.

В декабре 1941 года мы перешли в наступление и участвовали в Елецко-Ливнинской операции. Затем продвинулись к Хутору-Михайловскому, к Понырям, зашли за Ливны в конце декабря. Тут я получил телеграмму с указанием немедленно выехать в Москву в ЦК ВКП(б). В начале 1942 года я явился к тов. Маленкову…»

В годы Великой Отечественной войны Владимир Никифорович был членом Военного совета 13-й армии Юго-Западного фронта (1941—1942), работал в особой группе оргинструкторского отдела ЦК ВКП(б), являлся начальником Политуправления Центрального штаба партизанского движения и заместителем начальника Центрального штаба партизанского движения (1942—1944), председателем Республиканского комитета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров.

Именно через В. Н. Малина П. К. Пономаренко получал большую часть информации о развитии партизанского движения на оккупированной территории Белоруссии и всего Советского Союза, в том числе от руководителя Центральной оперативно-чекистской группы НКВД СССР по БССР Лаврентия Фомича Цанавы. Естественно, в то время это была секретная информация.

В целях лучшей координации всей массово-политической работы на оккупированной гитлеровцами советской территории ЦК ВКП(б) после внимательного и всестороннего изучения и обобщения накопленного опыта принял решение об образовании в составе ЦШПД Политического управления, переименованного потом в Политический отдел. Его начальником назначили секретаря Центрального Комитета Компартии Белоруссии Владимира Никифоровича Малина. В центре внимания этого органа находились вопросы развития агитационно-пропагандистской работы среди населения и партизан, руководства деятельностью комиссаров партизанских отрядов и бригад, организации засылки подпольным партийным комитетам газет, журналов, листовок, плакатов и другой литературы, а также радиоаппаратуры, печатных машин, наборного материала для оборудования в тылу врага типографий и налаживания выпуска различных изданий на месте.

Вскоре В. Н. Малин был назначен заместителем начальника Центрального штаба партизанского движения. Пантелеймон Кондратьевич очень доверял Владимиру Никифоровичу и советовался с ним по ряду вопросов. Многие работники ЦШПД называли его «доверенным лицом» П. К. Пономаренко.

В воспоминаниях секретаря ЦК Компартии Белоруссии Т. С. Горбунова о начальном периоде Великой Отечественной войны есть такие строки: «Секретари ЦК тт. Малин и Эйдинов организовали беседы с секретарями ОК и РК КПБ

оккупированной части республики, принимали конкретные меры по организации партизанского движения и подполья. Они также расспрашивали коммунистов и советских работников, прибывших из захваченных врагом районов, о политике гитлеровцев, об отношении к ним местного населения».

Быстро изменявшиеся условия военного времени, накапливавшийся опыт диктовали новые решения. Поэтому постановлением ГКО от 26 ноября 1942 года Политуправление было преобразовано в Политотдел, в котором работали 9 человек, занимавшихся вопросами деятельности подпольных партийных организации, печати, агитации и пропаганды. Как раньше Политуправление, так теперь и политотдел продолжал возглавлять В. Н. Малин.

К марту 1943 года активно работали и имели постоянную связь с ЩШПД десятки подпольных обкомов и райкомов партии, действовавших на Украине, в Белоруссии, во многих областях РСФСР.

В докладной записке начальника политотдела ЦШПД В. Н. Малина в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1942 года подчеркивалось: «Интерес к нашим газетам, к печатному большевистскому слову со стороны партизан и населения оккупированных районов исключительно велик. Население требует советских газет и листовок. Большое количество вопросов поступает от партизанских отрядов, газеты и листовки. У каждого работника, посланного в тыл противника, при встречах и партизаны, и местные жители спрашивают, не привез ли он с собой газет и листовок».

По инициативе политотдела ЦШПД и лично В. Н. Малина только с декабря 1942 года по март 1943 года в тыл врага были переправлены 82 портативные типографии, в том числе в Белоруссию — 20.

Работники политотдела в Центральном штабе партизанского движения проводили инструктаж людей, прибывающих из тыла противника или подготовленных к отправке на подпольную работу. Рассматривались вопросы организации подпольной партийной работы, в том числе агитационно-пропагандистской. Во время инструктажа проверялась степень готовности к выполнению задания, вскрывались недостатки в подготовке и принимались меры к их устранению.

Сотрудники политотдела Центрального штаба партизанского движения выезжали на места для оказания помощи парторганизациям партизанских формирований в повышении уровня политической работы, в усилении роли райкомов в руководстве политической и боевой деятельностью. На местах работники ЦШПД проводили совещания секретарей подпольных райкомов и комиссаров партизанских формирований.

Таким образом, Владимир Никифорович Малин в качестве заместителя начальника ЦШПД и секретаря ЦК Компартии Белоруссии внес существенный вклад в становление и развитие партизанского движения и антифашистского подполья на белорусской земле в 1941—1944 годах.

Имя В. Н. Малина неоднократно упоминается в монографии Пантелеймона Кондратьевича «Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941—1944», изданной в 1982 году «Для служебного пользования». Непонятно только, почему П. К. Пономаренко не отмечает, что Владимир Никифорович был его заместителем по ЦШПД, и не останавливается на работе Политического отдела ЦШПД, который он возглавлял.

Вместе с вторым секретарем ЦК Компартии Беларуси Калининым, Председателем СНК БССР Былинским и Председателем Президиума Верховного Совета БССР Наталевичем под грифом «Строго секретно» 24 февраля 1942 года Малин подписал постановление ЦК КП(б)Б «О работе кинохроники «Савецкая Беларусь». В нем говорилось:

«Возобновить работу кинохроники «Савецкая Беларусь».

Отделу кадров подобрать необходимые кадры.

Поручить тов. Былинскому разрешить в союзном правительстве вопрос об отпуске необходимых средств на организацию работы кинохроники».

Тот факт, что В. Н. Малин был ближайшим соратником П. К. Пономаренко по организации партизанского движения и партийного подполья на территории Беларуси, подтверждают следующие строки из письма Пантелеймона Кондратьевича секретарям ЦК КП(б)Б П. З. Калинину, В. Н. Малину, Н. Е. Авхимовичу, Т. С. Горбунову от 14 марта 1942 года о подготовке кадров для партизанского движения и подпольных партийных органов, помещении материалов о Белоруссии в центральных газетах: «…В связи с этими вопросами прошу приехать ко мне тов. Малина с соображениями, когда и сколько мы сможем перебросить в Белоруссию людей».

Имя Малина связано с изданием газеты «Савецкая Беларусь» на Большой земле.

В постановлении ЦК Компартии Беларуси «О газете «Савецкая Беларусь» от 23 апреля 1942 года сказано:

«Утвердить редколлегию газеты в составе: Горбунов, Малин, Крупеня, Закурдаев, Кравченко.

Поручить тт. Малину и Горбунову усилить состав редакции».

С 26 августа 1943-го по 7 марта 1947 года Владимир Никифорович являлся 3-м секретарем ЦК Компартии Беларуси.

Малин внес существенный вклад в восстановление и развитие народного хозяйства нашей республики в этот период.

В фондах Национального архива Республики Беларусь хранится телеграмма из Гомеля секретаря ЦК Компартии Беларуси В. Н. Малина секретарям обкомов партии об уборке урожая 1944 года, которая датируется не позже 17 июля 1944 года. Познакомимся с ее содержанием:

«ЦК КП(б) Белоруссии устанавливает, что некоторые райкомы, обкомы партии не замечают особенностей обстановки в текущем году в уборке урожая. Того факта, что посевы озимых на колхозных землях произведены колхозниками в период немецкой оккупации единолично. И у некоторой части колхозников проявляется стремление убирать урожай индивидуально, что сейчас решающее значение приобретает политическая и организаторская работа партийных органов. Чтобы обеспечить успешную уборку урожая коллективно и тем самым на деле решить задачу восстановления колхозов в освобожденных районах и укрепления общественной собственности колхозного хозяйства, ЦК КП(б)Б требует от обкомов, райкомов партии: первое, обсудить вопрос подготовки колхозов, совхозов, МТС к уборке урожая, устранить имеющиеся недочеты; второе, созвать в период с 17 по 20 июля областные совещания секретарей райкомов партии, председателей райисполкомов, заведующих райзо, наметить практические меры по завершению подготовки к уборке урожая и своевременной сдаче сельхозпродуктов государству.

ЦК КП(б)Б обязывает обкомы партии 20 июля представить отчет о готовности области к проведению уборки.

Секретарь ЦК партии Белоруссии Малин».

Кроме ответственной партийной работы Владимир Никифорович был председателем Республиканского комитета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров (Республиканского комитета помощи раненым). Определенное представление об этой его благородной деятельности дает докладная записка В. Н. Малина председателю Всесоюзного комитета помощи раненым А. А. Андрееву о размещении эвакогоспиталей Наркомздрава СССР в БССР и оказании помощи в их работе от 4 декабря 1944 года. В ней говорилось: «В Белорусскую ССР должны передислоцироваться из восточных районов страны 50 эвакогоспиталей Наркомздрава на 20 900 штатных коек.

На 1 декабря 1944 года в республику прибыло 44 эвакогоспиталя на 17 700 коек. Ранее размещенных в областях Белоруссии было 7 эвакогоспиталей Наркомздрава на 3500 коек. Всего на 1 декабря 1944 года в республике имеется 51 эвакогоспиталь. Еще не прибыло в Белоруссию 6 эвакогоспиталей на 3200 коек.

Большинство госпиталей размещено в зданиях, занимаемых ранее госпиталями Наркомата обороны. Здания эти, а также вновь отводимые под госпитали, почти все требовали среднего или капитального ремонта, особенно в городах Витебск, Орша и Могилев. В городах и районах республики, где размещаются госпитали, проводится ремонт зданий, отопления, водопровода, пищевых блоков, санпропускников, канализации, оборудуются овощехранилища. Для 27 госпиталей на 8530 коек ремонт помещений закончен, и эти госпитали развернулись и готовы к приему раненых и больных.

Остальные госпитали, прибывшие во второй половине ноября 1944 года, еще как следует не устроены. Размещение эвакогоспиталей и подготовка их к зиме в целом идет неудовлетворительно. Особенно плохо обстоит с остеклением помещений. 70 проц. всех помещений, отведенных под госпитали, требовалось остеклить. В Витебской области из 11 госпиталей — 4 госпиталя не могут принимать раненых из-за того, что помещения не остеклены. Топливо для госпиталей полностью не заготовлено и не завезено. Госпитали не обеспечены еще полностью овощами и картофелем.

В городах и районах, где размещаются госпитали, сейчас развертывается широкая шефская помощь. В городе Могилеве с помощью шефов проведен ремонт помещений для шести госпиталей. Изготовлены для них тазы, ведра, собрана столовая посуда. В городе Борисове для двух госпиталей оборудованы пищеблоки. Собраны кровати, стулья, столы. Выделено стекло для остекления зданий. В Витебской области с помощью рабочих и колхозников для госпиталей заготовлено 40 проц. и завезено 20 проц. потребности дров на зиму. Колхозники Оршанского района организовали сбор овощей и молока для госпиталей, собрали 420 индивидуальных посылок для раненых бойцов и командиров Красной Армий. В Пуховичском районе Минской области прикреплены для двух госпиталей колхозные лошади на перевозку торфа.

Однако следует отметить, что шефская помощь госпиталям местными советскими и партийными организациями была развернута недостаточно, а в областях и районах комитеты помощи раненым только еще начинают разворачивать свою работу.

Многие из прибывших госпиталей не укомплектованы полностью личным составом и табельным имуществом, особенно автомобильным и гужевым транспортом. В прибывших госпиталях имеется только 43 автомашины, в то время как по штату должно быть 103 машины. Лошадей имеется только 233 против положенных по штату 373 лошадей. Прибывший из Новочеркасска в гор. Речица госпиталь № 5350 на 1000 коек не привез с собой ни одной койки, не имеет ни одной автомашины.

Совнаркомом БССР и ЦК КП(б) Белоруссии 24 ноября 1944 года принято постановление о размещении эвакогоспиталей наркомздрава СССР в Белорусской ССР и оказании помощи в их работе. Этим решением Совнарком БССР и ЦК КП(Б)Б утвердили республиканский комитет помощи раненым и обязали председателей исполкомов областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся и секретарей обкомов, горкомов и райкомов КП(б)Б создать комитеты помощи раненым на местах.

Сейчас Республиканский комитет помощи раненым принимает меры, чтобы провести необходимую работу в госпиталях по подготовке их к зиме и к развертыванию широкой шефской помощи госпиталям в их работе.

Председатель Республиканского комитета помощи раненым,
секретарь ЦК КП(б) Белоруссии В. Малин».

Мы уже вспоминали разговор по телефону Малина со Сталиным в ночь с 24 на 25 июня 1941года. По мнению А. Авторханова, весьма вероятно, что в должности заместителя начальника Центрального штаба партизанского движения генерал-майор Владимир Малин соприкасался с Иосифом Сталиным во время очередных докладов о партизанских делах в Ставке Верховного Главнокомандования, но зато несомненно, что по роду своей службы он имел тесный контакт с Лаврентием Берией.

После окончания Великой Отечественной войны Владимир Никифорович вместе с Пономаренко и будущим наркомом госбезопасности СССР Игнатьевым продолжал оставаться третьим секретарем ЦК Компартии Беларуси и секретарем ЦК КП(б)Б по промышленности. По воспоминаниям ряда партийных руководителей, Малин неоднократно вел заседания бюро ЦК Компартии Беларуси и накануне отъезда П. К. Пономаренко на работу в Москву секретарем ЦК ВКП(б) был одним из претендентов на его пост первого секретаря ЦК Компартии Беларуси.

Когда Пантелеймон Кондратьевич в 1948 году был назначен секретарем ЦК ВКП(б), Малин заканчивал Курсы переподготовки при ЦК КПСС, куда он поступил еще в 1947 году. После этого Владимир Никифорович в 1948 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). Он окончил ее в 1949 году досрочно, получив ученую степень кандидата наук.

В том же году, когда началось «Ленинградское дело», Маленков отправил в Ленинград своих самых проверенных людей: Андрианова — первым секретарем Ленинградского обкома партии и Малина — первым секретарем Ленинградского горкома партии (по данным Национального архива Республики Беларусь, он с июня 1949-го по июнь 1952 года был секретарем Ленинградского городского комитета ВКП(б) по вопросам пропаганды и культуры. — *Э. И.*). Как это ни горько осознавать, но Владимир Никифорович был причастен к развертыванию так называемого «Ленинградского дела» и организаций репрессий против честных коммунистов.

Именно с поста первого секретаря Ленинградского горкома партии Владимира Малина в июне 1952 года переместили на пост инспектора ЦК КПСС по Москве и Московской области. Это произошло еще до XIX съезда партии.

В историко-документальном исследовании «Генералиссимус» известного российского писателя Владимира Карпова есть такие строки:

«Но Сталин не успел воспользоваться своей победой на XIX съезде. Берия провел ряд опасных, но хорошо продуманных подготовительных акций по устранению верных Сталину ответственных работников…

Удаление самых близких и преданных Сталину — Власика и Поскрёбышева — Берия осуществил со свойственной ему иезуитской хитростью. Этих людей нельзя было убрать по какому-то поводу, выдвинутому самим Берией, потому что Сталин ему не доверял. Был применен такой многоходовый (как шахматный) маневр.

На прием к Сталину настойчиво стал проситься министр финансов Зверев. Он уверял — дело серьезное и неотложное. Сталин принял его.

Это был первый ход в задуманной Берией комбинации. Зверев, конечно же, не по своей инициативе пришел к Сталину. Берия не только заставил его, но и снабдил «компроматом» на обслугу и охрану Сталина.

Арсений Григорьевич Зверев более двадцати лет руководил сложнейшим в государстве финансовым делом. Сталин высоко ценил его, доверял ему.

Дело, которым Зверев потревожил Сталина, оказалось несколько неожиданным — он доложил о больших затратах средств на охрану и злоупотреблениях лиц, осуществляющих эту охрану. Сталин, как известно, был очень скромен в своих личных потребностях. Он возмутился, узнав о безобразиях, которые творят те, кому он доверяет. Немедленно приказал — назначить комиссию и разобраться в этих неприглядных делах.

Комиссию создали в составе: Берия, Маленков, Зверев и некоторые другие. Это был второй ход Берии — теперь он держал в руках дальнейшее развитие задуманной комбинации. Вполне естественно, комиссия подтвердила доклад Зверева. Она вскрыла еще ряд крупных не только нарушений, но и преступлений.

Третий ход Берии. Поскольку все это получило огласку, Сталин был вынужден дать согласие на арест Власика, а затем и Поскрёбышева.

И наконец, четвертый ход Лаврентия Павловича в этой коварной операции: Власик и Поскрёбышев оказались на Лубянке. А здесь добавили Власику разглашение государственной тайны и связь со «шпионом» Стенбергом (художником, оформлявшим Красную площадь в дни праздников). Сталин уже не мог спасти Власика при таком серьезном обвинении.

Подстроена утрата секретных документов Поскрёбышевым, который около двадцати лет был преданным секретарем Сталина. Ему на смену поставлен «Человек Берии» — Малин».

Нельзя не согласиться с мнением белорусского исследователя Виктора Балана: «Действовал Берия осторожно, вместе с тем решительно и коварно... Его задачей было сделать Сталина беззащитным. В последний год жизни возле Сталина не было ни одного врача, он не проводил никакого медицинского обследования. К тому же медицинская карта бесследно исчезла при аресте Власика.

Тонкой интригой Берия 15 декабря 1952 года (по другим данным, это произошло в ноябре 1952 года. — *Э. И.*) удалил от Сталина самого близкого и преданного ему человека, служившего генсеку более 20 лет, — его секретаря Поскрёбышева. Он был обвинен в утере важных документов. Поскрёбышев потерял свою огромной важности должность. Это место занял белорусский партизан Малин, человек Берии и Маленкова, их цели в тот момент совпадали. На следующий день на новом (с мая 1952 г.) месте службы на Урале — был арестован генерал госбезопасности Власик. Причина — не упущения по службе, а бытовое разложение(!). После Власика охраной Сталина начал руководить начальник комендатуры Кремля генерал Косынкин. Его срок на этом ответственнейшем посту, как мы это увидим, будет недолгим» (17 февраля 1945 года он внезапно умер, и загадка смерти Косынкина не раскрыта до сих пор. — *Э. И.*).

В 2000 году в Москве вышла книга известного русского поэта и публициста Феликса Чуева «Молотов: Полудержавный властелин». В материале «Вокруг смерти Сталина» он отмечает: «Я был в гостях у Натальи Поскрёбышевой 7 января (1981 года. — *Э. И.*). К ней пришла и дочь Власика Надя. Ее отца, начальника охраны Сталина, арестовали в декабре 1952 года. Когда его забирали, он сказал, что Сталина скоро не станет, намекая на заговор.

— Не он ли был в этом заговоре? — заметил Молотов.

Поскрёбышева сняли за пять дней до смерти Сталина (по другим данным, это произошло в ноябре 1952 года. — *Э. И.*).

Молотов отозвался о нем неодобрительно:

— Поскрёбышев — неприятный человек. Вообще, вокруг смерти Сталина, конечно, не все ясно. Но я-то был отстранен в это время, на что я, конечно, на всю жизнь обижен Сталиным. Чего он меня отстранил? Кого он нашел?»

Пожалуй, самым авторитетным биографом жизни и деятельности И. В. Сталина был «двойной» доктор — доктор исторических и доктор философских наук, генерал-полковник Дмитрий Волкогонов. В своей книге «Триумф и трагедия» он подчеркивал: «…Стряхнув воспоминания, Сталин повернулся на шаги вошедшего. Но это не была привычная фигура Поскрёбышева, которого в ноябре 1952 года по настоянию Берии Сталин согласился, наконец, отстранить от работы, как позже и Власика. Вчера Берия, который становился ему день ото дня все подозрительнее, что-то говорил насчет того, что «возможно, Поскрёбышев связан с делом врачей, и его придется проверить». Пусть «проверяет»….

Сделаю еще одно отступление. Я уже сказал, что незадолго до своей смерти Сталин после долгих нашептываний Берии согласился на устранение своих двух самых верных помощников — А. Н. Поскрёбышева и Н. С. Власика. В конце жизни Сталин не верил никому. Да, никому. Не верил и Берии, но не мог не поддаться, когда тот долго и настойчиво компрометировал Поскрёбышева и Власика, проработавших около него более двух десятков лет…

Но вернемся к нашему повествованию.

…На пороге вместо Поскрёбышева стоял новый порученец с папкой бумаг. Поскрёбышева заменить было трудно. И Сталин уже три месяца не мог сделать окончательного выбора — кто станет таким же оруженосцем, как опальный помощник?

Кивнув головой на стол, куда В. Н. Малин положил папку с документами, подготовленную в секретариате «вождя» (за ним наблюдал по его поручению сейчас Маленков), Сталин, не отвечая на приветствие, бросил:

— Пусть мне позвонит Маленков.

— Будет исполнено, товарищ Сталин!

Через две-три минуты в трубке звучал голос его фаворита, исторгающий наивысшую готовность выполнить любую волю «хозяина».

— Вечером я схожу в Большой… Проследите. Бумаг больше не присылайте, а завтра вечером вы, Хрущев, Берия, — помолчав, добавил: — и Булганин… приезжайте ко мне.

— Хорошо, товарищ Сталин! Все прослежу, рассмотрю документы, передам Ваше распоряжение казанным товарищам… Все будет сделано!» (Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. // Политический портрет И. В. Сталина.

Многие читатели могут спросить: «Когда это произошло?»

Ответ на это вопрос мы найдем в статье известного российского историка, академика РАН А. А. Фурсенко «Конец эры Сталина». В ней есть такие строки: «Последний раз его (Сталина. — *Э. И.*) соратники по Политбюро были приглашены на очередную трапезу-заседание на «ближнюю» дачу Сталина 28 февраля (1953 года. — *Э. И.*).

Накануне Сталин посетил Большой театр и из глубины ложи смотрел «Лебединое озеро». Он уже отдал распоряжение В. Н. Малину, занявшему место арестованного порученца А. Н. Поскрёбышева, чтобы ему позвонил Маленков, которому он приказал прибыть вечером 28 февраля на дачу вместе с Хрущевым, Берией и Булганиным. По версии Хрущева, вечер прошел весело, Сталин был в хорошем настроении, много пил, был пьян. Участники встречи разъезжались по домам в 5—6 утра 1 марта».

Таким образом, начиная с ноября 1952 года до смерти Сталина функции А. Н. Поскрёбышева выполнял В. Н. Малин, который формально именовался «инспектором ЦК КПСС». В то время Владимир Никифорович неоднократно встречался с членом Президиума ЦК КПСС, членом Президиума Верховного Совета СССР, заместителем Председателя Совета Министров СССР Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Есть основания полагать, что они тепло вспоминали совместную работу в Центральном Комитете Компартии Белоруссии и в Центральном штабе партизанского движения.

С января 1954 года по июль 1965-го (по другим данным, по сентябрь 1965-го. — *Э. И.*) года Владимир Малин работал заведующим Общим отделом ЦК КПСС, управляющим делами ЦК КПСС.

Многие неправленые партийные документы хранятся в архивах Российской Федерации благодаря протокольным записям Владимира Никифоровича. В качестве примера можно привести неправленую стенограмму июльского Пленума ЦК КПСС (11 июля 1964 г.), рабочую протокольную запись В. Н. Малина заседания Президиума ЦК КПСС, которое проходило 17 сентября 1964 года. Данной записью Владимир Никифорович зафиксировал критику Н. С. Хрущевым

действующего состава Президиума ЦК КПСС и его известное предложение о необходимости введения в верхнем эшелоне власти ротации кадров. Это предложение активизировало подготовку заговора против первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР.

Во время октябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС Л. И. Брежнев сильно волновался. Да и вообще в зале ощущалась нервозность и, пожалуй, страх. Заседание нельзя было назвать обычным. Члены Президиума ЦК собрались, чтобы осуществить давний замысел — избавиться от Хрущева.

Бесконечные закулисные переговоры шли многие месяцы. Но 12 октября 1964 года собрались не таясь, официально. Заведующий общим отделом ЦК Владимир Никифорович Малин, как обычно, на небольших карточках записывал главные тезисы выступлений. Пожалуй, именно присутствие Малина более всего свидетельствовало о том, что дни Хрущева сочтены. Владимир Никифорович десять лет заведовал общим отделом ЦК КПСС и считался его создателем.

С сентября 1965-го по ноябрь1970 года он работал ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС.

С ноября 1970 года В. Н. Малин был персональным пенсионером союзного значения.

Он умер 30 января 1982 года — на 76-м году жизни.

В. Н. Малин был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС (1956—1966), членом ЦК КП(б)Б (1938—1949), членом бюро ЦК КП(б)Б (1938—1947), депутатом Верховного Совета СССР (1946—1950, 1958—1966), депутатом Верховного Совета БССР (1938—1951), председателем Бюджетной комиссии и Комиссии по иностранным делам Верховного Совета БССР, членом Бюджетной комиссии Совета союза Верховного Совета СССР второго созыва..

Он был награжден пятью орденами: двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, многими медалями, в том числе «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Москвы».

В. Н. Малин — автор многих работ по теории и истории партии.

История жизни и деятельности Владимира Малина на белорусской земле в 1937—1947 годах — это составная часть истории Компартии Беларуси и истории БССР.

Вся жизнь и деятельность этого неординарного партийного деятеля и человека, активного участника Великой Отечественной войны, одного из организаторов и руководителей партизанского движения и партийного подполья на оккупированной территории СССР — это составная часть истории КПСС и Советского Союза.



*Искусство суждения*

Александр БЕРЁЗКО

# «Vixi» Алеся Адамовича: исповедь на пороге События



*Алесь Адамович*

В истории литературы распространена ситуация, когда писатель ассоциируется главным образом с тем или иным его произведением. В ряде случаев подобная оценка творческой деятельности автора является объективной и справедливой. На фоне одного великого произведения все остальное безальтернативно меркнет. Так, например, «Божественная комедия» или «Люди на болоте» стали такими вершинами в творчестве Данте Алигьери и Ивана Мележа, к которым в последующем приблизиться они так и не смогли.

Выбор подобной заветной книги в творчестве писателей, талант которых распределился более равномерно (например, А. Пушкин, О. Бальзак, Я. Колас), сопряжен с гораздо большими трудностями. Предпочтения писателя и читающей публики далеко не всегда совпадают. Показательным примером в этой связи может служить творчество М. Лынькова, который считал своей главной книгой роман-эпопею «Незабываемые дни», но в памяти большинства он остался автором повестей «Миколка-паровоз» и «Про смелого вояку Мишку и его славных товарищей».

В творчестве прозаика, критика, литературоведа, общественного деятеля Алеся Михайловича Адамовича выделить такое одно, особенное, заветное, заметное на фоне других произведение, на первый взгляд, вряд ли представляется возможным. Как известно, каждая книга писателя по-своему ему дорога и важна. У А. Адамовича не было периода «ученичества», периода подражательности. Дилогия «Партизаны» (1963), повести «Асия» (1966) и «Последний отпуск» (1969), «Хатынская повесть» (1971), документальная трагедия «Я из огненной деревни…» (1977; совместно с Я. Брылем и В. Колесником), «Блокадная книга» (1979—1981; совместно с Д. Граниным), повесть «Каратели» (1981) — каждое из этих и последующих произведений свидетельствовало не только о росте писательского мастерства автора, но и намечало магистральные пути развития литературы в целом, на которые ориентировалось не одно поколение художников слова. А. Адамович не оставил нам прямого указания, которое свидетельствовало бы о его личном выборе главной книги своего творчества. Однако ряд биографических фактов позволяют предположить, что в таком качестве следует рассматривать его итоговое произведение «Vixi» («Прожито») (1993—1994).

А. Адамович полагал: «Когда написана повесть — как отрезана. Но пока не напечатана — не перевязаны, не зажаты, кровоточат все время сосуды». В отличие от иных произведений, книга «Vixi» оставалась для автора тем «сосудом»,

который «кровоточил» до последних дней его жизни. Обзор жизни и творчества А. Адамовича негласно принято завершать констатацией факта: последним произведением писателя стала документальная повесть «Путешествие из Минска в Москву и обратно», опубликованная в 1994 году в журнале «Нёман». Так, например, М. Тычина на страницах четырехтомной академической «Истории белорусской литературы XX века» отмечал: «За две недели до смерти писатель побывал в редакции журнала «Нёман» и сдал в печать документальную повесть, напечатанную уже после его смерти, которая случилась 26 января 1994 г.». Однако незаслуженно забытыми остались сведения о том, что после публикации «Vixi» в журналах «Дружба народов», «Полымя» и «Нёман» А. Адамович продолжил работу над этой книгой. Ее итогом стало создание двух дополнительных глав, получивших название «Сидели мы на крыше…» и «Единственная моя жизнь…». За восемь дней до своей смерти А. Адамович принес их в редакцию журнала «Дружба народов», на страницах которого они и были опубликованы с пометой «Vixi-2». «…На столе остались исписанные листы. Он и в то утро работал. Встанет обычно в пять-шесть: пишет», — так описывает день смерти писателя И. Ришина. Возможно, это были последние, недописанные страницы его итоговой книги.

Еще одним свидетельством особого отношения А. Адамовича к своей итоговой книге является тот факт, что из всего творческого наследия писателя именно журнальный вариант «Vixi» как наиболее дорогую вещь наряду с ручкой и очками, по свидетельству О. Егоровой, родственники «положили… в гроб» во время прощания с писателем. Случайность? Вряд ли. Похороны — время и место исполнения последних желаний умершего…

Несмотря на особое место, которое данное произведение занимает в творчестве А. Адамовича, «Vixi» до настоящего времени не стало предметом специального литературоведческого изучения. Анализ критической литературы, посвященной осмыслению наследия А. Адамовича, позволяет говорить о наличии определенной тенденции, сложившейся вокруг данной книги. О ней принято говорить вскользь, обращаться лишь как к биографическому источнику, удобному для подтверждения тех или иных мыслей исследователя. В конечном итоге изучение «Vixi» в большинстве случаев сводится лишь к констатации факта наличия такого произведения в позднем творчестве А. Адамовича. Риторический вопрос, с горечью и недоумением заданный А. Станютой применительно к данной книге еще в 2000 году, остается актуальным и в наши дни: «Разве все так уже глубоко вчитались, вслушались в нее?»

Замысел книги «Vixi» возник у А. Адамовича спонтанно, в силу исключительных жизненных обстоятельств. В ночь с 20 на 21 декабря 1991 года он перенес обширный инфаркт. Болезнь, едва в одночасье не оборвавшая жизнь, оставила ему время лишь на подведение окончательных итогов: «Vixi — прожито. Удар колокола, и все перестраивается, взгляд назад, взгляд вперед, понять, где ты, где застало тебя, на каком отрезке — от начала, от конца». Адамович-публицист, общественный деятель на последнем витке своей жизни возвращается в литературу. Тяжелое физическое состояние ускорило воплощение возникшего замысла: «На экране японского аппарата «Эхо» — разрез моего Сердца, на плывущем фоне дразнящийся язычок клапана. Вот где твои часы. Завод кончится и…». Своего завершения ожидали и еще недописанные повести «Немой» и «Венера, или Как я был крепостным». Дыхание смерти заставляло автора торопиться, быть экономным, писать лишь о самом главном: «Пишу — итоговые разделы, на завершенный роман-исповедь не решаюсь. Не знаю, что там, на небе, решено относительно меня».

По-разному ведут себя писатели в данной ситуации. Так, книгу Б. Акунина «Кладбищенские истории» предваряет следующее авторское признание: «Я писал эту книгу долго, по одному-два кусочка в год. Не такая это тема, чтобы суетиться, да и потом было ощущение, что это не просто книга, а некий путь, который

мне нужно пройти, и тут вприпрыжку скакать негоже — можно с разбегу пропустить поворот и сбиться с дороги. Иногда я чувствовал, что пора остановиться, дождаться следующего сигнала, зовущего дальше». Такого долгого прощания с жизнью А. Адамович позволить себе не мог: «Пишу, спешу закончить «Немого». Видел часы и спешу». К работе над итоговой книгой он приступил в декабре 1992 года, а уже 25 мая 1993 года, как тогда казалось автору, в рукописи была поставлена финальная точка. Исповедь А. Адамович сопроводил выразительным подзаголовком — «Законченные главы незавершенной книги».

Название итогового произведения — «Vixi» — автору навеяла мысль, заимствованная у известных философов смерти Сенеки, Плутарха, М. Монтеня. В последний год жизни «Опыты» французского мыслителя стали настольной книгой А. Адамовича, с помощью которой он стремился выработать в себе правильное отношение к смерти. «Он что-то «отбирает» из собственного опыта, другое сверяет — по привычке литературоведа — с лежащими перед ним «Опытами» Монтеня…», — отмечает исследователь А. Рубашкин. Неудивительно поэтому, что фрагмент исповеди, в котором писатель разъясняет смысл ее заглавия, несмотря на авторское указание «Из Плутарха», практически дословно повторяет наблюдение философа XVI века:

***«“Они прожили”. Так выражались римляне о людях, когда не хотели произносить зловещих слов».***

А. Адамович. «Vixi»

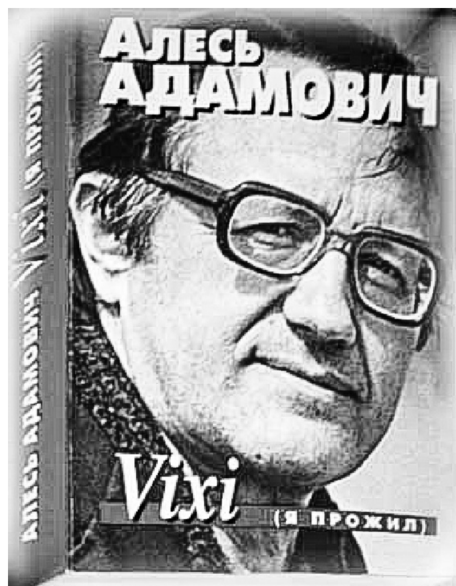
***«Так как слог, обозначавший на языке римлян «смерть», слишком резок для слуха и в его акустике им слышалось нечто зловещее, они научились либо избегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того чтобы сказать «он закончил путь», они говорили «он перестал жить» или «он отжил свое». Поскольку здесь упоминается жизнь, это приносило им известное утешение».***

М. Монтень. «Опыты»

Как свидетельствуют сотрудники редакции журнала «Дружба народов», «в свое время Адамович не захотел дать точный перевод названия “Vixi” — “Я прожил”». За этой принципиальной позицией автора просматривается его явное желание сохранить отсылку своей книги к полюбившейся мысли из энциклопедии общечеловеческих мудростей М. Монтеня. Реминисценция высвечивала центральную идею «Vixi» о наличии тесной взаимосвязи, существующей между жизнью и смертью. Осознанное, тщательно продуманное автором заглавие книги помогает пролить свет и на ее жанровое своеобразие.

Специфика жанровой природы «Vixi» относится к числу все еще не решенных научных вопросов. Жанр этого произведения определяется исследователями по-разному: «автобиографическая повесть» (А. Кудравец, М. Тычина, В. Стрельцова), «писательская автобиография» (М. Тычина), «повесть-тестамент» (М. Тычина). «Только первые свои вещи я называл уверенно романом, повестью. Чем дальше, тем «индивидуальнее», что ли, мои жанры, то, чем занимаюсь я сам или с соавторами: «жизнеописание», а если «повесть», «пастораль», то в само название хочется вогнать — Хатынская (повесть), Последняя (пастораль)», — объяснял А. Адамович. Прямое авторское указание на предсмертный характер своего произведения обернулось литературоведческой проблемой.

Основополагающим критерием в решении данной проблемы представляется мнение самого А. Адамовича, который считал «Vixi» «романом-исповедью». Исповедальное начало как жанрообразующую черту произведения А. Адамовича отмечали многие исследователи. Так, А. Станюта, завершая рассмотрение творческого пути писателя, пришел к следующему выводу: «А потом пришло время и его последней книги — “Vixi” («Прожито») — его исповеди». Аналогичной точки зрения придерживается и А. Семенова: «А. Адамович спешил высказать свою, собственную исповедь…». В. Стрельцова, обозначив в начале своего исследования «Vixi» как автобиографическую повесть, в дальнейшем вынуждена




была признать: «Начиная произведение как «репортаж из больничной кровати», писатель понимает, что болезнь торопит его расчеты с жизнью и фактически превращает свое произведение в гражданский ритуал светской исповеди». Наконец, Д. Гранин однозначно предлагает интерпретировать жанр «Vixi» как исповедь: «Я лишь могу по “Vixi” и по недописанной части этой исповеди судить о дороге к пронзительной исповеди, по которой шел Адамович».

Появление книги «Vixi» является закономерным итогом творческих исканий А. Адамовича. С первых шагов в литературе он отдавал предпочтение автобиографическому материалу: «Записал я себя в своей … дилогии [«Партизаны»] столь же «дословно» и тщательно, как потом мы записывали рассказы белорусских и ленинградских женщин». К своим первоначальным эстетическим предпочтениям писатель вернется к концу жизни. Оказавшись у последней черты, теоретик и практик так называемой «сверхлитературы» вновь обращается к автобиографической прозе, в которой заметно усилилось исповедальное начало. Так, например, повесть «Венера, или Как я был крепостным» автор выстраивает в форме исповеди безымянного главного героя, еще скрываясь за вымышленным литературным персонажем. Как отмечает М. Тычина, «повесть “Венера” в жанровом отношении является произведением-покаянием, в котором показывается процесс “расчета с прошлым”». Максимальной степени самораскрытия А. Адамович достиг в своей последней книге “Vixi”. Новаторский характер этого произведения в творчестве писателя был отмечен Л. Лазаревым: «… Последняя, оставшаяся незавершенной книга Адамовича “Vixi”… никакого отношения к “сверхлитературе” не имеет — это чистой воды автобиографическая, исповедальная проза».

Чтение «Записных книжек» А. Адамовича наводит на мысль о неизбежности создания им собственной исповеди. Из года в год автор возвращается к осмыслению этой таинственной жанровой формы в литературе: «В чел[овеке] есть что-то, что лишь он сам может открыть в себе в акте самопознания»; «Как это там у Чехова, в «Скучной истории»: «Я старый профессор и т. п.»? Меня всегда интересовало, кому это человек говорит, когда вот так связно рассказывает ист[орию] своей жизни. Себе? Так зачем так подробно, и разве можно так последовательно и логично? Другому, кому-то воображаемому? Или и себе, и другому, подводя, т. ск., итог и в поучение»; «Начать (основной текст) с «я». И не бояться **свою** жизнь (своеобразная «Исповедь») пересмотреть глазами своего героя» и др. Каждая из таких записей представляет собой размышление писателя об основных чертах поэтики исповедальной прозы. Возникает ощущение проникновения в творческую лабораторию А. Адамовича в моменты, когда определяются контуры будущей книги.

В своих записях автор довольно часто обращается к мыслям Л. Толстого, одного из крупнейших представителей исповедальной прозы в русской литературе. Если попытаться определить круг писателей, оказавших влияние на творчество А. Адамовича, то перекличка именно с этим классиком выглядит наиболее очевидной. Творческие принципы Л. Толстого он оценивает как незыблемые ориентиры, которых необходимо придерживаться каждому художнику слова. Цитаты из дневника писателя XIX века, которые А. Адамович приводит в своих работах, демонстрируют созвучие творческих устремлений авторов: «Искренность, по

Толстому, есть тот рубеж, который разделяет искусство и «не-искусство»»; «Главная цель искусства… высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простыми словами». Именно в исключительной «степени искренности самовыражения и отображения мира в себе» он видит одну из загадок Л. Толстого, придающей ему величие и неповторимость. Фундаментальное осмысление толстовской концепции искусство в конечном итоге найдет свое отражение в таких литературоведческих исследованиях А. Адамовича, как «Толстовский шаг» и «Необходимость Толстого».

Здесь же, на страницах «Записных книжек», А. Адамович размышляет об опасностях, подстерегающих авторов исповедальной прозы. «“Алмазный мой венец” Катаева — воистину запоздалый (и злой) вопль отчаяния (и недоброты) человека, к-ый растратил себя, приобретая “блага” официальные, а за это время те, с кем начинал или был знаком, ушли путем литературы далеко в бессмертие… Отвратительно! Тот случай, когда и талантливое читается с отвращением», — запишет он в 1978 году, отмечая для себя необходимость наличия в исповеди высокого нравственного начала.

«Записные книжки» А. Адамовича, сохранившие дыхание времени, непосредственные эмоции, переживания и сомнения автора, сыграли важную роль в написании книги «Vixi». Записи о ключевых событиях своей жизни (смерть матери, размышления о смысле жизни накануне смерти) А. Адамович включил в итоговую книгу практически в первозданном виде, внеся лишь незначительные уточнения. Документальные свидетельства, «голые» факты, лишенные авторских комментариев, обладают особой эмоциональной силой воздействия на читателя. Привнося в книгу ощущение подлинности, «живого» слова, они усиливают градус исповедальности книги. Другие, короткие записи, сделанные в разные годы для себя, для внутреннего пользования, становятся при работе над «Vixi» источником глубоких, развернутых размышлений, позволяя вызвать в себе некогда пережитое и тем самым восстановить историю души автора.

Незадолго до смерти в частной беседе с редактором журнала «Нёман» А. Кудравцом А. Адамович произнес слова, которые, на наш взгляд, могли бы стать эпиграфом к его итоговой книге «Vixi»: «Приходит время, когда об этом и думаешь, и говоришь спокойно. Я уже побывал *там*, мне не страшно». Эти слова являются той исходной точкой, отталкиваясь от которой, необходимо воспринимать данное произведение. Только в этом случае читатель сможет осознать уникальность книги А. Адамовича, уйти от упрощенного взгляда на нее как одного из образцов исповедальной прозы в европейской литературе, увидеть в ней нечто большее, чем традиционное подведение жизненных итогов человека на пороге небытия.

В середине 40-х годов XX века К. Мочульский, отмечая своеобразие авторской позиции Н. Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями», писал: «Гоголь увидел мир sub specie mortis». А. Адамович, продолжая традицию известного предшественника, оценивает события своей жизни с позиции уже прожившего отведенный ему временной отрезок человека, в результате чего авторское слово приобретает звучание голоса с того света.

Задаче формирования такого восприятия книги подчинены основные элементы ее поэтики. Тема смерти звучит уже на уровне рамочных компонентов, окружающих основное произведение. Помимо красноречивого заглавия и выразительного подзаголовка в качестве эпиграфа к нему А. Адамович использует строчку из известного стихотворения А. Ахматовой «Но я предупреждаю вас…»: «…я живу последний раз». Отсылка к стихотворению русской поэтессы, в котором с удивительной силой передана трагедия человека, прощающегося с жизнью, перенесшего гибель самых близких ему людей, должна была сообщить читателю о главной теме произведения, сформировать у него соответствующее эмоциональное настроение. В этом стремлении писателя просматривается подспудное влияние идей Л. Толстого и его понимания сущности искусства: «Искусство — есть деятельность челове-

ческая, которая заключается в том, что один человек сознательно определенными внешними знаками передает другим чувства, которые он испытывает, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

В составе произведений исповедальной прозы традиционно важнейшую роль играет предисловие. С его помощью автор заключает с воображаемым адресатом повествования так называемое «автобиографическое соглашение» (понятие предложено французским исследователем Ф. Леженом), в котором поясняет ему намерения своей книги. Авторское предисловие к «Vixi», озаглавленное как «Для разбега», призвано было подчеркнуть итоговый характер произведения: «На днях хирургу, покушающемуся на мое бренное тело во имя того, чтобы продлить его существование еще лет на 5—10, я ответил: 5 или 10 под вопросом для меня куда менее важны (нужны), чем один год, но без такого риска: еще несколько законченных глав незавершенной книги все же сработаю». О том, что исповедь писателя могла оборваться на полуслове, свидетельствует тот факт, что после каждого завершенного фрагмента книги А. Адамович указывал точную дату его написания. Две записи, составляющие предисловие к книге, являются показателем беспощадной авторской откровенности, лишенной и намека на лукавство. В них — объективная констатация близости смерти, без надежд на спасение, без упований на горькую судьбу, без воплей отчаяния в надежде искусственно повысить интерес к своей книге.

Необходимо подчеркнуть, что минимальная забота автора о читателе является отличительной чертой поэтики книги «Vixi» в целом. А. Адамович отказывается от явного обращения к своему воображаемому читателю, молчаливо присутствующему в пространстве текста, освобождаясь от необходимости предчувствовать и прогнозировать его возможные реакции. Тем самым белорусский писатель сознательно отходит от значимого в истории исповедальной прозы опыта Ж.-Ж. Руссо, предполагающего постоянную коммуникацию автора с читателем на страницах книги.

Еще большая дистанция (и не только хронологическая) отделяет произведение А. Адамовича от «Исповеди» основоположника данной жанровой модификации в литературе Августина Аврелия. События своей жизни он оценивает с позиции светского человека, воспитанного в условиях атеистического общества. Оставаясь искренним во всем, А. Адамович не пытается строить свою исповедь по примеру классических образцов, понимая, что под пером одного из «крещеных нехристей», как определял сам писатель представителей своего поколения, она будет звучать фальшиво, неестественно. Традиционная для исповедальной прозы модель взаимоотношений между автором и читателем претерпевает в «Vixi» существенную трансформацию. А. Адамович исповедуется не перед Богом, а перед самим собой: «Ну а у меня — старое, как мир: разговор с собственным сердцем». При этом сам вопрос отношения писателя к религии далеко неоднозначен.

Незадолго до смерти А. Адамович оставил запись, которая, казалось бы, окончательно объясняет его позицию по вопросам веры: «Я земной материалист до скуки». Однако текст «Vixi» обнаруживает несколько эпизодов, которые наглядно демонстрируют, как данное теоретическое заявление писателя вступает в противоречие с его духовными устремлениями. А. Адамович избегает прямого разговора на эту глубоко интимную для каждого человека тему, но каждая строчка его итоговой книги наполнена осознанием значимости христианских этических ценностей для нравственного развития человечества. Пережитое приводит автора к убеждению, что в его жизни наступил тот момент, когда начинаешь понимать «пределы нашей лит[ературы] и цену той, к[отор]ую наз[вали] Великой Книгой».

На страницах исповеди заметно, что с раннего детства и до последних дней жизни А. Адамович, возможно, боясь признаться в этом даже самому себе, искал свой путь к Храму. Начинается он с неосознанного детского любопытства.

Держа в руках маленькую иконку, украденную у бабушки, будущий писатель «становился на колени… и крестился, крестился, глядя на Божью Матерь с ребеночком, бил поклоны», завороженный смертельным страхом быть застигнутым врасплох. И уже совсем по-иному воспринимается финальный эпизод исповеди, содержащий описание момента его истинной встречи с Богом. Своей таинственностью он органично вписывается в сложившуюся в исповедальной прозе шестнадцативековую традицию изложения обращения человека к Господу. Во время службы сорокового дня по умершему брату Жене А. Адамович «впервые в жизни несколько раз перекрестился — следом за отцом Евгением». Обстановка в полуразрушенной церкви шестнадцатого века («голый кирпич, подтеки и зелень, мох в алтаре») производит на сокрушенное сердце писателя мистическое воздействие, подобное тому, которое некогда испытал Августин Аврелий в медиоланском саду, услышав детский голос, передающий ему божественное веление открыть Евангелие: «После этого текста сердце мое залил свет и покой; исчез страх моих сомнений».

Тема смерти, являясь доминирующей в «Vixi» А. Адамовича, достигает своей максимальной концентрации в первом разделе книги. Уже сам характер заглавия — «Из-под капельницы» — подчеркивает его особую роль в композиции произведения. По силе эмоционального воздействия на читателя это авторское решение сопоставимо с тем неожиданным поступком, на который Н. Гоголь решился в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Книга, построенная в форме писем к реальным и вымышленным адресатам, открывалась «Завещанием» писателя. В «Vixi» А. Адамович цитирует выписку из медицинской карты: «ИБС, острый трансмуральный инфаркт миокарда в передне-септальной, боковой и верхушечной области ЛЖ с развитием хронической аневризмы». Медицинский диагноз человека, как и его завещание, представляют собой тексты, относящиеся к области смерти. Включение в художественное произведение подобного рода интимных, личных документов, которые содержат скрываемую от посторонних глаз информацию, — это всегда рискованный писательский эксперимент. Для такого «самообнажения» в литературе у писателя должны быть особые, весомые причины, иначе оно превращается в лицедейство.

Открывающее книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» «Завещание» призвано было стать зримым свидетельством отказа Н. Гоголя от своего прежнего творчества, перехода к новой эстетической системе. «…Книга моя разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга», — указывал автор в письме к П. Плетневу. Острое переживание метафизического страха смерти, повлекшее за собой глубочайший душевный кризис, приводит писателя к новому, религиозному пониманию художественного творчества. Однако использование завещания (подлинность которого ни у кого не вызывала сомнений) в «Выбранных местах…» было воспринято как неудачный литературный прием, что и предопределило неприятие книги большинством современников. Общую точку зрения на смелый эксперимент Н. Гоголя выразил П. Вяземский: «Иному в этой книге, как, например, завещанию, не следовало бы войти в состав ее. Что разрешается мертвому, то может быть превратно перетолковано в живом». Произошло обесценивание завещания как сакрального документа, превращение его в фикцию, которая нужна была автору для решения сугубо литературной задачи.

Подобные обвинения по отношению к «Vixi» вряд ли уместны. Выписка из медицинской карты, содержащая точные сведения о главном событии в жизни писателя, является органичной составной частью структуры произведения, усиливающей его внутреннюю художественность. Пребывание на границе жизни и смерти освобождало А. Адамовича от необходимости неукоснительно следовать негласным правилам литературного этикета и тем самым снимало извечный вопрос о допустимой мере авторского самораскрытия в исповедальной прозе.

В отличие от Н. Гоголя, смерть для А. Адамовича была уже не затаенным

предчувствием, таящимся в душевных недрах, а достоверным фактом его земного существования, от которого уже некуда бежать. Книга «Vixi» создается писателем, убежденным в своей скорой смерти, которой собственными глазами видел «ниточку, на которой висишь, держишься из последних сил своего миокарда». Близость к смерти задает новую систему координат, позволяет автору иначе смотреть на события своей жизни. Традиционное для исповеди отражение кардинальных изменений в мировоззрении писателя, что становится следствием покаянной тональности автора (покаяние — с греческого metanoia — `изменение ума`), усиливается в «Vixi» переживаемым околосмертельным опытом. Текст исповеди становится отражением измененного сознания А. Адамовича, ощущающего дыхание смерти: «Я не собираюсь предпринимать безнадежную в литературе попытку — еще раз использовать отработанный, остывший пар. Переписывать свои первые романы заново. <…> Нет, цель у меня и задача иная. Взглянуть на многое (и на самого автора романов) из такого будущего, где уже виден край жизни». Таким образом, авторскую позицию А. Адамовича в «Vixi» можно обозначить как слово перед лицом смерти, или, еще точнее, после смерти.

В пользу подобного авторского мировидения свидетельствовал и сам А. Адамович, который призывал воспринимать свою исповедь как «истории о жизни после смерти. Life after life. Рассказанные людьми, побывавшими в состоянии клинической смерти». Право на организацию повествования как посмертного слова А. Адамовичу предоставлял пережитый им индивидуальный, исключительный «опыт отлета неизвестно куда». Земное существование писателя было наполнено событиями, которые заставляли его не раз балансировать между жизнью и смертью. «Странные вещи происходили с моей душой или моим «организмом», и не один раз: вдруг переставал слышать внешний мир при вроде бы нормальном слухе, притом настолько отключался, что хоть ты трактором на меня наезжай, хоть дверь взламывай или окно разбей — разбудить меня невозможно. И лишь внезапная тишина после грохота и стука возвращала меня к самому себе. Все так и было, буквально…», — признавался А. Адамович.

Эффект «оставленности» земной жизни, свершившегося (пока только в сознании автора) перехода из Вечности в Вечность усиливают глагольные формы прошедшего времени, которыми наполнены страницы произведения А. Адамовича: «Кроме того, видно, я из тех, кто себя не очень высоко оценивал»; «Дано тебе было свое отлюбить и свое отненавидеть» и т. д. Такую же авторскую позицию изберет в начале XXI века Р. Киреев в своей исповеди «Пятьдесят лет в раю»: «Звонили и продолжают звонить мои собственные дочери. <…> Правда, разговаривают они в основном с матерью, а я слушаю по параллельному телефону, и у меня чувство, что я слушаю их уже *оттуда*. И мне радостно, что слушаю, мне комфортно… Комфортно, что не надо самому говорить — хватит, отговорил. С некоторых пор — и чем дальше, тем настойчивей, — меня преследует чувство, что не по размеру выдана мне жизнь».

В памяти А. Адамовича воскресают многочисленные ситуации, когда он отчетливо ощущал дыхание смерти. С высоты прожитых лет он видит в них знаки судьбы, смысл которых открылся ему спустя многие годы: «Пули почему-то возле головы вились: и в первой ситуации (на посту возле Незнании), и в засаде возле Устерхов, когда чиркнуло по черепу, — “кто-то” еще гадал-прикидывал: а может, убрать его? Решил оставить». Каждая такая встреча приобретает сейчас для писателя символический смысл: «Была “репетиция” в академической гостинице лет 8 тому назад: быстро поднялся, чтобы пойти в туалет, и… нашел себя на полу с вывернутым пальцем и разбитым лбом». Мысль, выписанная из произведения А. Герцена, помогает А. Адамовичу убедиться в уникальности своего жизненного опыта: «Отец Герцена: «Вот мне 76 лет, а я в первый раз умираю». Я не скажу так. Это уже третий (раз), когда я знал (что вот она, смерть!). Да нет, в войну было не менее пяти случаев, когда (до смерти) не 4 шага, а полшага было. Значит, в 7-й, 8-й раз».

А. Адамович ощущает себя игрушкой в руках судьбы. Смерть словно выбра-

ла его в качестве своего избранника, после чего неустанно напоминает ему о приближении долгожданной встречи, посылая знаки особого внимания: «Упрямо влетает синичка (вот уже 4-й раз за 15 минут) в мою комнату. И к моей кровати все, хотя остатки обеда на столике в другом конце комнаты. Ну, что хочешь мне сообщить? Что ждут меня где-то там? Знаю и без тебя».

В свое время Франсуа де Ларошфуко оставил потомкам наставление: «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор». Трагическую судьбу А. Адамовича можно рассматривать как своего рода наказание за неуслышанное предостережение. Смерть преследовала писателя за его назойливое внимание к себе.

Кажется, о смерти А. Адамович думал всегда. Она постоянно присутствовала на страницах как его документально-художественных книг, так и записных книжек. Вся его жизнь проходила в ожидании этого события. «Вдруг поймал себя на чувстве: живу, как тогда, в 43-м — тревожное, но бодрящее ощущение постоянной и близкой смерти», — запишет автор в далеком 1976 году. В этих словах угадываются последствия напряженной работы над книгой «Я из огненной деревни», в процессе создания которой он выступил в роли своеобразного собирателя историй о смерти, записанных со слов очевидцев, выживших в годы Великой Отечественной войны, «*как бы живущего после смерти*». Записи разных лет позволяют проследить, как менялось отношение писателя к смерти. Сильнейшее чувство тревоги постепенно уступает место чувству смирения перед ее неизбежностью: «А вообще-то, на душе муторно, а сны еще такие, и действительно хорошо, что у индивидуальной жизни есть конец, а мой так, наверное, и близко».

Секретами древнейшего «искусства умирать» («ars moriendi») дано овладеть далеко не каждому человеку. «Vixi» демонстрирует приобретенный годами мучительных размышлений опыт принятия человеком смерти, которая на ее страницах воспринимается как неотъемлемая, сознательно принятая часть жизни: «Смертны — в этом оправдание всей нашей жизни». Близость небытия оценивается автором не как вселенское горе, а как данность: «…Бог дал, Бог взял! Спокоен до неприличия. Количественно я еще мог бы что-то сделать, а качественно — вряд ли. <…> Ну что ж, спасибо и за 64 года»; «Что ж скулить? <…> Осуществился, на сколько был запрограммирован, чуть больше, чуть меньше — уже не имеет значения». Безжалостная, обжигающая своей искренностью самооценка писателя, аналогов которой, пожалуй, не отыскать во всей истории исповедальной прозы.

А. Адамовича страшит не смерть как таковая, не мысль о прекращении своего земного существования, а физиологический процесс умирания, зачастую сопряженный со всем тем, что он называет «стыдом смерти»: «Когда-то (собственная) литература (и война) подсказали мне: некрасив человек умирающий!» Всю неприглядность этого процесса писателю довелось увидеть воочию, наблюдая за медленным умиранием от тяжелого неизлечимого заболевания своей матери. «А потому сердце — это спасение. Раз — и вечность», — напишет он, объясняя свои отношения со смертью.

Отличительной особенностью творческого метода А. Адамовича является глубокое, скрупулезное, всестороннее проникновение в суть вопросов, избранных в качестве предмета осмысления на страницах своих художественных произведений. Писатель не мог довольствоваться ролью продолжателя традиций. Даже обращаясь к разработке традиционных для литературы тем, он всегда стремился отыскать в них еще неизведанные аспекты.

«Додумывать до конца» — все творчество А. Адамовича становится наглядным примером самоотверженного служения заявленному теоретическому призыву. Не изменил ему писатель и на страницах своего последнего произведения. Даже на пороге небытия А. Адамович продолжает использовать «преимущества писательской профессии: находить там, где теряешь, казалось бы, все». Личная трагедия становится для него бесценным материалом, дающим возможность

обогатить литературу новым подходом в отражении драматической сложности человеческого существования. Создание «Vixi» — осуществление ранее высказанной парадоксальной, на первый взгляд, мысли: «…для литературы иногда хорошо даже то, что для писателя-человека плохо или даже очень плохо». Отсюда превращение собственной смерти в Событие, когда интимное, личное становится еще и профессиональным.

Не случайно в этой связи появление на страницах «Vixi» фамилии знаменитого русского ученого-физиолога И. П. Павлова, явившего беспрецедентный пример самоотверженного служения во имя науки. Даже собственные ощущения накануне смерти он использовал в качестве материала для своего итогового исследования, диктуя коллегам последние ощущения умирающего человека. «Или не дал тогда великий ученый самый важный урок и всем писателям, — задается вопросом А. Адамович. — Как бы ни била жизнь о все углы, куда бы ни бросала, над какой пропастью ни стоишь, ты — писатель и должен работать. Ведь, пока жив, ничто не может помешать фиксировать, аккумулировать то, что происходит. Даже если «происходит» — как у Павлова — смерть». Поступок русского ученого, который он вспомнил в 1980 году применительно к личности М. Горецкого, становится руководством к действию, творческим кредо во время написания «Vixi». Каждая строчка этой книги представляет собой результат пристального всматривания, изучения автором самого себя. Адамович-писатель исследует Адамовича-человека, выступая в роли первого Павлова в литературе. Телесные и душевные ощущения человека накануне смерти одинаково важны для него.

Писатель наблюдает, как он постепенно приближается к смерти: «Американский фильм: герой бросился догонять… А ты уже не побежишь! А ты уже тот и то — нет. Это и есть стареть, умирать?»; «…Смотришь, как на марсиан, на всех могущих бежать, плясать, по лестнице подниматься».

Значительные изменения происходят и в его внутреннем мире: «…Что-то я стал сентиментальнее за эти дни, слезы близко на любое добро (если вдруг на экране), но и смешливее, со стороны кто услышал бы — это что, что за этим?» Многое в себе, в собственных ощущениях остается непонятным даже для самого А. Адамовича: «Странно, вот выхожу в лес (в парк), иду и не так, как в 79-м (тоже после ожидания близкого конца), когда нюхал сучья, ветки по-собачьи, а тут мысли вокруг того, что не ко мне отношение имеет, не прямое — а что там, в статье».

Важнейшую роль в исследовании внутренних переживаний умирающего человека А. Адамович отводит наблюдениям за собственными снами, руководствуясь ранее высказанной мыслью: «Во сне и перед смертью главное в человеке обнажается. В ней — чистоплотность». Полученные результаты абсолютно не совпадают с возлагаемыми на них надеждами. В последние мгновения жизни его подсознание отказывается осмысливать вечные вопросы бытия, вновь и вновь возвращаясь к злободневному, сиюминутному, лишенному экзистенциально-онтологического измерения: «…Странные сны в этом состоянии. Несколько ночей один и тот же: вытягиваю, вытягиваю из полубреда какую-то правду… для кабинета Гайдара. А сегодня почему-то всю ночь развлекался стилистической иронией над фамилией Бурбулиса…»; «Удивительно, но сны совершенно спокойные, не связанные никак со случившимся».

Так исподволь, в тесном переплетении между собой в «Vixi» все отчетливее начинает звучать вторая смысловая составляющая заглавия книги — тема жизни; жизни при наличии опыта смерти. А. Адамович стремится понять смысл своей жизни через понимание смысла собственной смерти. Близость смерти со всей остротой поднимает тщательно скрываемые в тайниках его души «проклятые» вопросы. Собственный жизненный путь обретает для писателя целостность и завершенность. Уже ничего невозможно изменить, но еще остались мгновения, чтобы, отрешившись от суеты, подвести окончательные итоги, признать свои ошибки, обнаружить уникальность своего существования: «Если сон — это

“брат смерти” или репетиция (многие об этом писали, давно), если мысли продвигаются в этом направлении, тогда лермонтовское: “не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так уснуть”, — на полпути к толстовскому: “я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!”».

Подробное описание своей жизни не является для А. Адамовича самоцелью. Писатель пишет о своей жизни, но не собственную биографию. Автор не столько стремится с абсолютной точностью зафиксировать основные вехи своей биографии, сколько выборочно отразить «болевые точки» собственного существования, дающие представление о картине его жизни в целом. В свое итоговое произведение А. Адамович включает события, важные лично для него; события, ставшие этапами его личностного и писательского становления. Книга «Vixi» — это квинтэссенция жизни А. Адамовича, передающая ее уникальность, единичность и неповторимость. Писатель стремится восстановить в памяти и осмыслить ключевые переживания своего существования, высвечивающие его экзистенциальный опыт.

А. Адамович пребывает в состоянии неустанного вопрошания, задавая себе неудобные вопросы, о которых в предыдущей жизни комфортнее было не вспоминать, поскольку они неизбежно сопряжены с тревогами, переживаниями и болью.

В первую очередь писатель стремится отыскать экзистенциальный смысл своей болезни: почему это случилось именно со мной? «Это Бог меня спас. От предательства», — к такому жестокому выводу приходит автор, оценивая случившееся с ним как наказание за желание отправиться в морское путешествие в Азию накануне судьбоносных исторических событий 1991 года: «Благословляю, благодарю свое сердце — за то, что отказалось качать кровь предателя. <…> Мог всю прожитую жизнь изгадить». С такой же беспощадностью А. Адамович оценивает и иные концепты своего экзистенциального опыта.

На страницах итоговой книги А. Адамович значительное место уделяет осмыслению «чуда и загадки любви». Автор пытается отыскать причину, в силу которой в его сознании произошло разделение чувства любви на «чистую» и «низменно-плотскую». «*Я обвиняю тебя, что ты предал свою первую любовь!..* Иван Богослов, изрекая это, имел в виду что-то свое. Но я в тот день, возможно, это услышал — в собственной душе», — напишет А. Адамович, вспоминая и оценивая тот день своей жизни, когда, став невольным свидетелем плотских утех ровесника Генки, он навсегда утратил представление о целомудренности этого чувства. После этого душевного потрясения писателя настойчиво, неотвязно начинает преследовать мысль о самоубийстве: «Совсем не о том вроде думаешь, и тут прозвучит — как бы твой голос, но странно незнакомый: «Повешусь!», «Застрелюсь!». Сидишь, лежишь и думаешь об этом, как это будет. Мечтаешь даже как бы». А. Адамович, безусловно, не мог не знать, что подобные мысли терзали в конце XIX века знаменитого писателя и философа Л. Толстого, измучившегося поисками смысла собственной жизни: «Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни… И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни». Постоянное ощущение присутствия классика русской литературы в своей жизни вызывает у А. Адамовича чувство одновременного восхищения и удивления: «…куда ни сунься, в любой уголок собственной души, в собственную память, а там уже побывал Лев Николаевич, оставил свою “визитную карточку”».

Любовь как физиологический процесс, как сексуальное влечение станет доминирующей темой дополнительных фрагментов книги, опубликованных уже после смерти автора. Описание интимно-личной стороны собственной жизни свидетельствует об усилении в ней исповедального начала. Обращаясь к после-

военным событиям студенческих лет, А. Адамович воскрешает в своей памяти мысли и чувства девятнадцатилетнего юноши, мечтающего о «встрече с Ней», с той идеальной девушкой, которой он адресовал бы следующие сокровенные слова: «Единственная моя жизнь…».

Опыт смерти, возникающий у человека, побывавшего у гроба умершего, — еще одна важная тема итоговой книги А. Адамовича. Глубоко врезавшееся в память впечатление детских лет от «стеариново-прозрачной белизны мертвого тела» самоубийцы позволяет автору зафиксировать тот момент своей жизни, когда смерть «вошла в мое зрение, осталась в сознании (осознанная), когда вскрывали в больничном дворе тело самоубийцы». Уже тогда утробный ужас, свойственный каждому человеку, сочетался в сознании будущего писателя с напряженным всматриванием в себя, стремлением осмыслить это событие: «На всю жизнь осталось во мне: любую смерть видишь как бы глазами матери покойника. Всегда спросишь: а мать у него живая? Только так смерть доходит до сознания вся, как есть» .

Особой составной частью этого опыта для А. Адамовича являются воспоминания о смерти его родственников — отца Михаила Иосифовича, матери Анны Митрофановны, брата Евгения. Утрата каждого из них остро переживалась писателем и обязательно сказывалась на его физическом состоянии. Организм А. Адамовича не выдерживает потрясения от неожиданной смерти отца, реагируя на нее длительной, полугодичной болезнью. После смерти матери писатель оказывается на лечении в профилактории Аксаковщины. Весть о скоропостижной кончине брата застает его в подмосковном санатории.

Страницы «Vixi», отразившие трагедию утраты сыном своей матери, — одни из самых пронзительных во всей книге. В них заметна явная смена тональности. Мысли великих философов, опираясь на которые, А. Адамович примирился с неизбежностью собственной смерти, в данном случае ему не помогают: «Все хорошо, все правильно, все это так. Но отчего повторяешь про себя: слова это все, слова, слова…». Прошедшие годы не принесли облегчения. Воспоминания о смерти самого близкого человека по-прежнему приносят невыносимую боль: «Потому что я всегда помню, как умирала мама. Не о своей, о ее смерти — самая острая память». Спустя четырнадцать лет во время написания «Vixi» А. Адамович решается вновь заглянуть в свои записные книжки за 1979 год, зафиксировавшие главную трагедию его жизни. Писатель словно еще раз переживает эти страшные минуты своей жизни. Фрагменты записных книжек, включенные в состав «Vixi», отражают опыт совместного умирания, при котором физическая смерть одного человека приводит к кардинальным изменениям в мировоззрении другого: «О Господи! Жизнь моя все-таки кончилась там, в апреле, хотя я и вышел из больницы живой».

На пороге смерти писатель переживает острое чувство вины перед теми людьми, без которых не представляет себя: «Что ж не пишешь о том, что никто рядом с тобой не был по-настоящему счастлив? И ты сам тоже. Но все по твоей вине. Тебя любили. А ты? У тебя было еще что-то, оттесняющее их, а у них? Компенсировал “сердечную недостаточность” чем? Своей литературой, делами внешними (эти последние 10 лет), но вот пришло время, и хочется у всех просить прощения. За то, что так трудно им было рядом со мной». С беспощадной суровостью А. Адамович осуждает себя за то, что при жизни матери не успел произнести ей самые нужные и важные слова, за то, что не сумел отблагодарить ее по-настоящему за все то, что она сделала для него. Боль человека самозабвенно фиксируется на бумаге — в надежде очиститься, облегчить душу: «О Господи, все это стоит и не уходит, и не надо, чтобы хоть что-то ушло». Для читателя, малознакомого с биографией А. Адамовича, муки совести автора могут показаться чрезмерными, а следовательно, неестественными, наигранными, ведь в желании поделиться своим горем он порой доходит до исступления: «Я все время ловлю себя на мысли и чувстве о ложном и подлом своем положении: я лечусь

тут (в Аксаковщине), потому что ее нет, я отдыхаю, *спокойно* читаю, пишу, потому что она *уже умерла* и не надо тревожиться, звонить и рваться ехать в Минск». Однако в этом признании нет и доли кокетства, если учесть, какую значительную, определяющую роль в судьбе А. Адамовича сыграла его мама. Как отмечает М. Тычина, «большего морального авторитета, чем мама, Алесь Адамович... не знал в своей жизни».

«Vixi» является книгой запоздалых прозрений А. Адамовича. Долгое время мужество матери в годы Великой Отечественной войны воспринималось им как само собой разумеющееся, как типичное поведение человека в борьбе с безжалостными врагами. Писатель приходит к горестному осознанию того, что даже собственную мать при ее жизни он по-настоящему не узнал, не захотел узнать. Итоговая книга становится попыткой наверстать упущенное. Автор стремится понять логику поступков собственной матери, поставив себя на ее место, выяснить, смог бы он, как мать, не утратить человеческого облика в невыносимых условиях военного времени.

Положение матери на оккупированной территории А. Адамович сравнивает с ситуацией солдат на фронте, которым в окоп подсадили их детей: «На себя, на свою Наташу похожую ситуацию я примерял и не в состоянии был примерить: как вот ее, ребенка, сам толкнул бы в руки мучителей, палачей? Своими действиями, поступками обрек на нечто подобное? Себя готов подставить под любые палки, но ребенок, мой ребенок!..» Осознание собственной слабости формирует у писателя новое представление о нравственном величии собственной матери и одновременно усиливает чувство вины перед ней. Этим объясняются непривычные для читателя авторские признания, в которых собственная смерть не только трагедия, но и момент радости от приближающейся встречи с близкими людьми: «Но как хочется в это поверить: пролетаешь по тоннелю-трубе смертного ужаса и одиночества и вдруг — вырываешься, тебя обнимает неземной свет, встречают, к тебе вернулись те, кого потерял, казалось, навеки. Перед кем всегда испытывал чувство вины, потому что именно ты *отпустил* тех, кого любил. Не все сделал, чтобы удержать». Поэтому такое подчеркнуто внимательное отношение А. Адамовича к выбору места своего захоронения — кладбищу поселка Глуша, рядом с могилами своих родных, своей матери: «Я всегда знал, что буду там, на этом кладбище, что теперь (уже) могу стать и постоять там, где моя Вечность. («Вот тут буду лежать».) Если отсортировать все мои (сохраняющиеся) желания: что-то увидеть, написать и пр. и пр., на первом месте и главное, которое осталось бы: лежать там, в земле родителей, брата, детства и всего, из чего состоял всю живую жизнь».

Именно темой смерти объясняется присутствие в «Vixi» вставного эпизода, повествующего о послевоенной встрече Сталина и Гитлера. Созданный по законам художественного вымысла, он выглядел бы явно неуместным на страницах итоговой книги, если бы не был тесно связан с ее центральной идеей. Находясь у последней черты, А. Адамович вновь возвращается к фигурам двух диктаторов XX века, в надежде закрыть для себя тему, досказать то, о чем в силу идеологических запретов не смог прямо написать в «Карателях», поделиться тем, о чем, прячась от чужих глаз, не раз размышлял в своих записных книжках.

Как известно, роман «Каратели» был опубликован в 1981 году с серьезными цензурными искажениями. Из книги была изъята глава «Дублер», которая увидела свет лишь в 1988 году. О том, какую важнейшую роль она должна была играть в общей концепции романа, можно судить по следующему авторскому признанию: «Судьба все же должна мне позволить написать «Дублера», без которого «Каратели» — без детонатора». Оставаясь верным заявленному на страницах «Vixi» принципу не возвращаться к уже однажды высказанному в своих произведениях, А. Адамович находит новое художественное решение для столь волновавшей его проблемы.

В роман «Каратели» писатель включил две главы, представляющие собой монологи Гитлера, раскрывающие основы той философии, которая породила

фашизм. Рисуя перед читателем условную картину, в которой диктатор в бреду представляет себя посланцем высших сил мира, писатель вскрывает антигуманистическую сущность немецкой идеологии, унесшей жизни миллионов людей. В главе «Дублер» А. Адамович дает возможность выговориться, как он полагал, «самому большому в ист[ории] карателю» — Сталину. Писатель раскрывает психологию человека, который всю свою жизнь, завидуя Гитлеру, мучился от осознания того, что в глазах советского народа он был дублером Ленина. Благодаря авторской фантазии, на страницах «Vixi» диктаторы встречаются между собой: в Кремле Сталин беседует с живым, но находящимся в плену Гитлером. «Признаюсь, нелегко представить себе эту парочку, их разговоры», — откровенно сообщает А. Адамович, не скрывая степень сложности поставленной перед собой задачи. Посмертные фантазии «фюреров-вождей», с помощью которых писатель стремился донести мысль о том, как много общего во взглядах и поступках этих людей («Когда писал повесть, я ощутил [его] родств[енность] с Гитлером»), неожиданно завершается молитвой Сталина, в которой он просит Бога даровать ему физическое бессмертие: «…Напоследок говорю, мне ничто не нужно и никто не нужен, оставь только меня. Старым, больным, одиноким, никому не известным — я на все согласен. Если хочешь, я поменяюсь местами даже с ним, все проигравшим, жалкой приживалкой — Адольфом Гитлером…». Освободившись от волновавшей всю жизнь темы, А. Адамович возвращает читателя к своей предсмертной исповеди, ненавязчиво напоминая нам о неизбежном для каждого человека финале: «У человека нет долга родиться. Но умереть — долг каждого».

Несмотря на то, что А. Адамович во многом отошел от классической исповедальной традиции, влияние ее лучших образцов, созданных творческими усилиями предшественников, на построение данного произведения несомненно. Наиболее зримыми, отчетливыми выглядят интертекстуальные связи, обнаруживаемые между «Vixi» и «Исповедью» Августина Аврелия. Наличие этих связей выглядит вполне закономерным, если вспомнить, что средневековый мыслитель создал эталонный художественный текст, после которого последователям, по меткому замечанию М. Уварова, остается только заимствовать ту или иную «частицу творчества учителя и актуализировать перед нами то, что лишь в скрытой форме присутствует в творчестве самого Августина». В разные времена произведение Августина Аврелия вдохновляло на создание собственных исповедальных текстов Данте, Ф. Петрарку, Б. Паскаля, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстого и многих других мыслителей и писателей, в том числе и отечественных. Так, например, знакомство с ним стало событием в жизни народного писателя Беларуси, автора многочисленных книг лирических миниатюр Я. Брыля: «Дочитал Августина. <...> Книгу, из внимания к минской домашней тесноте, оставляю здесь, а вообще взяв, она навсегда стала, обрела свое место в моей благодарной памяти».

Точно неизвестно, был ли знаком А. Адамович с творчеством Августина, однако те явные параллели, которые обнаруживаются между «Vixi» и «Исповедью» основоположника данной жанровой модификации в литературе, свидетельствуют если не о сознательной, то об интуитивной связи, которая существовала между писателями.

В конце XX века А. Адамовича волнуют те же вопросы, на которые в V веке пытался найти ответ епископ Гиппонский. Так, например, одна из книг «Исповеди» Августина целиком посвящена осмыслению феномена человеческой памяти. «Но что такое забывчивость, как не утеря памяти? — спрашивал, в частности, себя автор. — <…> Кто сможет это исследовать? Кто поймет, как это происходит?» Аналогичную мысль, будто продолжая размышления средневекового ритора, высказывает и А. Адамович: «С какого момента мы напрочь забываем то, что видим, что остро переживаем, смеясь и плача в таком вот возрасте? Разве тогда мы *не помнили*? Что было вчера, позавчера — помнили ведь. И вдруг — как отрезает, отрубает!» Реминисценции, отсылающие к «Исповеди» Августина

Аврелия, обнаруживаются на протяжении всей книги белорусского писателя, являясь свидетельством преемственности развития жанровой модификации. Так, вспоминая события своего детства, А. Адамович писал: «А у мамы и для первенца молока своего не хватало. (Потому я и вырос «искусственником».) Но я и не претендовал на ваше молоко». Тем самым он будто повторяет слова Августина: «Первым утешением моим было молоко, которым не мать и не кормилицы мои наполняли свои груди; Ты через них давал мне пищу…». Более того, трепетное и возвышенное отношение А. Адамовича к своей матери, которое, как отмечалось ранее, красной нитью пронизывает всю его книгу признаний, во многом напоминает историю Августина Аврелия и его горячо любимой матери Моники. На страницах самой проникновенной девятой книги «Исповеди» кающийся сын канонизирует светлый облик своей матери, умершей в год его крещения.

При создании «Vixi» А. Адамович сталкивается с универсальными проблемами, встающими перед писателями-исповедниками. Одна из таких проблем — несовершенство человеческой памяти. С годами многое забывается, теряет свои ясные очертания, а что-то и вовсе забывается. «Кто напомнит мне о грехе младенчества моего?» — вопрошал еще в V веке Августин Аврелий.

К XXI веку литература накопила немалый опыт работы с человеческой памятью как ненадежным источником хранения информации. Достаточно вспомнить художественный опыт М. Пруста, который с помощью воспоминаний о запахе печенья и кофе сумел реконструировать свое прошлое. Для репрезентации собственного жизненного опыта А. Адамович при создании «Vixi» обращается к тем немногочисленным фотографиям, сохранившимся из далекого прошлого: «Притягивают меня старые фотографии. Не только наши семейные. А вообще старые фотографии людей, которых уже нет. Там, в тот запечатленный, остановленный, момент они думали, чувствовали, суетились, а про то, что бумага останется, случайность их внешнего состояния останется, а их не будет, вряд ли кто в те мгновения задумывался». Вглядываясь в пожелтевшие от времени снимки, писатель, пронизывая время, возвращается в беззаботное детство (раздел книги получил название «И опять начинается детство») к еще живым родителям и брату. Ожившие мгновения становятся источником новых воспоминаний, которые нанизываются на уже зафиксированные и осмысленные на страницах «Vixi», предоставляя А. Адамовичу возможность совместить в рамках повествования три временных плана — прошлое и настоящее на фоне сегодняшних событий, которые постоянно врываются в писательскую исповедь через голоса стоящего за спиной больничного телевизора.

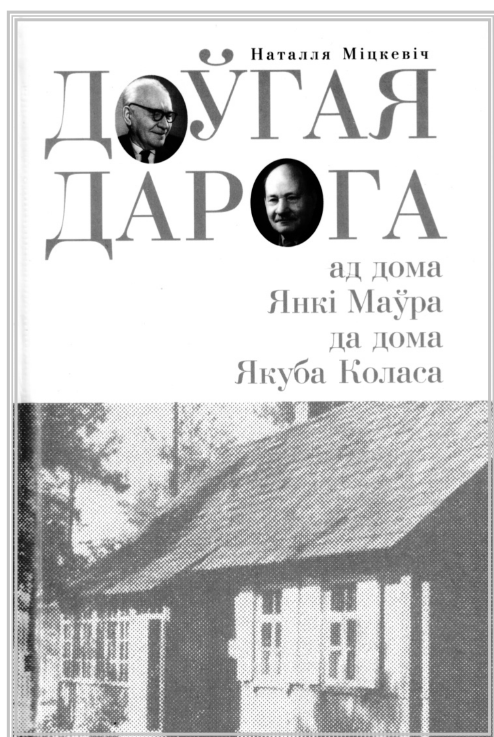
Б. Окуджава, единомышленник и близкий друг А. Адамовича, оставил о писателе и его итоговой книге следующие поэтические строки:

Вот и дочитана сладкая книжка,
Долгие годы в одно сведены,
И замирает обложка, как крышка,
С обозначением точной цены.

Как отмечал Д. Гранин, «рассказывать о своей жизни заманчиво легко, понять свою жизнь трудно, проанализировать ее бесстрастно и беспощадно почти невозможно… Но следует отдать должное всем тем, кто осмелился на это». Подлинная исповедальная проза никогда не бывает легким чтением. Это элитарная литература, требующая вдумчивого читателя, ищущего в ней не разоблачений и сведения счетов, а истинных уроков гуманизма. Между тем «Vixi» А. Адамовича до сих пор остается практически неизвестной книгой для современного читателя, незаслуженно забытым произведением, которое ожидает своего дальнейшего изучения в широком европейском контексте.

*С точки зрения рецензента*

# *Рассказано — будто снова прожито*




Не знаю, как у кого, а у меня к опубликованным воспоминаниям отношение почтительное. Будь то сведения писателей, деятелей искусства или других известных людей.

В свое время в журнале «Полымя» были напечатаны воспоминания Натальи Мицкевич. Для тех, кто с ними не знаком, уточню, Наталья Ивановна — дочь известного белорусского писателя Янки Мавра. В девичестве она носила фамилию отца, была Федоровой (Мавр — как известно, псевдоним писателя). Мицкевич стала, выйдя замуж за сына народного песняра Беларуси Якуба Коласа, Михася Мицкевича. Эти воспоминания вышли отдельной книгой — «Доўгая дарога ад дома Янкі Маўра да дома Якуба Коласа» в Издательском доме «Звязда».

Снова ощутил то удивительное чувство, которое бывает, когда, уставший в дороге, встречаешь в деревне колодец. Достаешь из него ведро воды. Она настолько холодная, что даже зубы сводит. Но так освежает, что забываешь обо всем, что расстраивало тебя. Так и написанное Н. Мицкевич приносит большое удовольствие.

Казалось бы, ни о чем таком удивительном она не рассказывает: детство, учеба в школе, друзья, знакомые. Да и пережитое в годы войны не очень отличается от того, что пережили в это суровое время другие, те, кто оказался вдали от родной Беларуси, был в эвакуации. Но все это, в чем-то знакомое, вместе с тем и не похоже на то, что раньше поведали другие. К тому же Наталья Ивановна — чудесный рассказчик.

Книга ее — это повесть о жизни. Прежде всего, конечно, о своей жизни. Но одновременно и о жизни мужа, отца, близких людей. Приводится немало интересных фактов и из жизни ее тестя. В этих воспоминаниях Якуб Колас предстает перед нами обычным человеком, которому ничто человеческое не чуждо. Чувство юмора также. Поучились бы у него некоторые наши писатели-юмористы. Взять хотя бы такой случай. В любой семье не всегда все гладко. А если под одной крышей две семьи? Данила Константинович,

старший сын народного песняра, иногда ссорился со своей женой Зариной. Н. Мицкевич признается: «Нам з Міхасём даводзілася рабіць захады, каб прытушыць іх негатыўныя эмоцыі. Аднойчы пад вечар пасля іх спрэчкі Міхась паклікаў Зарыну ў свой пакой, а я зайшла ў пакой насупраць да Даніка, каб супакоіць яго. У гэты час з другога паверха спускаецца Канстанцін Міхайлавіч і бачыць: я сяджу поруч са старэйшым сынам. А насупраць у сваім пакоі сядзіць малодшы сын, абняўшы за плечы жонку старэйшага сына. Што за чорт? Пераблыталі жонак, ці што? А пасля махнуў рукой, сказаўшы: “Усё роўна ўнукі будуць мае!” — і пайшоў у свой пакой».

А вот курьезный случай из детства рассказчицы, когда Федоровы жили в одной квартире с соседями, а кухня была общей: «…маці заўважыла, што з каструлі, у якой варылі суп з мясам, частка мяса знікае. Што можна было падумаць, калі, акрамя суседкі, нікога болей не было? І яшчэ маці заўважыла, што суседка стала панурай, маўклівай. Размаўляла з маці скрозь зубы, а затым наогул змоўкла. Маўчала і маці. А мяса знікала непасрэдна з каструлі». Отец Натальи посоветовал, ничего не говоря соседке, незаметно понаблюдать за кухней: «І вось аднойчы, калі маці ціхенька прыадчыніла дзверы на кухню, яна ўбачыла, што наш вялікі сібірскі кот лапай стараецца выцягнуць мяса. Маці хуценька паклікала суседку, і яны застукалі ката-зладзюгу». Оказалось, что он также угощался и мясом из ее кастрюли…

Эта непринужденность в разговоре — одна из отличительных черт книги. Грустно становится, когда понимаешь, что Наталья Ивановна так и не дождалась последней публикации своих воспоминаний. Зато она успела еще сфотографироваться со своей любимой внучкой Василиной в день ее свадьбы. Эта фотография завершает довольно объемную «тетрадь» иллюстраций, являющихся своего рода дополнением к тому, о чем рассказывается.

Книга «Доўгая дарога…», конечно, авторская. Но если хорошо разобраться, то у нее все же два автора. Не только сама Наталья Мицкевич, но и ее муж Михась Мицкевич. Не только потому, что, как признается Михась Константинович в «P. S.», это он уговорил жену вспомнить прожитое и пережитое. Да и не только «ўзяўся перакласці на родную мову яе ўспаміны, крыху дапоўніўшы іх гумарыстычнымі абставінамі з перажытага». Есть и другое соавторство… Как бы лучше сказать? Внутреннее, что ли. Наталья Ивановна и Михась Константинович «прайшлі разам дарогу даўжынёю амаль у 66 гадоў у згодзе».

***Денис ВАРИВОНЧИК***



*С точки зрения рецензента*

# Древо жизни




Круг увлечений писателей, их привычки, убеждения, жизненные университеты — все это интересовало человечество, вероятно, с момента появления категории индивидуального авторства. Становление дисциплины психологии литературного творчества как раз и стимулировал этот интерес. Понять предпосылки, мотивы и механизмы развития литературного творчества — значит, найти ключ к разгадке индивидуального стиля писателя. Большой популярностью как у профессиональных литературоведов, так и любителей литературы, пользуются издания о жизни прозаиков, поэтов, драматургов. Доктор исторических наук Г. Ульянова пишет о серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» следующее: «Серия ЖЗЛ была весьма ярким явлением в общественной жизни 1960—1970-х гг. Огромные тиражи, доходившие до 100 тысяч экземпляров, вклейка с иллюстрациями… Для любого автора написание книги для ЖЗЛ было признанием его высокого профессионального уровня». Стоит отметить и стабильность такой популярности: в прошлом году серия отметила свое 125-летие! Серия «Жыццё знакамітых людзей Беларусі» имеет не такую давнюю, однако не менее славную историю. Издательство «Мастацкая літаратура» в тесном сотрудничестве с Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства, частными коллекционерами издает качественные как по содержанию, так и по иллюстрационному ряду биографические издания. Уже увидели свет тома о жизни и творчестве Янки Купалы, Максима Богдановича, Владимира Короткевича, Максима Танка и других классиков белорусской литературы.

Не так давно был презентован очередной том серии, который носит поэтичное название «Чалавек — гэта цэлы свет» (Кузьма Чорны. Чалавек — гэта цэлы свет. Успаміны, эсэ, артыкулы, інтэрв’ю, дакументы / уклад. Галіна Шаблінская. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2016). Далеко не каждый знает, что это «растиражированное» выражение принадлежит Кузьме Чорному.

«Гэтае выданне, якое падрыхтавана да 115-годдзя з дня нараджэння

класіка беларускай літаратуры Кузьмы Чорнага, стварае партрэт жывога чалавека, на долю якога выпала шчасце быць Мастаком «Божай міласцю» і зведаць на ўласным лёсе цяжар гістарычных рэалій свайго часу. Але не здрадзіць сабе, беларускаму слову і Бацькаўшчыне. Загадкавы і просты, абаяльны, а часам і з’едлівы, мужны ў пераадоленні хваробы і бязлітасны ў праўдзе пра таталітарны рэжым, далёкі недасяжнасцю генія і блізкі сваімі перажываннямі за родных, сяброў, таленавітую моладзь», — пишет составитель книги Галина Шаблинская. И это действительно так, потому что полифоническое издание позволяет услышать голоса друзей, родных, коллег Кузьмы Чорного, современников революций, войн, коллективизации… Солидный раздел тома, «Дзе прайшло маленства, там пачынаецца Радзіма», посвящен семье писателя, роду Романовских. Показательно, что судьба писателя «в первом поколении» связана с неизменным желанием учиться. В чем-то даже перекликается со знаменитой историей Михаила Ломоносова. Пешком он пришел в Минск поступать в университет… Подорвал силы на тяжелой работе, о чем скромно пишет в автобиографии: «грузіў на станцыях дровы, наймаўся калоць іх на складах, у прыватных гаспадароў, жыў, сумаваў, хварэў, радаваўся, галадаў». А до этого были Тимковичское народное училище, Несвижская учительская семинария («гэта была найбольш зручная школа для тых, хто не меў за што вучыцца»)… Да и свой псевдоним Николай Карлович Романовский выбрал не потому, что из простых, из народа, черных рабочих. Любимый дед по линии матери, Михаил Парыбак-Чорный, умелый ткач, научил его видеть прекрасное в обыденном, во время долгих прогулок на природе приучил к наблюдательности, качеству невероятно важному для писателя. Очень ценил прозаик Чорный в творчестве жизненную правду, не принимал, если писали о том, чего толком не знали сами. Многие произведения Кузьмы Чорного в той или иной степени связаны с его любимой Случчиной, яркими и узнаваемыми типажами тех людей, которым «кавалак хлеба і палатняная кашуля, адна на год, здавалася шчасцем. Так жылі ўсе тыя людзі, сярод якіх я вырас і выхаваўся. Так жыў народ». Народ, всеми силами пытавшийся выстрадать достойное будущее для своих детей. Трудолюбивый и справедливый отец мечтал, чтобы «хоць адзін Раманоўскі выйшаў у людзі». А музыкальная, с живым умом мать сама учила детей читать… И любознательный мальчик имел свою добротную, с картинками, первую книгу — «Конек-Горбунок» Ершова. Что и говорить — много подробно-бытового, интимно-душевного о детстве, юности Кузьмы Чорного мы узнаем в очерках, которые создавались Степаном Александровичем и Виталием Вольским по личным воспоминаниям и рассказам родственников и близких писателя. Интересными для широкой аудитории, в том числе и для краеведов, станут воспоминания и интервью с дочерью писателя, Рогнедой Романовской. Захватывающе рассказывает Рогнеда Николаевна о Минске довоенном и послевоенном: о Железнодорожной церкви в районе площади Червякова, о Театре юного зрителя в сегодняшнем Красном костеле, о старых зданиях Немиги… С любовью говорит об увлечениях отца: рисовании пером, выращивании цветов. Весьма обаятельные и ее миниатюры «Мінулае»: «У суседкі вечарынка. Назаўтра яе хлопчык Віця Ваўчок, мой аднагодак, заходзіць да нас, звяртаецца да майго папы: — Таварыш Чорны, давайце дзёрнем па румцы зуброўкі». О заботе и глубокой душевной привязанности говорят записи «Хронікі хваробы Кузьмы Чорнага», которые, боясь упустить какие-то важные изменения в состоянии здоровья, вела его жена, Ревекка Израилевна Свердановская.

Богатый фактический материал книги дополняют многочисленные вклейки: автографы литературных произведений и писем, рисунки, страницы записных книжек, портреты писателя и семейные фотографии, обложки и иллюстрации к книгам и

многие другие интересные документы, связанные с жизнью и творчеством Кузьмы Чорного.

Вспоминают о своем надежном друге, товарище, учителе, коллеге Антон Белевич, Василь Витка, Петро Глебка, Владимир Дубовка, Кондрат Крапива, Всеволод Кравченко, Максим Лужанин. Бескомпромиссный, серьезный, не боящийся открытой правды и вместе с тем веселый и жизнелюбивый — таким остался Николай Романовский в памяти современников. «Апранаўся Кузьма Чорны заўсёды сціпла, каб не вылучацца сярод іншых. Стараўся быць непрыкметным. Аднак яго вялікі лоб, над якім кучараваліся светлыя валасы, яго прамяністыя шэрыя вочы сведчылі, што гэта чалавек з незвычайнай душой. Ён не любіў выступаць на сходах, на якіх-небудзь сустрэчах. Яму больш падабалася асабістая гутарка. Чорны любіў сустракацца з рознымі, нават незнаёмымі яму людзьмі, мог, едучы ў трамваі, паспець пагутарыць з двума-трыма чалавекамі, прычым умеў прымусіць субяседніка гаварыць, а сам заўсёды слухаў», — пишет о Кузьме Чорном Заир Азгур, подчеркивая стремление писателя наполнять свои произведения только правдивыми жизненными историями.

Включены в том и основательные статьи Михася Мушинского, Анны Запартыко, Галины Шаблинской, Людмилы Нижевич, посвященные исследованию жизни и творчества Кузьмы Чорного, письма писателя к Адаму Бабареке, Степану Майхровичу, Максиму Танку, Павлу Кобзаревскому и др.

Неоценимую помощь в подготовке книги оказали внук Кузьмы Чорного Николай Романовский, директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства Анна Запартыко и научный сотрудник архива Татьяна Кекелева, сотрудники Государственного музея истории белорусской литературы и его директор Лидия Макаревич, главный хранитель фондов Государственного литературного музея Янки Купалы Надежда Саевич, директор Государственного литературного музея Якуба Коласа Зинаида Комаровская, исследователь Тихон Чернякевич, теолог Наталья Василевич, сотрудники отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси и другие неравнодушные люди.

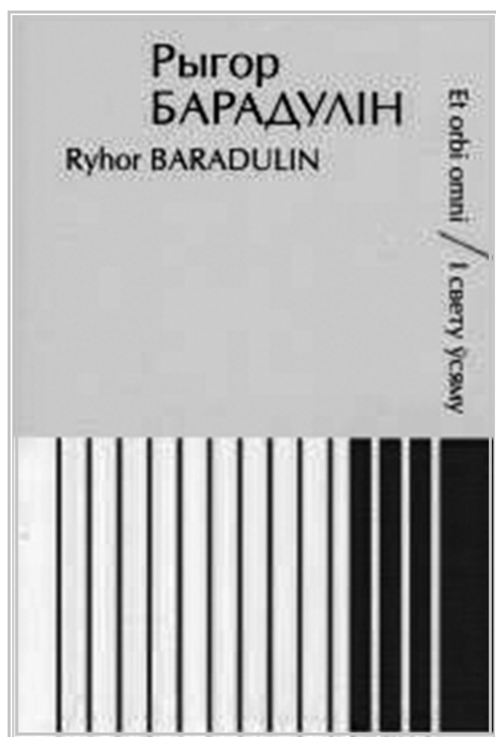
«Вобразы Кузьмы Чорнага глыбока самабытныя, але ў той жа час настолькі шырока абагульнены, што перарастаюць нацыянальныя рамкі. Па сіле абмалёўкі, па глыбіні пранікнення ў чалавечую псіхалогію гэты яркі талент стаіць на адным з першых месцаў у беларускай прозе», — писал Якуб Колас. И правда, архетипические образы прозы Кузьмы Чорного проникают в нас, не стираются из памяти. Как глубоко проникает корнями в почву дерево — один из излюбленных образов графических рисунков писателя на полях рукописей, в записных книжках. Авторы и составители тома «Кузьма Чорны. Чалавек — гэта цэлы свет» постарались детально описать и корни, и крону яркого таланта Николая Романовского. Эта книга — увлекательное путешествие по непростым дорогам мужественного человека, а также дань памяти прозаика, доказавшего, что белорусские повесть и роман занимают почетное место в мировой литературе.

***Юлия АЛЕЙЧЕНКО***



*С точки зрения рецензента*

# *Стихотворения-ласточки возвращаются!..*




События такого рода случаются нечасто. Хотя, пожалуй, все литераторы стремятся к тому, чтобы их творчество было широко известно в мире, далеко за пределами родной страны. Художественный перевод издревле является добрым попутчиком прозы и поэзии, драматургии и даже литературной критики.

В Минске издана книга народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина «Er orbi omhi/ I свету ўсяму» («И миру всему»), где собраны переводы стихотворений мастера белорусского слова на 30 языках (!) народов мира.

У номинанта на Нобелевскую премию (2006 г.) Рыгора Бородулина есть немало поэтических строк, зовущих их лирического героя к звездам, к путешествиям в далекие пространства. В своих устремлениях к высотам и вершинам, в своем желании открывать неизведанное Рыгор Бородулин состоялся как путешественник и первооткрыватель, как переводчик шедевров мировой поэзии. Какие только страны он не объездил! Какие только уголки бывшего Советского Союза не открыл для себя и своих читателей! Тува, Дальний Восток, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Латвия, Литва, Украина… Франция, Китай, Куба, США, Польша, Швеция, Финляндия… И каждая поездка приносила новые поэтические открытия. Из стран Скандинавии привез впечатления в цикле стихотворений «Из греков — в варяги». Из степей Казахстана: «Под небом юрты». Из поездки на Кубу: «Via Lactea».

И конечно же, поездки, новые встречи подталкивали к многогранной, зачастую очень сложной переводческой работе. Рыгор Бородулин перевоплотил, перевел на белорусский язык произведения Ф. Г. Лорки, Я. Райниса, С. Есенина, У. Шекспира, Дж. Байрона, Б. Брехта, А. Пушкина, А. Мицкевича, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, В. Броневского, О. Туманяна, А. Исаакяна, П. Неруды, Н. Гильена, С. Нерис, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Р. Гамзатова, К. Кулиева, Д. Кугультинова, С. Мовленова, К. Тангрыкулиева…

Антология «И миру всему», вышедшая в Минске в издательстве Рим-

ско-католического прихода Святого Сымона и Святой Алены, — свидетельство прочтения художественных исканий, художественных открытий белорусского художника слова в национальных литературах разных народов мира. «В литературу Рыгор Бородулин вошел в семнадцатилетнем возрасте — в 1952 году. Талант юного поэта был замечен не только белорусским читателем. В 50—70-е годы XX столетия в журналах, газетах, сборниках, антологиях печатаются переводы стихотворений Рыгора Бородулина на латышский, русский, английский, болгарский, немецкий языки.

С каждым годом география переводов стихотворений юного поэта расширяется.

Теперь его произведения читают в Западной Европе — на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, венгерском, румынском, шведском языках. В странах Балтии — на литовском, латышском, эстонском языках. В славянских странах Центральной Европы — на польском, чешском, словацком, болгарском. На многих языках стран бывшего СССР — русском, украинском, удмуртском, чувашском, татарском, грузинском, молдавском, таджикском, киргизском.

Есть переводы на восточные и даже экзотические языки — хинди, японский, курдский, каратинский, цыганский и др.», — читаем в предисловии «Стихи-ласточки возвращаются домой…» Авторы предисловия — ксендз Владислав Завальнюк, кандидат исторических наук, магистр теологии, Алла Соколовская, кандидат филологических наук, доцент. Они — составители уникального издания. А название у предисловия совсем не случайное... «Ласточками, которые летали за моря и научились щебетать на языках мира, возвратились мои стихотворения, как под родную крышу, под обложку этой книги», — написал Рыгор Бородулин, когда познакомился с макетом книги. Настойчиво просил, чтобы эти слова были в ней. «Стихи-ласточки возвращаются домой…»

Поэзия белорусского мастера всегда привлекала к себе русских поэтов и переводчиков. Илья Фоняков, Иван Бурсов, Наум Кислик, Игорь Шкляревский, Федор Ефимов, Валентин Тарас, Бронислав Спринчан, Александр Дракохруст. Разные по своим творческим, художественным, эстетическим амплитудам, эти поэты, очевидно, искренне и настойчиво стремились соединить два языковых, два национальных пространства. Это похоже на решение сверхзадачи. Стремление осилить ее не всегда приводит к успеху. Но мне кажется, что в данном случае переводы достойно представляют Рыгора Бородулина и перед русским читателем.

Жаль, что «за бортом» оказался весь остальной массив переводов поэзии Рыгора Бородулина на русский язык. Почему-то не включены в антологического характера сборник переводы, осуществленные Яковом Хелемским. Можно было бы назвать еще немало и других русских переводчиков поэзии Рыгора Бородулина.

И переводы убеждают, что народный поэт Беларуси является в одночасье и тонким лириком, и чутким к истории своего Отечества эпиком.

Совсем не случайным представляется мне и то, что к переводу стихотворений Рыгора Бородулина обращались и обращаются лучшие мастера слова разных стран и народов. Саидали Мамур — народный поэт Таджикистана. Дмитро Павлычко — Герой Украины. Борис Олейник — Герой Украины, лауреат Государственной премии СССР. Альгимантас Балтакис — народный поэт Литвы, лауреат премии Правительства Литвы в области искусства, переводчик на литовский Александра Пушкина, Александра Блока, Расула Гамзатова, Ояра Вациетиса. Арви Сийг — яркий эстонский поэт, лауреат премии имени Игоря Северянина. Найден Вылчев — болгарский поэт в 1989—1991 гг. президент Союза переводчиков Болгарии. Убайд Раджаб — заслуженный работник культуры Таджикистана, обладатель Международного почет-

ного диплома имени Х. К. Андерсена… Переводческое содружество впечатляющее!..

Рыгор Бородулин (умер поэт в 2013 году) и сегодня продолжает волновать, интересовать мастеров художественного перевода. В Кыргызстане поэзию народного поэта Беларуси перевоплощает на русский народный поэт Кыргызстана литературовед и переводчик Вячеслав Шаповалов. В Грозном новые переводы Рыгора Бородулина на русский появились в женском журнале «Нана», издающемся на русском и чеченском языках. Томик поэзии Рыгора Бородулина на русском и белорусском вышел в московском издательстве «Время». Проект состоялся, разумеется, благодаря инициативе директора издательства Бориса Пастернака, который хорошо знает белорусскую литературу и по мере своих сил и возможностей активно ее пропагандирует. Он и давний издатель произведений Светланы Алексиевич, и начал эту работу задолго до присуждения писательнице Нобелевской премии в области литературы.

Стихотворения-ласточки возвращаются!..

Книга, вобравшая множество переводов стихотворений Рыгора Бородулина на другие языки, подталкивает и к таким вот размышлениям: и сама переводческая работа Бородулина, и внимание к его поэзии в других языковых пространствах требуют особых литературоведческих исследований. В белорусской науке есть неплохие работы, посвященные переводческому мастерству Якуба Коласа, Янки Купалы, Аркадия Кулешова (авторы — Вячеслав Рагойша, Михась Кенько, Дмитрий Политыка и др.). О Бородулине как переводчике пишут, надо сказать, мало. Из того, что запомнилось, — рецензия на книгу его переводов восточной поэзии в журнале «Полымя». Автор — Павел Гаспадынич. Будем надеяться, что ситуация изменится. По крайней мере, такое издание, как «Er orbi omhi / I свету ўсяму» («И миру всему»), дает надежду на это.

***Кирилл ЛАДУТЬКО***



*Литературное содружество*

# *Жанарбек АШИМШАН: «Художественные идеи живут собственной жизнью...»*



***С Жанарбеком АШИМШАНОМ мы познакомились в Душанбе. Казахский поэт и журналист приехал на Международный симпозиум литераторов стран региона Навруз. Жанарбек — директор издательского центра «Каламгер-медиа». Является заместителем председателя Союза писателей Казахстана. За свои творческие достижения Президентом Казахстана отмечен Государственной молодежной премией «Дарын». Наш разговор с казахским поэтом — не только о литературе.***

**— Жанарбек, вы — из поколения литераторов, которые активно вошли в литературу в постсоветское время. Что является главной темой в творчестве ваших сверстников в Казахстане?**

— Да, у каждой эпохи бывают свои поэты и писатели, которые способны чувствовать пульс современности. В своих произведениях творческий человек должен уметь ярко отображать тенденции своего времени, дать свою оценку происходящим в обществе событиям. Я не говорю, что современный писатель или поэт может заменить летописца. Но все же они должны ставить перед читателями самые актуальные и острые вопросы. Не стараться развлекать их красивыми словами и рифмами, а побуждать к активным действиям. Я считаю, что любой читающий человек найдет «своего» писателя или поэта, ибо у каждого читателя есть свои запросы и вкусы, свои переживания и собственные взгляды на жизнь. Главное, чтобы современный писатель смог создать нечто такое, что соответствовало бы духовным запросам читателя. И только тогда его будут читать с благодарностью. Конечно, постсоветский Казахстан открыл немало новых имен, авторов, в произведениях которых читатели находят ответы на важные вопросы, которые сегодня ставит перед ними жизнь.

Я и мои сверстники-поэты свой творческий потенциал открыли на заре Независимости Казахстана. Каждый из нас понимает сущность и значимость обретенной нашей страной Независимости. Поэтому можно с уверенностью сказать, что нынешнее поколение поэтов и писателей способно свободно мыслить и свободно ориентироваться в литературном пространстве.

**— Насколько значимо для вашего поколения понятие традиций, традиционных явлений?**

— Наверное, нигде в мире не встретишь такого бережного отношения к национальным традициям, как у казахов. Я сам вырос в традиционной казахской семье, где царили согласие и любовь. Вообще, процесс возрождения национальной идеологии в стране идет уже более 20 лет, с момента обретения Независимости, и не без успеха. Во многих семьях все мероприятия проходят с соблюдением старинных традиций, будь это рождение ребенка или свадьба. Я лично все это воспринимаю как восстановление исторической преемственности. Хочется, чтобы в каждой казахской семье дети воспитывались в почитании и уважении старших, чтобы сохранялся культ старших представителей рода. Надо помочь подрастающему поколению узнать свои корни, развить у молодых интерес к истории, своей родной культуре. В этом аспекте очень важно развивать именно национальную литературу.

**— Важны ли для современных, в частности, молодых писателей Казахстана переводы на другие языки?**

— Конечно, это важно вообще для любого автора. Есть концепция «третий мир», выдвинутая Карлом Поппером. Это мир объективного содержания мышления, прежде всего, содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства. Суть идеи в том, что вы породили когда-то свои мысли, свои размышления. Вырвавшись из вас, они начинают жить собственной жизнью. Понимаете, у каждой идеи есть собственная жизнь, и она развивается по собственной логике. Это как раз говорит о том, что мир идеи не просто существует, он еще и объективен, и он развивается по своим собственным законам. Это — во-первых. И во-вторых, идея, которая порождена человеком, уже существует сама по себе независимо от этого человека. И в этом, я думаю, со мной никто не поспорит. Иных людей уже нет в живых, а их идеи до сих пор существуют. Вот такой парадокс можно привести в пример относительно идеи и творчества. Естественно, если человек публикуется в других странах и на других языках, это свидетельствует о том, что его идея оказалась настолько конкурентоспособной, жизнеспособной, что действительно сама пробивает себе дорогу в иных культурных и языковых пространствах. Это, наверное, показатель того, чего человек достиг. Конечно, бывает и так — вы там что-то сказали, а эта мысль сама начала жить и развиваться, оформляться в содержание. В конце концов, стали выходить издания на разных языках. Это можно проследить не обязательно на переводах за рубежом. В советское время были книги, которые переиздавались по нескольку раз. Можно представить, насколько они сохранили свою актуальность на протяжении большого периода времени. Это и есть показатель успешности автора, когда его переиздают. Конечно, любому автору приятно знать, что его книги издаются на других языках в разных странах. Действительно, это всегда говорит о том, насколько автор актуален для современного общества.

**— А белорусская литература — насколько она далека от вас? Или те, кто пишет сегодня, вообще не известны в Казахстане?**

— Мне хорошо известны успехи и достижения литераторов Беларуси. Прежде всего — Светлана Алексиевич, получившая Нобелевскую премию по литературе. Ее произведения переведены на 20 языков мира.

С развалом Советского Союза появились границы. Если раньше мы жили в одной стране, то сейчас даже не имеем общих границ с Беларусью, с которой граничат Россия, Украина. На самом деле этот аспект сказывается. Заметно, что духовная жизнь в каждом обществе на постсоветском пространстве стала в какой-то степени изолированной, и конечно, мы стали далеки друг от друга. Чем живут Казахстан и казахстанцы, чем живут белорусы? Понимаем, что мы переживаем одни и те же события. Но мы переживаем их каждый по-своему. Так что надо признать, что мы все-таки отдалились друг от друга. И все же делаются

попытки создания общего информационного поля в рамках интеграции, это сейчас, кстати, тоже популярная тема. Имеет место взаимный культурный обмен. То есть, кто-то приезжает из Беларуси к нам, или наши соотечественники приезжают к вам. Пока что мы узнаем друг друга в таком формате. Но хотелось бы узнать больше. Все-таки культура любого народа всегда интересна и полезна. Тем более что Казахстан — очень своеобразная страна. К примеру, в далеком прошлом у казахского народа не было письменности, но зато была развита языковая культура. Это страна, где когда-то проходил Великий Шелковый путь. Казахский народ пережил множество войн, трагедий, что не могло не отразиться на его культуре, эпосе, традициях. Мне кажется, эти глубинные пласты нашей истории могут быть интересны вашим соотечественникам.

Общение всегда способствует творческому росту. Вы знаете, можно жить в обществе, так и не поняв его. Вы погрузились в это общество и не видите вообще буквально никаких различий. Общение чем хорошо? А тем, что начинаешь лучше осознавать тот мир, в котором ты живешь, на который не всегда обращал внимание. Потому что ты его воспринимал как данность. Вот эти особенности не бросаются в глаза. Другой человек, прибывший в страну, помогает обращать внимание на какие-то нюансы. Поэтому в данном случае вот это общение всегда может быть полезно. Потому что оно помогает увидеть самобытность того общества, в котором ты живешь. И в какой-то степени ты начинаешь эту самобытность больше ценить. Действительно это то, что выделяет из других, в какой-то степени — это наши ценности, это наши обычаи, которые мы сами не замечаем. В данном случае это полезно. Культурный обмен — это обмен ценностями.

**— Кстати, остается ли русский язык главным коммуникатором в открытии в Казахстане иностранной литературы?**

— Еще с советских времен посредством русского языка узнавали культурное наследие других народов. И сегодня, я думаю, это нужно принять как должное. Потому что здесь есть особенности перевода. Сказывается, наверное, развитие самого казахского языка. Казахский язык в советские годы пережил определенный кризис, последствия которого чувствуются и сегодня. Появляются новые слова, их надо как-то вовлекать в казахский лексикон, вырабатывать какие-то новые термины. Иногда эти термины оказываются достаточно смешными и не отражают сути дела. Да, русский язык, надо признать, более конкурентоспособен как транслятор, как транзитер какой-то культуры, допустим, той же английской или немецкой. В данном случае нам надо делать выводы, необходимо подтягивать уровень казахского языка. Ну и здесь опять же следует признать, что это последствия советского периода, когда казахский язык ушел из делопроизводства в бытовую сферу и в какой-то степени не развивался. И вот это «недоразвитие» сегодня привело к тому, что русский язык стал более конкурентоспособен.

Есть и другой аспект — это тюркоязычные страны, богатые своей культурой в целом и, в частности, в области литературы. В таких сферах казахский язык оказывается в большем преимуществе, нежели русский, поскольку тюркские языки очень близки друг к другу, это одна языковая группа. К примеру, турецкого автора будет гораздо проще понять казахскоязычному читателю, чем носителю русского языка.

**— Каково состояние литературно-художественной периодики в Казахстане? Насколько велики тиражи «толстых» литературных журналов?**

— Да, есть определенная поддержка государством издательского рынка, талантливых авторов и всей этой сферы. Союз писателей Казахстана старается всячески поддерживать отечественную литературу и молодых авторов. Но все-таки хотелось бы оценить

ситуацию в сравнении с состоянием издательского бизнеса в других странах. Посмотреть на то, как у них все это делается. И надо признать, что там даже без участия государства все довольно хорошо отлажено и замечательно работает. На самом деле это очень рентабельный бизнес, сильный рынок, поэтому вполне реально, что творческий человек там сможет сделать себе имя и заработать деньги. Это заметная разница. Все-таки надо признать, что в Казахстане издательское дело не так сильно развито, как хотелось бы. Как требует сегодняшнее время. Если брать казахстанских авторов, то зарабатывать литературной деятельностью могут лишь единицы. Век Интернета притесняет книгу. Данная ситуация, мне кажется, по большей части характеризует цинизм современного читателя, который игнорирует отечественного автора в угоду иностранным. Конечно, можно критиковать и говорить, что все плохо, что все это чревато последствиями. Но все же не стоит. На мой взгляд, это хороший повод задуматься и самим авторам. Они должны писать не для того, чтобы просто выполнить свою работу, а чтобы сделать какое-то открытие для своего читателя. Любой автор должен уметь работать со своими читателями, создавать свою читательскую аудиторию. И эту аудиторию в какой-то степени осваивать. Ведь это еще и покупатели книг. Вот такое понимание ситуации должно быть у наших авторов. Но факт остается фактом, в механизме книгоиздания, во взаимодействии авторов и читателей сегодня действительно что-то не работает.

Мы видим, что в России такой механизм более эффективен, потому что очень много книг из России поступает в Казахстан. Правда, эти книги не всегда являются художественной литературой. Хотя мы знаем, что за годы нашей Независимости за рубежом появилось много авторов, которые публикуются, и их произведения издаются хорошими тиражами. Это плод менеджмента литературных агентов. Литература и бизнес — мы только на начальной стадий этого тандема. Конечно, государство по возможности стимулирует и поддерживает наших авторов. Но сидеть на бюджетных дотациях — это не показатель успешности автора. Настоящий успех в другом — когда люди действительно готовы платить за слова писателя, за его талант.

**— Есть ли в Казахстане писатели, которые работают, общаются с читателем только исключительно через Интернет-ресурсы?**

— Я знаю очень хороших казахстанских авторов, которые публикуют свои материалы в Интернете. Есть один человек, который начал публиковать серию рассказов о своем детстве, о своем окружении. Получается отчасти автобиографическая книга. Но эта книга, кажется, способна привлечь внимание аудитории. Вот реальный случай, когда посредством Интернета писатель выходит на читателя. Но это как в мексиканском сериале. Можно сказать, необычный проект. Есть и другие примеры. Уже не книги публикует человек, а зачастую только отдельные свои мысли. Честно говоря, это очень интересные рассуждения, и обращаешь внимание, что они вызывают много откликов. Назвать это литературой не совсем правильно. Речь иногда идет об описании нашей жизни. С чем живут казахстанцы, почему есть добро и зло, и т. д. Попытка человека ответить на эти вопросы, конечно, вызывает наибольший интерес. Взять хотя бы Ермека Турсунова, режиссера, сценариста, который пишет о том, куда движется Казахстан. Понятное дело, что здесь есть немножко политики, есть социальная тема. Но факт остается фактом. Человек пытается создать какое-то дискуссионное поле посредством Интернета, привлечь внимание пользователей всемирной паутины. И естественно, создается пища для размышления. Вот это пример, когда Интернет способствует взаимоотношениям, обмену идеями между автором и его читателями.

***Беседовал Алесь КАРЛЮКЕВИЧ.***

*Память*

# «Не знаю, есть ли в этом воля Неба»



*Евгений Матвеев*

В Союзе писателей советской страны насчитывалось около десяти тысяч человек. На слуху же были имена самых известных, самых ярких из них. В настоящее время число литераторов возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди такого потока света его частицу — сияющую звездочку — творчество того или иного прозаика или поэта. Прав профессор БГУ А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуждаются в целой армии специалистов-литературоведов, которые обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках крупиц золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матвеева» (Минск, 2016) знакомого мне лексикографа Анатолия Павловича Бесперстых, литературным знаниям и вкусу которого я доверяю безмерно, то могла бы пройти мимо замечательного поэта, жившего на Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пыталовского района Псковской области (в то время территория Латвии) 2 декабря 1937 года. Ребенком пережил войну, испытал все ее страшные тяготы, потерял отца (который погиб на фронте).

…Войны, войны…
Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные
Душу жгут: злой огонь — негасим…

*«Боль памяти»*

Мать Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна поднимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые в девяностых в одночасье оказались за границей — в Латвии). Когда мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевез ее к себе в Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти».

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулез позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Лечащий врач предсказывал ему короткий век: «Хорошо, если до тридцати дотянешь…» Но человек предполагает, а Господь располагает, — совсем немного не дожил Евгений Алексеевич до своего семидесятилетия. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…

*«Не знаю, есть ли в этом воля Неба»*

Однако всю жизнь Матвеева не покидало осознание недолговечности человеческого бытия, и потому каждую минуту он старался прожить как последнюю:

На мне поторопились ставить крест —
С долгами я еще не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее ее предназначенье…

*«На мне поторопились ставить крест»*

Огромная семейная библиотека была для домочадцев не предметом хвастовства, а служила Его Величеству Знанию. Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное ограничение подвижности обострило его восприятие мира, дало возможность для долгих размышлений, фантазий. Он писал стихи, но стеснялся их показывать, разве что изредка — самым близким.

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где жил у тетки — в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник подарил болезненному пареньку свой офицерский китель, заменивший и пиджак, и куртку, — был на все случаи жизни. Возможно, именно перенесенная болезнь привела Евгения в стены Минского медицинского института. Он выбрал профессию фтизиатра, по распределению попал в Гродненскую область, в крупнейший (500 койкомест) Белорусский республиканский санаторий «Новоельня» (ныне республиканская туббольница), где проработал всю жизнь. Много лет трудился в должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней — лечащим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич — автор многочисленных публикаций в медицинских изданиях. Например, он предложил способ вливания антибиотиков непосредственно в туберкулезный очаг легкого — этот метод используется и сегодня.

У Е. Матвеева был талант не только врача, но и художника, артиста, режиссера, поэта. Художественные работы Евгения Алексеевича — он великолепно рисовал, работал с природным материалом (корни деревьев), — хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятловском и Новоельненском школьном, где он вел поэтический кружок, музеях.

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно декламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли деятельного врача на сцену, но в маленьком городском поселке реализовать дар режиссера, актера было негде… И тогда Евгений Алексеевич создал самодеятельный театр, актерами которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько энергично и плодотворно, что несколько раз становился дипломантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссерский талант Матвеева был не просто замечен, но настолько высоко оценен профессионалами, что ему предложили работать в Брестском драматическом театре! Однако главному своему призванию — медицине — он не изменил.

Долгие годы тайным увлечением этого удивительного человека была поэзия. Он кропотливо работал над стихотворными строчками — словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лишнее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с природой, и с ее неутомимыми труженицами-пчелами был, как говорится, на ты — более 40 лет держал пасеку, обслуживать которую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач (познакомились еще в годы учебы в медицинском институте). Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и пчелы — пасека погибла…

Стихи же остались жить. Усилиями супруги и друзей — поэтов-могилевчан Надежды Викторовны Полубинской (составитель всех его книг) и Эдуарда Иосифовича Медведского

(постоянный редактор) — архив поэта был тщательно изучен, отобраны все достойные печати произведения, издана посмертная книга «Свиток грез земных» (Могилев, 2007). Первая же книга «Укажет сердце мне дорогу» увидела свет в Полоцке на десять лет раньше. Матвеев издал ее, вдохновленный советом преподавателя Гродненского университета Марии Михайловны Конюшкевич, а также положительными откликами знакомых литераторов, которым поэт все же отважился показать свои труды. Н. В. Полубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями Матвеева, как восхищались его мыслями, образами. По мнению О. Н. Зайцева, одного из руководителей Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», это был один из самых ярких поэтов не только этой общественной организации, но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного государства Беларуси и России в области литературы и искусства.

Окрыленный поддержкой поэт неутомимо работал над старыми и новыми текстами. И словно боясь не успеть, издавал книги. Один за другим вышли поэтические сборники: «Душа слова молитвы ищет...» (Могилев, 1999), «Храня любви небесный свет» (Могилев, 2001), «Звезды над родным приютом» (Могилев, 2002), «За ясновиденьем весны» (Могилев, 2003), «Скрещенье всех дорог» (Могилев, 2004), «У берега живых» (Могилев, 2005).

Лексикограф А. П. Бесперстых, работая над книгами Матвеева, резюмировал: «Поэзия Матвеева — «сгусток» чувств, отражение самых сильных и сокровенных его переживаний:

Мне реалистом быть советуют:
Восторги не для зрелых лет,
Но я считаю жизнь бесцветною,
Коль в ней для сказки места нет…

*«Ни на кого ты не похожая»*

Сам ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не господину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупают простота, изумительная образность, афористичность его стихов».

Высоко оценив талант замечательного поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь эпитетов Евгения Матвеева». Например, к слову «береза» насчитал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, выраженных как прилагательными, так существительными (приложения) и причастиями.

Настоящая поэзия не может возникнуть на пустой либо дурной почве: «…Стихи не могут литься ниоткуда — // Криница их истоков не нова: // Душевный жар и горькая остуда // Рождают сокровенные слова…»

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, которыми можно играть, за которыми можно прятаться (иные в это заключают свое жизненное кредо: никогда и никому не говорить правды, разве что — чуть-чуть, для иллюзии искренности, чтобы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание.

— У отца оно было разговорчивее любой беседы, — поделился воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, сын поэта, тоже врач высшей категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной больницы в Гомельской области). — Папа был удивительно отзывчивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, честным. Он органически не переносил подлости, предательства. Верность друзьям, товарищам детства и юности, сохранил до конца.

— Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к себе, в отношении работы, обязанностей, он, тем не менее, был очень корректен как истинно интеллигентный человек, — восхищались могилевские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда Полубинская. — Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал людям в их бедах и горестях.

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
*«Тень скепсиса тащу я за собой»*

Поэзия Евгения Алексеевича — хотя он, крещенный в православной церкви, не был активным прихожанином храма, — пронизана светом духовности, в ней живет Бог. Стихи Матвеева изобилуют словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, милосердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молитвы ко Всевышнему:

Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
*«Обилию невзгод не удивляюсь»*

Критически анализируя свою жизнь, поступки, Матвеев совестился, страдал, желал покаяния за слова и мысли, известные лишь ему одному: «...Но время расплаты настало — // Горька бесприютность души…» (*«За выбором следует выбор»*); «Жизнь — цепь парадоксов, и часто // Мудреной загадке под стать: // За промахом следует счастье, // Успех может карою стать… (*«Жизнь — цепь парадоксов»*).

В поэтических строках Матвеева, родившегося в довоенное время, много видевшего и перенесшего, живет почти осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, горестная накипь, горестный итог, горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль:

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать дает.
Но если душа бессмертна,
Бессмертна и боль ее.
*«Душе нелегко без храма»*

Читающий человеческие души Всевышний наверняка видел в сердце поэта милосердие и смирение, ибо одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, вопреки страшным медицинским прогнозам.

…Не за уменье ли терпеть
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
*«Для путника, как дивный свет…»*

Евгений Алексеевич ушел из жизни 14 февраля 2005 года. Но тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось его имя в литературе — поэт Евгений Матвеев!

…Для всех, кто Поэзии подданным стал,
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
*«Искусство веками плодит миражи»*

***Наталья СОВЕТНАЯ***



**КОЗЬКО Виктор Афанасьевич.** Родился в 1940 г. в г. Калинковичи Гомельской области. Окончил Кемеровский горный индустриальный техникум, Литературный институт имени А. М. Горького. Прозаик, публицист. Автор многих книг. Лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР, Государственной премии БССР имени Якуба Коласа. Живет в Минске.

**ДОРОФЕЙЧУК Ирина Ивановна.** Родилась в 1969 г. в д. Чудин Ганцевичского района Брестской области. Окончила математический факультет Витебского государственного педагогического института. Автор книг поэзии «Сцяблінка на лузе», «Паганскае кола». Живет в Варшаве (Польша).

**ПЕТРЕНКО Юлиана (Юлия Витальевна).** Родилась в 1981 г. в д. Жгунь Добрушского района Гомельской области. Окончила БГПУ имени Максима Танка. Печаталась в журнале «Маладосць». Лауреат конкурса «Первая глава. Четвертый сезон» издательства «Регистр» за роман «Лунные кружева, серебряные нити». Живет в г. Гомеле.

**РАДИОНЧИК Дмитрий Николаевич.** Родился в 1973 г. в Гродно. Окончил филологический факультет Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. Поэт, литературный критик. Автор трех книг и публикаций в региональной и республиканской прессе. Живет в Гродно.

**ХИЛЬКЕВИЧ Владимир Павлович.** Родился в 1946 г. на Слутчине. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист. Автор повестей «Камелия», «Водяные мосты», «Рогоносец», а также рассказов, эссе и др. Живет в Минске.

**БЕЛОВА Ольга Юрьевна.** Родилась в 1985 г. в Могилеве. Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств. Поэтесса и драматург. Автор сборника стихов и пьес на русском и белорусском языках «Счастье». Пьесы поставлены в Национальном Академическом драматическом театре им. Янки Купалы и Могилевском областном театре кукол. Живет в Могилеве.

**ДЖО АЛЕКС (Сломчински Мацей).** Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоанглосаксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер Ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).

**ХАРВИ Сюзанн Ричардсон.** Родилась в 1934 г. в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). В Университете Тафтса получила степень доктора философии. Член Академии американских поэтов, Национального совета преподавателей английского языка. Автор книги поэзии «Тиара для XX века». Стихи публиковались также в Канаде, Великобритании, Австралии, Австрии. Умерла в 2010 году.